This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

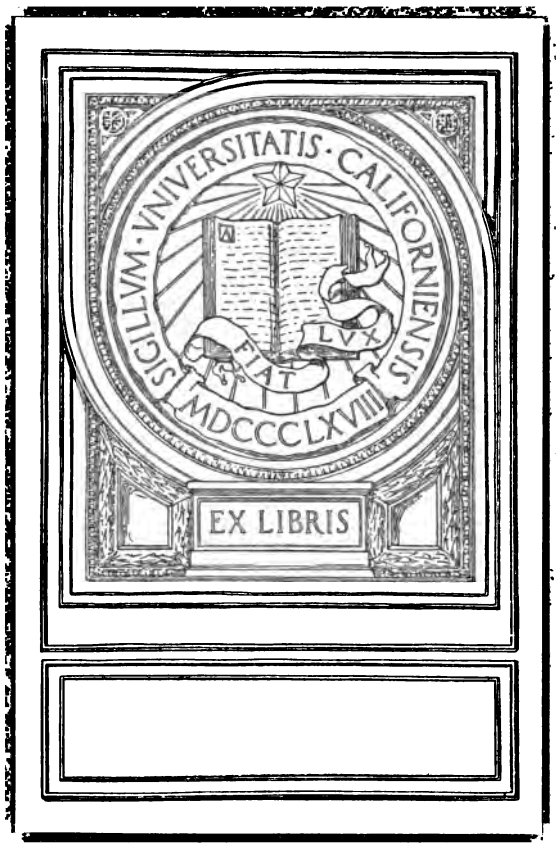
PG
3015
.5
S6K6.

НЕСТОРЪ КОТЛЯРЕВСКІЙ

UC-NRLF
$B 127 468

НАШЕ НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

1919


SIGILLVM · VNIVERSITATIS · CALIFORNIENSIS
LVX
FIAT
MDCCCLXVIII
EX LIBRIS

НАШЕ НЕДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ

ВЪ ИСТОЛКОВАНІИ

ХУДОЖНИКОВЪ СЛОВА

ОПЫТЪ ШКОЛЬНАГО ИЗЛОЖЕНІЯ ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
ЗА ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ XIX ВѢКА

НЕСТОРА КОТЛЯРЕВСКАГО

ПЕТЕРБУРГЪ
1919

ИЗДАНО ТРУДОВОЮ АРТЕЛЬЮ
„НАУКА и ШКОЛА"

ЦИК СОВЕТОВ

Артистическое заведеніе Т-ва А. Ф. Марксъ, Петроградъ, Измайл. пр., № 29.

PG3015
.5
S6K67

Въ Москвѣ на всероссійскомъ съѣздѣ преподавателей русскаго языка и словесности [въ январѣ 1917 года] мнѣ пришлось прочитать докладъ о планѣ, по какому желательно было бы вести преподаваніе новой русской литературы въ старшихъ классахъ средней школы. Въ этомъ планѣ первенствующее мѣсто отводилось подбору тѣхъ художественныхъ памятниковъ второй половины XIX вѣка, которые должны войти въ программу преподаванія, и порядку, въ какомъ эти памятники должны быть прочитаны учащимися. Я обѣщалъ къ веснѣ 1917 года представить на обсужденіе преподавателей русскаго языка и словесности обстоятельный планъ такого чтенія съ пояснительной запиской. Напечатать эту записку и распространить ее къ обѣщанному сроку оказалось невозможнымъ.

Въ настоящее время я могу исполнить данное обѣщаніе.

Мнѣ надо только оговориться. „Пояснительная записка", предназначенная для обсужденія въ кругу преподавателей, разрослась въ рядъ бесѣдъ по исторіи русской словесности съ самими учениками.

Я представилъ себѣ, что мнѣ, въ старшемъ классѣ средней школы, поручено преподаваніе русской новой литературы.

Мои ученики успѣли уже ознакомиться съ исторіей русской словесности Пушкинскаго и Гоголевскаго періода. Курсъ, который мнѣ надлежало имъ прочесть, обнималъ собой эпоху отъ конца 40-хъ годовъ до конца 80-хъ.

M143661

Учебника, который бы вполнѣ меня удовлетворилъ, мнѣ разыскать не удалось и я рѣшилъ замѣнить его бесѣдой съ учениками. Въ этихъ бесѣдахъ я дѣлился съ моими слушателями лишь самыми общими взглядами на судьбы русской словесности второй половины XIX вѣка. Мнѣ хотѣлось, чтобы ученики приняли эти общіе взгляды къ свѣдѣнію и считались съ ними при чтеніи самихъ литературныхъ памятниковъ. Дальше мои требованія по отношенію къ моимъ словамъ не шли. Но зато я поставилъ ученикамъ одно категорическое требованіе: я обязалъ ихъ внимательно прочитать всѣ памятники словесности, о которыхъ въ нашихъ бесѣдахъ говорилось.

I.

Мѣсто, какое въ школьномъ преподаваніи занимаетъ исторія литературы.— Значеніе художественныхъ памятниковъ прошлаго въ дѣлѣ ознакомленія съ современностью.—Какъ надо читать художественныя произведенія.

Съ многими литературными памятниками второй половины XIX вѣка вамъ уже неоднократно приходилось встрѣчаться. Еще дѣтьми, въ семьѣ, вы имѣли случай ознакомиться съ ними. Затѣмъ, въ школѣ, въ младшихъ классахъ вы пріучались вдумываться въ эти разсказы, стихотворенія и пьесы, начинали цѣнить ихъ художественную красоту и стали разбираться въ богатствѣ тѣхъ душевныхъ движеній, которыя въ нихъ изображены. Теперь то, что раньше вамъ просто нравилось, васъ занимало, возбуждало вашу фантазію, должно стать для васъ предметомъ изученія.

Кому изъ васъ неизвѣстны имена С. Аксакова, Тургенева, Достоевскаго, Л. Толстого, Писемскаго, Григоровича, Островскаго, Салтыкова, Гончарова, Некрасова и цѣлой вереницы поэтовъ — авторовъ любимѣйшихъ и извѣстнѣйшихъ стихотвореній? Но сколько бы вы пока ни прочли страницъ изъ сочиненій этихъ писателей, вы съ ними еще не знакомы. Истинныхъ и большихъ художниковъ понять и изучить не легко. Ихъ узнаешь и понимаешь постепенно, въ теченіе многихъ лѣтъ, перечитывая ихъ сочиненія неоднократно, въ разные возрасты, и одинъ изъ хорошихъ совѣтовъ, который можно дать вамъ, это—никогда не думать, что вы вполнѣ изучили и претворили въ себѣ большого писателя, который спокойно можетъ отнынѣ покоиться на книжной полкѣ. Бесѣда съ истинными художниками должна быть растянута на всю нашу жизнь, потому что въ ихъ произведеніяхъ мы имѣемъ наиболѣе богатый и наиболѣе точный матеріалъ для изученія самаго загадочнаго и самаго существеннаго явленія жизни, а именно— души человѣческой во всѣхъ разнообразныхъ ея обнаруженіяхъ.

Съ этой „душой“ человѣческой вы пока еще знакомы весьма поверхностно. Въ самомъ дѣлѣ, почти всѣ науки, пре-

подаваемыя вамъ въ школѣ, имѣютъ своимъ предметомъ либо явленія жизни, возникшія и существующія помимо воли и вліянія человѣка, либо математическія исчисленія, либо грамматическія формы. Среди школьныхъ наукъ одна только исторія и исторія литературы стоятъ въ прямой и тѣсной связи съ психикой человѣческой, повѣствуя о томъ, что человѣкъ на протяженіи многихъ вѣковъ думалъ, чувствовалъ и дѣлалъ. Исторія въ томъ объемѣ, въ какомъ она преподается вамъ, имѣетъ въ виду преимущественно *дѣянія* людей и только въ самыхъ общихъ чертахъ успѣваетъ коснуться тѣхъ *чувствъ* и *мыслей*, какими тѣ или другія дѣянія бывали вызваны. И хорошимъ и вѣрнымъ руководителемъ въ ознакомленіи съ этими иногда очень глубокими и сложными мыслями и чувствами является словесное творчество, литература, міръ вымысла, которому человѣкъ съ древнѣйшихъ временъ привыкъ довѣрять свои думы, мечты и надежды. Безъ углубленія въ душу человѣка, безъ проникновенія въ глубь его помысловъ, его мечтаній, чувствъ и настроеній нельзя уяснить себѣ той видимой и осязаемой жизни, какой онъ живетъ. И въ трудномъ дѣлѣ такого проникновенія и такого углубленія лучшими помощниками являются намъ истинные художники, тѣ исключительные люди, которые, какъ всѣми давно признано, обладаютъ именно даромъ читать въ сердцахъ и умахъ людей, какъ въ открытой книгѣ. Литературные памятники, созданные такими художниками,—цѣлое руководство къ познанію души человѣческой и тѣмъ самымъ поясненіе того, что называется самимъ процессомъ жизни, какъ въ прошломъ, такъ и въ настоящемъ. Вѣдь въ данномъ случаѣ время, отдѣляющее насъ отъ того или иного художественнаго памятника, не имѣетъ большого значенья: много вѣковъ прожилъ человѣкъ на землѣ, условія его жизни сильно измѣнились, но самъ онъ, какъ психическая организація, въ основныхъ своихъ мысляхъ и чувствахъ остался почти неизмѣненъ; и художественные памятники старины могутъ многое разъяснить намъ въ душѣ современной, какъ и современное художественное произведеніе можетъ помочь намъ въ пониманіи людей давно уже отъ насъ ушедшихъ.

Но, конечно, ближайшіе къ намъ по времени художественные памятники могутъ оказать намъ наиболѣе существенную помощь въ дѣлѣ ознакомленія съ современностью, которая насъ окружаетъ.

Русскіе писатели, тѣ, о которыхъ пойдетъ рѣчь въ дальнѣйшемъ—раскрыли передъ нами душу всѣхъ болѣе или менѣе типичныхъ и характерныхъ лицъ, созданныхъ нашей жизнью въ недавнемъ прошломъ. Эти художники говорили не столько о себѣ,

сколько о разнообразныхъ чертахъ и особенностяхъ самой русской жизни въ различныхъ ея слояхъ, столичныхъ и провинціальныхъ, образованныхъ и необразованныхъ; они собрали цѣннѣйшій психологическій и историческій матеріалъ и нарисовали цѣлую галлерею типичныхъ портретовъ. Писатели наши, оставаясь художниками, были психологи и историки по преимуществу, очень часто проводники извѣстныхъ нравственныхъ и общественныхъ мыслей и чувствъ, и произведенія ихъ стали въ концѣ концовъ правдивой исповѣдью цѣлаго ряда смѣнявшихъ другъ друга поколѣній. Вотъ почему, если вы хотите дать себѣ отчетъ въ современной вамъ жизни, если вы хотите понять самихъ себя, разобраться въ собственной душѣ, вамъ нужно обратиться къ тѣмъ показаніямъ, какія даны о нашей жизни самыми чуткими изъ ея свидѣтелей и участниковъ.

Какова бы ни была та спеціальность, какую вы изберете, когда окончите школу, знаніе и подробное знаніе русской литературы недавняго прошлаго должно стать одной изъ ближайшихъ задачъ вашего самообразованія. Писатели наши успѣли написать цѣлую библіотеку, но пусть васъ не страшитъ ея большой объемъ. Въ вашей жизни найдется достаточно времени, чтобы перебрать эту библіотеку по томамъ и на свободѣ спокойно и вдумчиво отнестись къ тому, что въ этихъ книгахъ вамъ откроется. А откроются вамъ несомнѣнно большія богатства.

На ряду съ писателями самыми видными, имена которыхъ вамъ и теперь извѣстны,—вы встрѣтитесь съ именами для васъ новыми, съ людьми, талантъ которыхъ не можетъ быть названъ первоклассным. Не упускайте потомъ случая ознакомиться съ этими бытописателями жизни русской, хотя бы слава ихъ и не гремѣла. Много въ ихъ сочиненіяхъ страницъ и до сей поры живыхъ и полныхъ смысла, много портретовъ лицъ незаурядныхъ и характерныхъ, много наблюденій и свѣдѣній, которыя пригодятся вамъ, когда вамъ самимъ придется считаться съ жизнью, столь сложной и столь богатой въ своемъ поражающемъ разнообразіи.

Мы обыкновенно совершаемъ большую несправедливость въ отношеніи къ писателямъ; мы гонимся за большими именами, мы требуемъ отъ писателя наивозможно большей художественности, и мы считаемъ себя въ правѣ проходить мимо многихъ, слава которыхъ потускнѣла, хотя и было время, когда они этой славой въ полной мѣрѣ пользовались; мы бережемъ себя и хотимъ съ наименьшой затратой труда получить и возможно большее наслажденіе при чтеніи, и возможно большее поученье. И мы забываемъ, что тотъ, въ сущности, малый трудъ, который мы затратимъ на чтеніе литературныхъ

памятниковъ—съ лихвой себя окупитъ, такъ какъ онъ откроетъ намъ глаза на характерныя особенности нашей жизни, и до сихъ поръ не исчезнувшія, и ознакомитъ насъ съ людьми, существованіе которыхъ мы даже не подозрѣваемъ, и которые тѣмъ не менѣе участвуютъ въ общемъ движеніи и развитіи переживаемой нами эпохи. Если мы хотимъ, чтобы современная жизнь не была для насъ загадкой, не поражала насъ неожиданностями, мы должны знать, какой она была прежде. И эти знанія могутъ дать вамъ наши художники—безъ различія ранга—въ гораздо большемъ количествѣ и въ болѣе живыхъ и наглядныхъ очертаніяхъ, чѣмъ авторы многихъ ученыхъ книгъ и статей публицистическаго характера.

Но, конечно, такое чтеніе предстоитъ вамъ въ будущемъ, а не въ школѣ, гдѣ всѣ предметы ученья должны быть строго соразмѣрены, и гдѣ отечественная словесность есть одна изъ многихъ наукъ, требующихъ вашего вниманія.

Въ школѣ вамъ дается только самое главное, самое лучшее, отборное изъ того, что было написано нашими лучшими художниками. Это лучшее и это отборное въ то же время и наиболѣе значительное, ярче другого поясняющее душу тѣхъ людей, которые въ недавнемъ прошломъ были лицами наиболѣе типичными, вносившими въ жизнь наибольшее движеніе. При ознакомленіи съ этимъ „лучшимъ", что создано нашими художниками, помните однако, что, во-первыхъ, это все-таки далеко не *все*, что было ими создано лучшаго, что многое не менѣе значительное и красивое не вошло въ вашу учебную программу за недостаткомъ школьнаго времени. Помните также,—и это самое главное,—что чѣмъ совершеннѣе художественное произведеніе, тѣмъ разностороннѣе и глубже его смыслъ, и потому тѣмъ труднѣе пониманіе его. Всѣ произведенія, съ которыми вы въ нашихъ бесѣдахъ встрѣтитесь — историческіе памятники большого значенія и вѣса. Мало насладиться ими, мало быть увлеченнымъ ихъ красотой, заманчивостью разсказа, живостью драматическихъ положеній, блескомъ стиля и яркостью образовъ; всего этого мало для того, чтобы сказать, что вами поняты эти произведенія и усвоены. Ихъ должно изучить одно въ связи съ другимъ и въ связи со всей исторической эпохой, когда они возникли. Только тогда ихъ истинный смыслъ и ихъ значеніе для нашей жизни полностью обнаружится, и къ тому художественному наслажденію, какое вы получите, читая эти произведенія, добавится и вполнѣ сознательное отношеніе къ нимъ какъ къ памятникамъ, по которымъ вы можете изучить человѣка вообще и въ частности русскаго человѣка.

До сихъ поръ вы читали нѣкоторые изъ художественныхъ памятниковъ въ разбивку. Безъ строгой системы они попадали вамъ въ руки. Вамъ некогда было разсматривать ихъ, какъ отраженіе опредѣленныхъ историческихъ эпохъ нашей жизни.

Но именно къ такому послѣдовательному разсказу о связи нашей жизни съ памятниками изящной словесности намъ и надлежитъ приступить.

Первое, что вы должны принять за правило, это—неторопливое, внимательное чтеніе тѣхъ памятниковъ, о которыхъ пойдетъ рѣчь. Всѣ они *безъ исключенія* должны быть вами прочитаны. Вы не должны полагаться ни на какое постороннее изложеніе содержанія того или другого произведенія. Всѣ книги, которыя стремятся облегчить вамъ знакомство съ памятникомъ тѣмъ, что своими словами передаютъ его содержаніе—приносятъ только вредъ. На знакомство съ художественнымъ памятникомъ никогда не надо жалѣть труда и времени. Число памятниковъ, о которыхъ мы будемъ говорить, не особенно велико, художественная цѣнность ихъ необычайно высока, и потому чтеніе ихъ есть наслажденіе, и кромѣ того это чтеніе не потребуетъ отъ васъ какого-нибудь особаго предрасположенія или настроенія, а наоборотъ само создастъ такое настроеніе и потому всегда будетъ легко и кстати. Но только не надо *торопиться* въ чтеніи; торопливое чтеніе даетъ всегда очень мало и пріучаетъ слѣдить лишь за развитіемъ самой фабулы, самаго дѣйствія въ разсказѣ, бѣгло пробѣгая или совсѣмъ опуская многія страницы, которыя кажутся съ перваго взгляда скучными, а на самомъ дѣлѣ полны большого смысла.

Учебныя книги очень часто предлагаютъ вамъ также готовыя характеристики главныхъ дѣйствующихъ лицъ повѣстей, романовъ, поэмъ и драмъ, намѣченныхъ программой. Желая облегчить себѣ работу мысли или желая выиграть время, вы нерѣдко зазубриваете эти характеристики. Считайтесь съ ними, но не принимайте ихъ слѣпо на вѣру, соглашайтесь съ ними или отвергайте ихъ, согласно вашему собственному разумѣнію, имѣя собственное сужденіе объ образѣ мыслей, настроеніи и поступкахъ того и другого дѣйствующаго въ разсказѣ лица. Для такого сужденія особыхъ знаній не нужно—нужно только умѣнье спокойно и серьезно относиться къ тому, что читаешь. Ваше свободное раздумье надъ жизнью вымышленныхъ лицъ научитъ васъ вдумчиво относиться и къ окружающимъ васъ людямъ, оно установитъ связь между тѣмъ, что вы читаете, и тѣмъ, что внутри васъ и вокругъ васъ происходитъ. А безъ такой связи чтенье превращается

въ простую забаву или простое заполненіе свободнаго времени.

Нужно очень бережное, очень серьезное отношеніе къ такой національной святынѣ, какъ наша изящная словесность, и чѣмъ раньше такое отношеніе будетъ установлено между вами и писателемъ, тѣмъ больше вашъ умъ и ваше сердце отъ этого выиграютъ.

II.

Наша изящная словесность, какъ національная святыня.—Ея художественное совершенство.—Ея гуманность.—Общечеловѣческое въ ней и національно-самобытное.

Памятники нашей отечественной художественной словесности я назвалъ національной святыней; это не только поэтическая метафора, но опредѣленіе, вѣрно передающее то отношеніе, какое уже давно установилось между нами и этими созданіями мечты и ума нашихъ писателей. Святымъ мы называемъ обыкновенно то дорогое для насъ въ жизни, чему мы приписываемъ не какую-нибудь временную, преходящую цѣнность, а цѣнность длительную, иногда вѣчную, насколько мы, смертные люди, на смертной землѣ можемъ говорить о вѣчномъ; святымъ для насъ мы называемъ то, что тѣснѣйшимъ образомъ связано съ нашими мыслями и нашими чувствами, со всѣмъ складомъ нашего ума и сердца, безъ чего мы не можемъ представить себѣ насъ самихъ, какъ людей призванныхъ къ работѣ надъ жизнью, и притомъ къ работѣ разумной и справедливой, осуществляющей по мѣрѣ силъ идеалы добра и правды на землѣ. Наконецъ, святымъ является для насъ то, что не подарено намъ, не случайно нами пріобрѣтено, а добыто нами упорнымъ трудомъ, упорной работой духа, куплено большой тревогой ума и большими душевными страданіями—то, что по праву принадлежитъ намъ, какъ нераздѣльная часть нашего „я“, что не можетъ быть ни унижено, ни оскорблено безъ того, чтобы не были унижены и оскорблены мы сами.

Наша художественная словесность есть именно то наше національное богатство, которое пріобрѣтено нами не на срокъ, а навсегда, останется вѣчнымъ свидѣтелемъ нашей духовной силы и таланта, богатствомъ, которымъ мы пользовались во благо добра и правды, и которое ни отъ кого нами въ даръ не принято, а создано нашимъ національнымъ геніемъ и принадлежитъ намъ русскимъ, какъ особому племени, призванному, какъ и другія племена, на общую культурную работу.

Помимо всѣхъ этихъ особенностей, повышающихъ для насъ изящную словесность до степени національной святыни, она обладаетъ еще, конечно, однимъ качествомъ, безъ котораго она не была бы тѣмъ, чѣмъ она есть, а именно — она въ своихъ лучшихъ образцахъ истинно художественна и изящна. Она блещетъ той красотой внѣшней и внутренней, которая отводитъ ей мѣсто среди всѣхъ міровыхъ образцовъ художественнаго творчества. Это эстетическое совершенство, эта красота — также обнаруженіе нашего національнаго генія, свободное его проявленіе, даръ, лично ему принадлежащій, такъ какъ никогда и ни при какихъ условіяхъ художественность выполненія и даръ создавать истинно красивое не могутъ быть заимствованы, не могутъ быть искусственно воспитаны. Великіе мастера и художники родятся, а не образуются и потому всегда безраздѣльно принадлежатъ тому племени, среди котораго они вырастаютъ, и свидѣтельствуютъ о силѣ и глубинѣ его національнаго генія.

Надъ художественными произведеніями такихъ творцовъ время не властно, и, спустя тысячу лѣтъ послѣ своего рожденья, они такъ же свѣжи и такъ же полны живого смысла, какъ въ годы, когда они были новинкой дня.

Конечно, не всѣмъ произведеніямъ, о которыхъ мы будемъ говорить, можно выдать такой аттестатъ вѣчной міровой цѣнности. Многіе изъ этихъ памятниковъ останутся навсегда цѣнны и дороги лишь намъ, русскимъ, и въ глазахъ остального культурнаго міра будутъ имѣть интересъ лишь мѣстный и историческій. Но найдутся и такіе памятники, которые, какъ это уже теперь вполнѣ ясно обнаружилось, станутъ достояніемъ всего человѣчества и навсегда сохранятъ память о нашемъ племени, о нашемъ русскомъ умѣ, сердцѣ и вдохновеніи. Наша изящная словесность навсегда спасетъ память о насъ отъ забвенья. Какъ бы въ дальнѣйшемъ ни развернулась наша національная общественная и государственная жизнь, сколько бы ума и добра она ни внесла въ общую жизнь народовъ, уже одного того, что создано вдохновеніемъ нашихъ художниковъ, достаточно, чтобы признать въ насъ племя, одаренное большими дарами духа. Нѣкоторые изъ нашихъ сосѣдей, сравнивая ихъ жизнь съ нашей, могутъ сказать, что въ различныхъ областяхъ творчества гражданскаго, государственнаго и духовнаго они насъ опередили, что они богаче насъ, что техника жизни ихъ совершеннѣе нашей, что разные виды соціальнаго зла встрѣчаются у нихъ рѣже, или находятъ болѣе значительный отпоръ, что общій уровень образованности и развитія у нихъ выше, чѣмъ у насъ, что наука ихъ богаче силами, чѣмъ наша—все это могутъ сказать наши сосѣди, но

всегда они останавливаются съ удивленіемъ и признаніемъ передъ русскимъ искусствомъ вообще и словесностью въ частности. Они понимаютъ, что такая сила вдохновенія могла быть дана лишь народу исключительно даровитому.

Наконецъ, есть и еще одна характерная особенность нашей изящной словесности, а именно—то чувство симпатіи и любви къ людямъ, та жажда добра и справедливости, однимъ словомъ, то гуманное направленіе, какимъ ея памятники проникнуты. Этотъ гуманизмъ сказывается двояко — въ обличеніи всяческаго зла въ жизни, въ сатирическомъ и гнѣвномъ къ нему отношеніи, и въ проповѣди добра, которая поручена излюбленнымъ героямъ романовъ, повѣстей, поэмъ и драматическихъ произведеній. Нашъ художникъ поочередно являлся то въ роли судьи общественнаго зла, то въ роли искателя и проповѣдника общественнаго блага. Въ обѣихъ этихъ роляхъ онъ оставался и правдивымъ историкомъ и прежде всего художникомъ, который не дѣлалъ сознательно никакихъ уступокъ морали въ явный ущербъ красотѣ.

Произведенія, съ которыми вы будете имѣть дѣло, всѣ безъ исключенія принадлежатъ къ числу именно *художественныхъ* созданій, каковы бы ни были ихъ основныя идеи и ихъ нравственныя тенденціи. Этимъ они отличаются отъ очень многихъ другихъ памятниковъ нашей словесности, пользовавшихся также большой извѣстностью, но намѣренно тенденціозныхъ и ставившихъ себѣ главнѣйшей задачей проведеніе въ жизнь вполнѣ опредѣленныхъ нравственныхъ, общественныхъ или политическихъ взглядовъ. Ознакомиться въ деталяхъ съ развитіемъ нашего самосознанія безъ такихъ „тенденціозныхъ“ романовъ и повѣстей—невозможно, но прежде, чѣмъ изучать ихъ, нужно вдумчиво отнестись къ тѣмъ художественнымъ памятникамъ, въ которыхъ заключенъ, такъ сказать, общій художественный синтезъ жизни, дано отраженіе ея въ цѣломъ, сдѣлана попытка освѣтить ея общій смыслъ, а не какіе-нибудь отдѣльные частные вопросы.

Наши писатели не всегда бывали однихъ убѣжденій, понимали добро и зло по-разному, были людьми разныхъ общественныхъ группъ и партій, но тяготѣніе къ вопросамъ нравственнаго порядка, стремленіе смѣло отстаивать свои идеалы въ жизни и рѣшеніе бороться съ тѣмъ, что считаешь несправедливымъ и недобрымъ, было у нихъ общее. Ученые и критики нерѣдко задумывались надъ такимъ нравственнымъ направленіемъ нашей литературы, въ особенности надъ ея пристрастіемъ къ сатирѣ и къ обличенію вообще и хотѣли видѣть въ этой чертѣ отличительное свойство русской литературы среди всѣхъ литературъ иноземныхъ. Но какъ сати-

рическое направленіе, такъ и моральная тенденція въ иностранныхъ литературахъ, и старыхъ и новыхъ, не менѣе сильны, чѣмъ въ словесности русской, и мы не имѣемъ права оставлять за собой въ данномъ случаѣ какое-то преимущество. Это не мѣшаетъ намъ, однако, признать за нашей отечественной литературой большую нравственную цѣнность и потому еще разъ убѣдиться въ томъ, насколько ея памятники имѣютъ право на названіе національной святыни.

Художественная по формѣ, гуманная по своимъ взглядамъ, во многихъ случаяхъ имѣющая цѣнность міровую и вѣчную, наша изящная словесность—созданіе нашего національнаго генія и принадлежитъ намъ, русскимъ, безъ раздѣла. Она создана нами, нашими духовными силами, создана самобытно.

Конечно, искать въ ней идей, чувствъ и настроеній, которыя были бы совершенно новы, не встрѣчались бы въ другихъ литературахъ и въ другія времена — напрасно; мысли, настроенія и драматическія положенія не могутъ принадлежать фантазіи одного какого-нибудь племени, они съ далекихъ временъ составляютъ общее достояніе всего человѣчества, и самая яркая мысль и самое глубокое чувство любого генія имѣетъ своихъ предшественниковъ и своихъ соревнователей. Ожидать, что мы въ нашей изящной словесности найдемъ какое-нибудь особое откровеніе, какой-нибудь особый, отличный отъ всѣхъ существовавшихъ и существующихъ, взглядъ на жизнь, какую-нибудь новую нравственную переоцѣнку жизни—нельзя. Общечеловѣческое предстанетъ передъ нами, но только въ русскомъ одѣяніи. Мы увидимъ, какъ та или другая міровая мысль или чувство, всему человѣчеству знакомое, будетъ дополнена, развита, отвергнута или принята русскимъ умомъ и сердцемъ. Эта мысль и это чувство станутъ нашими не потому, что мы первые ихъ создали и прочувствовали, а потому, что мы на пониманіе и усвоеніе ихъ, на борьбу съ ними и ихъ защиту потратили много усилій, тревоги, страданій и вольнаго труда. Въ этомъ смыслѣ, и только въ этомъ, эти идеи и чувства могутъ назваться нашими и самобытно пріобрѣтенными.

Надо жить сознательною жизнью, свободно воспринимать ее, много разсуждать надъ ея смысломъ, отнестись къ ней со страстью, чтобы получить право сужденія о ней. Это право нами пріобрѣтено, и наиболѣе полное и яркое изложеніе нашихъ взглядовъ на жизнь, на призваніе человѣка, на судьбы нашей родины, на ея прошлое и настоящее—даны на страницахъ нашей изящной словесности. То, что въ ученыхъ книгахъ, пока весьма немногочисленныхъ, и въ публицистическихъ

и критическихъ статьяхъ, вызванныхъ въ большинствѣ случаевъ той же изящной словесностью, дано, какъ разсужденіе, то въ памятникахъ словесности дано, какъ живой образъ, и этотъ художественный живой образъ иногда лучше всякаго подробнаго разсужденія отражаетъ и глубину и широту нашего русскаго взгляда на всѣ сложные и несложные вопросы жизни. И въ этихъ взглядахъ и вызванныхъ ими чувствахъ мы несомнѣнно самобытны и самостоятельны, такъ какъ мы не усваивали ихъ механически, не заимствовали ихъ безъ критики у кого бы то ни было изъ нашихъ сосѣдей, не повторяли ихъ по указкѣ, а брали ихъ изъ общемірового запаса идей и чувствъ, увеличивая этотъ запасъ своими наблюденіями и размышленіями.

Такое свободное и самостоятельное отношеніе къ труднымъ и сложнымъ вопросамъ жизни не было нами достигнуто сразу и потребовало извѣстнаго времени. Времени на это ушло, однако, очень немного. Если принять во вниманіе, что въ болѣе или менѣе близкое общеніе съ культурнымъ міромъ мы вступили лишь со временъ Петра, что вся наша умственная жизнь и вмѣстѣ съ ней литературная въ продолженіе всего XVIII вѣка сводились, за очень рѣдкими исключеніями, къ усвоенію матеріала ученаго, философскаго, религіознаго, нравственнаго и литературнаго, какой намъ давалъ во всемъ насъ опередившій западъ, то только съ начала XIX вѣка можно начать счетъ тѣхъ годовъ, когда мы самостоятельно и безъ указки начали задумываться надъ теоретическими и практическими вопросами жизни и, не желая повторять чужія слова, захотѣли говорить отъ себя. Но и вся первая половина XIX вѣка можетъ также назваться школьнымъ періодомъ нашего міросозерцанія. Несмотря на наличность большихъ умовъ и талантовъ, мы были тогда все-таки мало самостоятельны въ сужденіяхъ, главнымъ образомъ потому, что наблюденій надъ окружавшей насъ жизнью было произведено пока еще очень мало. Только во вторую половину XIX вѣка и наша наука, и публицистика, и критика, и литература, пройдя хорошую иностранную школу, стала на свои ноги и въ короткій срокъ обнаружила и развила большую силу самостоятельныхъ сужденій и самобытныхъ настроеній.

Изящная словесность быстрѣе и яснѣе, чѣмъ какая-нибудь иная область духовной дѣятельности, отразила этотъ процессъ зрѣющей нашей мысли и свободно углубляющагося и расширяющагося чувства, и такъ какъ эта словесность была плодомъ творческой фантазіи, творческаго дарованія, которому нельзя научиться, а съ которымъ должно родиться—то понятно, что въ нашихъ глазахъ наша изящная художествен-

ная литература должна была пріобрѣсти особую цѣнность наиболѣе намъ дорогого національнаго богатства. Эта цѣнность еще болѣе увеличивалась тѣмъ, что одновременно съ расширеніемъ содержанія и самостоятельнымъ отношеніемъ писателей къ жизни возрастала и художественная стоимость произведеній, и съ поразительной быстротой эта художественность достигла самыхъ высокихъ степеней совершенства.

III.

Вторая половина XIX вѣка, какъ особая эпоха въ развитіи нашей изящной словесности. — Краткій обзоръ литературныхъ эпохъ, предшествовавшихъ эпохѣ „реализма".

Приступая къ изученію исторіи нашего художественнаго вымысла за вторую половину XIX вѣка, вы въ правѣ спросить— имѣемъ ли мы какія-нибудь основанія выдѣлять этотъ періодъ изъ общаго числа лѣтъ, которыя живетъ наша словесность съ древнѣйшаго времени до нашихъ дней? Выдѣляя вторую половину недавно минувшаго вѣка въ особый отдѣлъ, повинуемся ли мы простой необходимости механически раздѣлить тотъ матеріалъ, который намъ даетъ исторія литературы, или такое дѣленіе навязано намъ какими-нибудь особыми отличительными чертами тѣхъ годовъ въ исторіи словесности, о которыхъ пойдетъ рѣчь?

Конечно, всякое литературное теченіе въ любой періодъ времени находится въ зависимости отъ теченій, ему предшествовавшихъ, и отъ вліянія, какое на подрастающее поколѣніе художниковъ имѣютъ дарованія уже проявившіяся и признанныя. Но пусть связь былого съ настоящимъ и будущимъ очень тѣсна, это не мѣшаетъ новизнѣ вторгаться въ жизнь и литературу. Иногда такое вторженіе является результатомъ длительнаго медленнаго процесса, иногда оно совершается быстро.

Въ короткое время расширяется и обогащается матеріалъ, которымъ литература пользуется, мѣняются пріемы обработки этого матеріала, и появляются новые таланты, отличные отъ прежнихъ по міросозерцанію и душевному складу.

Вторая половина XIX столѣтія была какъ разъ такой литературной эпохой, которая необычайно быстро воспользовалась всѣмъ тѣмъ, что ей досталось по наслѣдству отъ предшествующаго ей времени, и въ очень короткій срокъ, при наличности въ изобиліи появившихся талантовъ, обогатила нашу словесность и новымъ содержаніемъ и новыми пріемами мастерства.

Вторая половина XIX вѣка въ исторіи нашей словесности—эпоха дѣйствительно очень знаменательная. Въ этотъ

именно литературный періодъ наше національное художественное словесное творчество достигло той высоты идейнаго содержанія, на которую оно еще не поднималось за все время своего развитія.

Вы помните, что старая русская литература до-петровскаго времени, литература не анонимная, народная, а связанная съ опредѣленными именами ея творцовъ, не числила въ ряду своихъ памятниковъ ни одного, который удовлетворялъ бы истиннымъ тоебованіямъ художественности.

До-петровская литература за художественностью не гналась, и тогдашній „писатель" ставилъ себѣ какую угодно задачу, но только не задачу—написать что-нибудь литературно-красивое и художественно-совершенное. Онъ былъ чаще всего богословъ, ревнитель вѣры, моралистъ на религіозной подкладкѣ, патріотъ съ опредѣленной тенденціей, иногда до извѣстной степени даже публицистъ; онъ любилъ перелагать на русскій языкъ иноземныя преданія и сказки, иноземныя новѣсти, восточныя и западныя, которыя попадали ему подъ руки; онъ любилъ также слагать вирши. Конечно, иногда ему удавалось создать красивый образъ, красивое драматическое положеніе, языкъ его пріобрѣталъ иногда нѣкоторую силу, но словесное выполненіе задуманнаго онъ всегда приносилъ въ жертву тому намѣренію, той прямой цѣли, къ которой онъ стремился. Литература, какъ таковая, была служебной силой. Настоящихъ художниковъ, одаренныхъ истиннымъ творческимъ даромъ, древняя Русь не знала. Да и самый языкъ былъ еще очень несовершененъ.

Истинныхъ художниковъ слова не знала и Россія Петровская и Россія Елисаветы и Екатерины Великой. Вѣкъ Петра былъ вѣкомъ практическимъ по преимуществу, и изящная словесность была большой роскошью, которую иногда выписывали изъ-за границы и облекали въ русскую рѣчь, мало-по-малу освобождающуюся отъ старыхъ славянскихъ элементовъ, но зато уснащенную взамѣнъ этого оборотами и словами иностранными. Потребовалось много лѣтъ, прежде чѣмъ выработался тотъ русскій языкъ, самобытный и свободный отъ всякихъ примѣсей, который былъ бы достаточно гибокъ и красивъ, чтобы поддаться художественной отдѣлкѣ. Безъ изящнаго языка изящная словесность была немыслима, да и кромѣ того за весь XVIII вѣкъ въ Россіи не родилось ни одного настоящаго поэта. Были люди, литературно образованные, начитанные, съ большимъ писательскимъ темпераментомъ, какъ, напримѣръ, Новиковъ, со способностью легко писать стихи и съ несомнѣннымъ чутьемъ трагическаго, какъ, напримѣръ, Сумароковъ, были люди очень остроумные, доста-

точно смѣлые судьи современности, хорошо знающіе сцену, хотя скорѣе моралисты, чѣмъ настоящіе драматурги, какъ Фонъ-Визинъ и Капнистъ; было очень много сатириковъ обличителей общественныхъ пороковъ и проповѣдниковъ разныхъ добродѣтелей, былъ несомнѣнно ученый геній—Ломоносовъ, который хотѣлъ стать поэтомъ, и былъ наконецъ лирикъ Державинъ—способный урывками подняться на извѣстную высоту поэтическаго созерцанія, паѳоса и величавости образовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ очень неровный и негармоничный.

Этихъ литературныхъ талантовъ, при всемъ ихъ трудѣ и дарованіи, было недостаточно, чтобы словесности придать то вліяніе и то значеніе, какое она можетъ имѣть въ жизни, какъ особая духовная сила. Съ появленіемъ Карамзина эта сила начала давать себя чувствовать болѣе ясно, роль писателя въ обществѣ стала болѣе самостоятельна, но и Карамзинъ не былъ настоящимъ художникомъ. Заслуга его передъ нашей образованностью, какъ вы знаете, очень велика, велика его заслуга и передъ нашимъ литературнымъ языкомъ, который подъ его перомъ сталъ болѣе гибокъ, мягокъ, красивъ и болѣе самобытенъ, но его вдохновеніе, какъ поэта, было не того порядка, не той силы, чтобы заставить читателя испытать тотъ подъемъ мыслей и чувствъ, какой всегда испытаешь при встрѣчѣ съ истиннымъ даромъ творчества.

Этотъ подъемъ читатель сталъ испытывать лишь тогда, когда въ его руки попали сочиненія Жуковскаго—перваго по времени истиннаго художника слова, котораго произвела русская земля. Пусть въ Жуковскомъ моралистъ и проповѣдникъ сказывался неуклонно и ясно, но онъ въ немъ никогда не заслонялъ поэта, и Жуковскій былъ убѣжденъ, хотя и не могъ этого выразить вполнѣ ясными словами, что поэту, какъ таковому, независимо отъ прямого ощутимаго результата, какой обществу даетъ его творчество, принадлежитъ особая культурная роль, какъ выразителю божественнаго начала, проявляющагося въ твореніяхъ красоты. Богъ, добро, истина и красота въ пониманіи Жуковскаго были неразрывно связаны, и среди этихъ силъ красота была признана независимой самодержавной силой.

Съ Жуковскаго начинается литературный періодъ, примыкающій къ тому, о которомъ мы будемъ бесѣдовать. Этотъ періодъ тянется приблизительно съ конца XVIII вѣка до конца сороковыхъ годовъ и включаетъ все творчество Жуковскаго, Пушкина, Грибоѣдова, Лермонтова и Гоголя—чтобы назвать лишь самыя громкія имена. За эту первую половину XIX вѣка наша изящная словесность въ очень короткій срокъ

достигла рѣдкаго по красотѣ и богатству цвѣтенія. Никто не могъ предполагать, что послѣ такого въ художественномъ смыслѣ безплоднаго вѣка, какимъ былъ вѣкъ XVIII-й, — мы въ художественномъ творчествѣ сразу подымемся на такую высоту, которая бываетъ доступна художнику лишь послѣ тысячелѣтней подготовки, какъ это было на западѣ. А несомнѣнно, что такія дарованія, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, именно какъ *художественныя* дарованія, ничѣмъ не ниже, не слабѣе любого на западѣ прославленнаго дарованія,—будь то Шекспиръ, Мольеръ, Шиллеръ, Гёте, Байронъ, Диккенсъ, Гюго или иной кто... Что міросозерцаніе западныхъ художниковъ было шире и глубже міросозерцанія нашихъ поэтовъ, что въ своихъ произведеніяхъ западный геній затрагивалъ гораздо болѣе сложные вопросы жизни, чѣмъ геній русскій, и вліяніе его на умы культурнаго міра было значительно сильнѣе и шире—это несомнѣнно, но какъ *художники*, какъ *таланты*, какъ люди, одаренные способностью претворять жизнь въ художественные образы, Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ—изъ той же семьи истинныхъ геніевъ, къ которой принадлежатъ и всѣ корифеи западной словесности. Нельзя сказать, что русская жизнь этихъ геніевъ *воспитала:* ихъ появленіе есть, конечно, благая случайность, но эта случайность имѣетъ для насъ огромное значеніе: она — доказательство богатства нашего національнаго генія, указаніе на то, что въ нѣдрахъ нашихъ національныхъ дарованій таятся огромныя силы для созданія одной изъ высшихъ духовныхъ цѣнностей, какой является даръ истиннаго поэта.

И въ то послѣдующее полстолѣтіе, которое подлежитъ теперь нашему разсмотрѣнію, литературные таланты насъ не покинули—наоборотъ, ихъ число и ихъ сила возросли. Развивался, однако, не столько самый талантъ писателей, сколько углублялось и расширялось ихъ міросозерцаніе, умножался и обогащался тотъ матеріалъ, который они привлекали къ обработкѣ. Вѣдь нельзя же сказать, что Тургеневъ, Толстой, Достоевскій, какъ литературныя дарованія, были совершеннѣе, чѣмъ Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь. Они сами всегда признавали себя учениками своихъ великихъ предшественниковъ. И въ данномъ случаѣ это была съ ихъ стороны вовсе не писательская скромность. Какъ дарованія, Тургеневъ, Достоевскій и Толстой не ниже и не выше Пушкина, Лермонтова и Гоголя; они той же высокой исключительной пробы, но, конечно, съ отличительными для каждаго изъ нихъ чертами характера, настроеніемъ и міропониманіемъ.

То, что наши писатели второй половины XIX вѣка внесли новаго въ литературу, то, что придаетъ этой эпохѣ ея осо-

бенный отличительный характеръ—это станетъ вамъ ясно, если вы припомните, каковы были характерныя черты той уже знакомой вамъ литературной эпохи, когда писали Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ и Гоголь.

Писатели Пушкинскаго и Гоголевскаго времени успѣли за короткій срокъ создать богатый и красивый литературный языкъ, прозаическій и стихотворный, языкъ вполнѣ способный передавать легко и образно тонкость чувствъ и глубины мыслей, которымъ писатель хотѣлъ придать художественную форму. Въ этомъ смыслѣ на долю Пушкина и его сотрудниковъ выпала болѣе трудная задача, чѣмъ на долю ихъ послѣдователей. Изъ рукъ учителей писатели второй половины вѣка приняли готовый литературный языкъ, т.-е. богатство огромной цѣнности; имъ оставалось только умножать это богатство—что они и дѣлали. Писатели Пушкинской эпохи начали дѣло сближенія литературы и жизни и успѣли привлечь для художественной обработки довольно разнообразный матеріалъ, взятый изъ жизни разныхъ слоевъ и классовъ нашего общества. Но сравнительно съ обиліемъ этого матеріала вообще и сравнительно съ необычайнымъ богатствомъ типовъ и бытовыхъ особенностей русской жизни—матеріалъ, собранный писателями пушкинской и гоголевской эпохи, былъ все-таки очень незначителенъ. Художникамъ второй половины вѣка принадлежитъ заслуга необычайно быстраго накопленія самаго разнообразнаго матеріала, собраннаго со всѣхъ концовъ Россіи, отысканнаго въ самыхъ разнообразныхъ ея кругахъ, слояхъ и углахъ. По своему содержанію и по вызваннымъ такимъ содержаніемъ мыслямъ и чувствамъ, литература второй половины XIX вѣка многимъ богаче литературы предшествующей эпохи.

Ограниченный—по собственному ли желанію, по неопытности ли, или въ силу какихъ-нибудь внѣшнихъ обстоятельствъ—ограниченный въ своихъ наблюденіяхъ надъ окружающей жизнью, художникъ первой половины XIX вѣка былъ очень занятъ самимъ собою; онъ былъ по преимуществу лирикомъ въ своемъ отношеніи къ жизни, любилъ не столько изображать эту жизнь, сколько говорить о своемъ личномъ отзвукѣ на нее. Писатель второй половины вѣка былъ въ этомъ смыслѣ меньшимъ индивидуалистомъ. Онъ могъ имѣть свои взгляды на вещи, могъ имѣть цѣлую программу жизни и проводить ее въ своихъ писаніяхъ, но онъ всегда обращалъ больше вниманія на изображаемую имъ окружающую жизнь, чѣмъ на движенія своей собственной души. Онъ былъ больше заинтересованъ лицами, которыхъ онъ встрѣчалъ и разыскивалъ, чѣмъ самимъ собою. Онъ свою личность очень

часто совсѣмъ пряталъ и старался даже не говорить отъ себя ни одного слова.

Присматриваясь такъ внимательно къ окружающей жизни, художникъ второй половины вѣка долженъ былъ стать на сторону самаго строгаго *реализма* въ искусствѣ. Его учителя, при относительно маломъ количествѣ наблюденій и при стремленіи субъективно обобщать ихъ—были въ искусствѣ большими „идеалистами“ или „романтиками“, какъ иногда принято называть ихъ. Общій смыслъ явленій и то общее впечатлѣніе, какое они производили на душу писателя, были имъ дороже всѣхъ частностей, всѣхъ мелочей и деталей, изъ которыхъ слагается жизнь; и, ловя этотъ общій смыслъ и это общее впечатлѣніе, художники первой половины вѣка любили передавать его особымъ способомъ—символами, аллегорическими фигурами, разными условными обстановками и самыми обобщенными типами, напоминающими живыхъ людей, но отнюдь съ ними не совпадающими. Художникъ второй половины вѣка—онъ былъ „реалистъ“. Къ идеализаціи онъ не прибѣгалъ, стремился набрасывать типы вполнѣ жизненные, обстановку бралъ самую обыденную и не боялся вырисовывать ея мелочи и детали, и, наконецъ, онъ былъ врагомъ всякой условности, всякихъ символовъ и аллегорій. Только въ стихотворной рѣчи, и то рѣдко, онъ дѣлалъ уступку „романтизму“.

Какъ видимъ, общій характеръ нашей изящной словесности во вторую половину XIX столѣтія былъ во многомъ иной, чѣмъ раньше, въ періодъ дѣятельности Пушкина и его современниковъ. Обогащался и развивался литературный языкъ, новый матеріалъ въ обиліи былъ привлеченъ къ обработкѣ, и наконецъ иными стали пріемы мастерства, пріемы художественной обработки этого матеріала.

Со всѣми этими особенностями новаго литературнаго теченія намъ надо подробнѣе ознакомиться прежде, чѣмъ мы перейдемъ къ обзору тѣхъ художественныхъ памятниковъ, которыми за этотъ періодъ обогатилась наша литература.

IV.

Эпоха „реализма“ съ конца 40-хъ годовъ до конца 80-тыхъ. — Языкъ. — Сближеніе искусства съ жизнью.—Ростъ литературнаго матеріала.—Личность писателя и окружающая его жизнь.—Художникъ-историкъ и судья своего времени.—Гражданскій мотивъ въ искусствѣ.

Установить точно хронологическія даты, въ которыя укладывается какой-нибудь опредѣленный литературный періодъ, нельзя. Привлеченіе новаго матеріала и развитіе но-

выхъ литературныхъ формъ — процессъ длительный; много лѣтъ уходитъ иногда на его подготовку, и ему самому требуется немало времени, чтобы ясно обнаружиться. Тѣ характерныя черты, которыя обнаружила наша изящная словесность во вторую половину XIX вѣка, проявились не сразу, и подготовлялись еще въ предшествующую эпоху. Привлеченіе новаго матеріала, поворотъ отъ „идеализма“ къ „реализму“ и постепенный переносъ центра вниманія съ личности самого писателя на окружающую его обстановку — все это уже намѣчалось въ первую половину XIX вѣка, прежде чѣмъ во вторую не стало самой характерной особенностью всѣхъ литературныхъ новинокъ.

Новизна творческаго пути и литературной обработки вполнѣ обнаружилась и укрѣпилась приблизительно съ конца сороковыхъ годовъ; и это новое литературное направленіе развивалось и царило до девяностыхъ годовъ XIX вѣка, когда изъ всѣхъ писателей, творцовъ этого новаго направленія, никого въ живыхъ не осталось, и когда подросшая молодежь либо начала искать новыхъ путей въ словесномъ искусствѣ, либо съ силами, идущими на убыль, продолжала писать въ реальномъ стилѣ.

Итакъ, литературный періодъ, о которомъ пойдетъ рѣчь, тянется—при уже совершенно ясно обнаружившихся характерныхъ чертахъ—цѣлыя сорокъ лѣтъ. Начался этотъ періодъ со времени перваго выступленія Тургенева, Гончарова, Достоевскаго, Некрасова, Островскаго, вслѣдъ за которыми спустя короткій срокъ выступили Писемскій, Салтыковъ-Щедринъ и Толстой. Заканчивается эта эпоха съ исходомъ 80-хъ годовъ, когда всѣ эти писатели одинъ за другимъ сходятъ въ могилу, за исключеніемъ лишь Льва Толстого, который прерываетъ свою литературную дѣятельность и весь свой талантъ и всѣ свои знанья отдаетъ на служенье проповѣди нравственнаго и религіознаго самосовершенствованія.

Первое, что должно отмѣтить, возвращаясь къ общей характеристикѣ этого періода въ развитіи нашей изящной словесности, это—большую по числу наличность литературныхъ талантовъ Такого обилія писателей-художниковъ, какъ то, которымъ можетъ похвастаться эта эпоха—въ Россіи еще не появлялось. Всѣ они, несмотря на разницу въ темпераментахъ, душевномъ складѣ и убѣжденіяхъ, были писатели одной школы, и внутреннюю и внѣшнюю технику этой школы они довели до совершенства.

Но имѣйте въ виду, что кромѣ большихъ писателей, вліяніе которыхъ на общество было велико и къ произведеніямъ которыхъ всегда будетъ обращаться историкъ русской

жизни и литературы, существовало въ ту эпоху еще большее число другихъ писателей, сильнымъ художественнымъ дарованіемъ не обладавшихъ, но усердно трудившихся надъ собираніемъ бытового матеріала, годнаго для художественной обработки—въ свое время матеріала новаго.

Литературное наслѣдство разсматриваемой нами эпохи очень значительно.

Писатели второй половины XIX вѣка получили уже, какъ сказано, въ наслѣдство отъ своихъ предшественниковъ — вполнѣ выработанный литературный языкъ. Такой языкъ былъ, конечно, большимъ пріобрѣтеніемъ и писателямъ не пришлось тратить на него столько силъ, сколько было потрачено раньше, когда этотъ языкъ пришлось вырабатывать. Но если языкъ Жуковскаго, Пушкина, Грибоѣдова, Лермонтова и Гоголя, въ прозаической ли формѣ или въ стихотворной, давалъ уже готовые образцы художественной рѣчи, то подъ перомъ новыхъ писателей эта художественная рѣчь значительно обогатилась. Они внесли много своего въ развитіе литературнаго языка, и онъ обнаружилъ новыя, до того времени еще не отшлифованныя грани. Достоевскій внесъ въ нашу художественную рѣчь повышенную, до экстаза доходящую нервность, Толстой—необычайную простоту, сильную своимъ непосредственнымъ ударомъ, Тургеневъ—удивительную грацію и музыкальность, Гончаровъ—трезвую дѣловитость, скупую на украшенья, но очень вѣскую по точности выраженья, Салтыковъ-Щедринъ — полный юмора капризъ языка и поразительную живость и задорность; Островскій—исключительную образность и мѣткость, Алексѣй Толстой — узорную красочность, Некрасовъ—гнѣвный паѳосъ и особую мелодичность, полную грусти и слезъ... Когда вы будете внимательно читать этихъ писателей, вы сами, если вы одарены музыкальнымъ слухомъ и чутьемъ къ стилю, почувствуете все разнообразіе и своеобразную красоту этихъ оттѣнковъ рѣчи и можете даже научиться угадывать, какимъ писателемъ какая страница написана. Но то, что васъ поразитъ съ перваго раза—это богатство лексикона, т.-е. словъ, которыя пущены новыми писателями въ оборотъ. Въ этомъ смыслѣ языкъ писателей первой половины XIX вѣка значительно бѣднѣе языка болѣе новаго. Вовлекая въ свой поэтическій кругозоръ все новыя и новыя стороны жизни, собирая матеріалъ отовсюду, писатель второй половины вѣка накоплялъ большой запасъ словъ, опредѣленій, техническихъ терминовъ, мѣстныхъ реченій, рѣдкихъ оборотовъ рѣчи. Всѣмъ этимъ лексическимъ доселѣ нетронутымъ богатствомъ писатель сталъ пользоваться для своихъ художествен-

ныхъ картинъ, и онѣ отъ этого много выиграли въ колоритѣ.

Новая школа писателей ставила себѣ, какъ сказано, помимо цѣли—создать нѣчто художественное—и еще одну прямую задачу: насколько возможно сблизить искусство съ жизнью, т.-е. сдѣлать художественные памятники вѣрнымъ отраженіемъ не только переживаній самого писателя, но и той дѣйствительности, тѣхъ безчисленныхъ явленій жизни, съ которыми писателю приходилось сталкиваться. Но художникъ не ограничивался тѣмъ, что наблюдалъ то, что ему на глаза попадалось; онъ шелъ на розыски новыхъ житейскихъ явленій, тратилъ много труда и времени на изученіе особенностей быта русской жизни во всѣхъ ея слояхъ и на самомъ широкомъ пространствѣ. Его предшественникъ, писатель начала вѣка, на такіе розыски не пускался.

Если вы примете въ расчетъ, какъ велика наша родина, какъ разнообразны условія жизни въ разныхъ мѣстностяхъ, въ культурныхъ центрахъ или въ мало культурныхъ углахъ; если вы припомните, какой различный по облику и по внутреннему содержанію жизнью живутъ и въ особенности жили разные классы и слои нашего общества; если наконецъ вы не упустите изъ виду, сколь разнообразныя народности входятъ въ составъ нашего государства и какъ различны между собой по психикѣ и бытовымъ особенностямъ вѣтви единаго русскаго племени, то вамъ станетъ ясно, какая колоссальная работа предстояла художникамъ, которые пожелали этотъ матеріалъ использовать для художественной обработки и не считали себя въ правѣ ограничиться лишь передачей своего личнаго отношенія къ нему.

Такъ и поступили художники-„реалисты“ второй половины вѣка. Они принялись за систематическое изученіе русской жизни и, не переставая быть художниками, стали ея бытописателями. Область своихъ наблюденій они расширили по возможности на всѣ слои общества отъ низшихъ до высшихъ, и, сохраняя за собой право суда надъ той жизнью, которую они изображали, они старались сказать объ этой жизни всю правду, изобразить ее, какъ она есть, безъ прикрасъ и безъ карикатуры. Много труда было потрачено на эту работу и много таланта, и многое въ исторіи русской жизни прояснилось намъ, когда эта жизнь предстала передъ нами въ художественныхъ образахъ, но, конечно, всего богатства жизни литература не могла исчерпать. Наша жизнь была значительно сложнѣе и колоритнѣе, чѣмъ ея отраженье въ литературѣ. И таковой она и до сей минуты остается. Но основные мотивы этой жизни, самые характерные типы,

появлявшіеся въ самыхъ разнообразныхъ ея слояхъ и углахъ, самые значительные переломы въ ея идейномъ содержаніи, ея господствующихъ чувствахъ и настроеніяхъ и, наконецъ, огромное количество ея внѣшнихъ особенностей художниками было уловлено и навсегда закрѣплено. Художникъ былъ одновременно и художникомъ, и историкомъ, и судьей той дѣйствительности или того ближайшаго прошлаго, о которомъ онъ говорилъ. И читатель получалъ въ руки цѣлую энциклопедію, цѣлую историческую хронику въ лицахъ и иллюстраціяхъ, которая его національному самосознанію оказывала большую помощь. Бытъ дворянскій, чиновничій, крестьянскій, солдатскій, купеческій, мѣщанскій, жизнь разночинной и безсословной интеллигентной массы, — типичные представители всѣхъ этихъ полосъ жизни, мужчины и женщины, проходили передъ глазами читателей, которые до встрѣчи съ художникомъ-реалистомъ обо всемъ этомъ имѣли лишь смутное и раздробленное понятіе.

Ставя себѣ опредѣленную задачу—сближеніе искусства съ жизнью—и расширяя, насколько хватало силъ, свой историческій кругозоръ привлеченіемъ все новаго и новаго матеріала—художникъ долженъ былъ стать „реалистомъ“. Переходъ отъ „сентиментализма“ и „романтизма“ къ „реализму“ совершился самъ собой, въ силу психологической необходимости. Художникъ, обогащенный массою знаній, при огромномъ притокѣ сырого матеріала, который онъ бралъ непосредственно изъ жизни, и въ обработкѣ котораго онъ желалъ быть точнымъ и добросовѣстнымъ—долженъ былъ мало помалу забывать о себѣ и, отодвигая на второй планъ свои личные взгляды и вкусы, все вниманье свое сосредоточить на тѣхъ разнообразныхъ людяхъ и тѣхъ пестрыхъ явленіяхъ жизни, которые теперь попадали въ поле его зрѣнія. Конечно, художникъ могъ имѣть свои убѣжденія, религіозныя, нравственныя, общественныя и политическія, онъ могъ въ силу, особенностей своей личной психики, относиться благожелательно къ людямъ одного душевнаго склада и отрицательно относиться къ другимъ, но, если онъ рѣшался проводить въ своихъ художественныхъ произведеніяхъ извѣстную личную тенденцію, онъ все-таки говорилъ не о себѣ и не отъ своего лица, а старался въ самой жизни найти такія положенья и отыскать такихъ лицъ [не выдумать, не создать, а именно отыскать и правдиво обрисовать], которыя подтвердили бы правоту его личныхъ чувствъ и взглядовъ.

Художники стали сознательно и настойчиво обуздывать свои личныя симпатіи и подчиняли себя постепенно окружающей обстановкѣ и окружающимъ людямъ. Это было съ

ихъ стороны проявленіемъ своего рода художническаго альтруизма, проявленіемъ чувства расширяющейся симпатіи къ людямъ. Накопляя матеріалъ, знакомясь въ деталяхъ съ русской жизнью, художники не только хотѣли сказать, что они объ этой жизни думаютъ, но изучали ее также для того, чтобы вѣрнѣе и глубже выяснить себѣ самимъ ея запросы и потребности. Нѣкоторые изъ писателей-реалистовъ ограничивались простымъ собираніемъ матеріаловъ и его группировкой; другіе къ такому бытописанію примѣшивали свою оцѣнку изображаемыхъ явленій. Были и такіе, которые сознавали себя пропов'ѣдниками и учителями и потому брали изъ жизни лишь тотъ матеріалъ, которымъ они могли воспользоваться въ цѣляхъ проповѣди своихъ взглядовъ, но всегда каждую свою мысль они провѣряли на жизни, всегда представляли обильные оправдательные документы тому, что хотѣли доказать, и предоставляли самому читателю на основаніи живого, а не вымышленнаго матеріала, принять или опровергнуть тѣ выводы и сужденья, на которыхъ они основывались.

Такая близость къ самой жизни и постоянное наблюденіе надъ ея повседневнымъ ходомъ должны были, конечно, развить въ художникѣ очень быстро желанье не только изображать эту жизнь, но и произносить свой судъ надъ нею. Писатель—историкъ и художникъ становился мало-по-малу „гражданиномъ"—какъ принято выражаться, т.-е., не довольствуясь самыми общими сужденіями о жизни, объ ея религіозномъ, идейномъ или нравственномъ смыслѣ, онъ пожелалъ оставить за собой право относиться съ сочувствіемъ къ тому или иному опредѣленному общественному теченію, къ тѣмъ или инымъ гражданскимъ идеаламъ, къ той или иной политической программѣ. Онъ сталъ стремиться къ тому, чтобы его творчество,—насколько это возможно для художественнаго произведенія,—служило яснымъ гражданскимъ и даже политическимъ взглядамъ.

Въ первую половину вѣка это стремленье художника стать „гражданиномъ" проявлялось лишь изрѣдка, при особыхъ условіяхъ жизни писателя, въ исключительные моменты общественнаго волненія. Писатель прежнихъ поколѣній считалъ для себя даже долгомъ по возможности оберегать область своего творчества отъ вторженья запросовъ дня и шумныхъ волненій минуты. Такое обереганіе стало психологически невозможнымъ съ того времени, какъ художникъ пришелъ въ тѣсное соприкосновеніе съ окружающей его жизнью. Онъ долженъ былъ принять участіе въ ея движеніи не какъ созерцатель только. И тогда передъ нимъ стала трудная за-

дача, которую онъ однако осилилъ, а именно—остаться художникомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ быть судьей своего времени и проповѣдникомъ извѣстныхъ гражданскихъ идеаловъ.

Задача была трудна въ особенности потому, что какъ разъ въ то время, когда реализмъ въ искусствѣ достигъ полнаго расцвѣта,—наша родина переживала годы очень сильнаго общественнаго волненія.

V.

Историческій моментъ, съ которымъ совпалъ расцвѣтъ реализма въ литературѣ.—Двѣ основныхъ мысли, руководившія творчествомъ художника-реалиста.—Мысль объ оздоровленіи общественной жизни и мысль объ участіи интеллигента въ этой работѣ.

Эпоха расцвѣта реализма въ нашемъ художественномъ словесномъ творчествѣ совпала съ годами большого общественнаго подъема. Этотъ подъемъ оказалъ, несомнѣнно, сильное вліяніе на ходъ и направленіе изящной словесности, и словесность, въ свою очередь, не осталась безъ вліянія на ходъ событій. Литература, сближаясь все тѣснѣе и тѣснѣе съ жизнью, должна была отразить на себѣ ея волненія; ей должна была передаться та нервность, которая замѣчалась въ самой жизни; очень серьезные запросы этой жизни должны были найти въ литературѣ свое освѣщеніе—и потому естественно, что такая литературная обработка выдвинутыхъ самой жизнью вопросовъ не могла не вліять на ихъ рѣшеніе уже не на страницахъ художественныхъ произведеній, а въ самой дѣйствительности.

Художественная словесность во вторую половину XIX вѣка была поставлена въ условія, во многомъ отличныя отъ тѣхъ, при какихъ она развивалась раньше. Не говоря уже о томъ, что художникъ Пушкинскаго и Гоголевскаго періода зналъ о нашей жизни гораздо меньше, чѣмъ его наслѣдникъ, и обнаруживалъ относительно малое любопытство, занятый больше своими личными переживаніями и выработкой своего личнаго міросозерцанія—сами времена, когда этотъ художникъ дѣйствовалъ, были болѣе спокойны въ ихъ внѣшнемъ и внутреннемъ теченіи и позволяли писателю держаться въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ многихъ назрѣвающихъ сложныхъ вопросовъ жизни, преимущественно вопросовъ общественнаго и политическаго характера.

Дѣйствительно, наша общественная жизнь въ первую половину XIX вѣка — въ царствованіе императоровъ Александра Павловича и Николая Павловича отличалась своеобразной тишиной, нарушенной только однажды и то на весьма

короткій срокъ въ первые дни вступленія на престолъ императора Николая I. Послѣ окончанія отечественной войны въ 1815 году, до начала Крымской кампаніи въ 1854 году—внѣшнія дѣла имперіи сложились такъ, что этими дѣлами обществу волноваться не приходилось. Не было ни одного внѣшняго столкновенія, которое могло бы съ достаточной силой отозваться на нашей общественной жизни, такъ какъ война съ турками и кавказскими горцами и походъ въ Венгрію глубоко задѣть наше общество не могли. Внутри царилъ прочно установленный порядокъ — крѣпостной строй, чиновная централизація, рѣзкое сословное разграниченіе. Этимъ строемъ передовые люди были недовольны, но такое недовольство и такое желаніе критически отнестись къ дѣйствительности было дѣломъ единичныхъ лицъ, иногда замкнутыхъ кружковъ, но, во всякомъ случаѣ, оно никакъ не могло назваться широкимъ и сильнымъ общественнымъ движеніемъ. Для этого оно было очень слабо и неопредѣленно. Кромѣ того, всякая попытка критическаго отношенія къ дѣйствительности была обставлена въ тѣ годы такими внѣшними стѣсненіями, что любой мысли общественнаго характера было очень трудно пробиться и собрать вокругъ себя слушателей и сторонниковъ. Того, что называется общественнымъ мнѣніемъ, почти не существовало. Общественная сила, съ которой намъ въ наше время на каждомъ шагу приходится считаться, а именно—интеллигентный классъ общества былъ по количеству ничтоженъ, и убѣжденья его мало устойчивы и опредѣленны.

Характеръ нашей общественной жизни рѣзко перемѣнился во вторую половину XIX вѣка. Идейныя и общественныя волненія на западѣ сильнѣе и глубже стали на насъ отзываться; война Крымская, неудачная, несмотря на проявленный нами героизмъ, заставила и правительство и общество отнестись съ большой критикой къ существующему укладу жизни и признать необходимость многихъ реформъ, нарушавшихъ старую традицію и вносившихъ въ жизнь новые порядки. Съ первыхъ дней вступленія на престолъ императора Александра Николаевича [1855] такая программа реформъ была намѣчена и начала осуществляться. Реформы задѣвали самыя основы, самые корни старой жизни; сознанье необходимости реформъ, желаніе ихъ скорѣйшаго осуществленія росло очень быстро въ интеллигентномъ классѣ, доселѣ очень малочисленномъ, а теперь съ необычайной быстротой расширявшемся. Этотъ интеллигентный классъ, раздѣленный на разныя общественныя группы, а скоро и на политическія партіи, желалъ имѣть свою долю участія въ ра-

ботѣ надъ преобразованіемъ жизни и долженъ былъ поэтому вступить въ соревнованіе и состязаніе съ правительствомъ. Однѣ группы шли за правительствомъ, другія, опережая его, вступали въ борьбу съ нимъ, борьбу сначала мирную, а затѣмъ революціонную. Общественная атмосфера становилась съ каждымъ годомъ все тревожнѣе, вопросы, которые жизнь выдвигала, обострялись, страсти разгорались.

Въ такихъ условіяхъ пришлось писать нашимъ художникамъ-реалистамъ, т.-е. пришлось имъ дѣйствовать, такъ какъ для художника-писателя слово есть дѣло. Такъ какъ писатель былъ реалистъ и задачей своей ставилъ возможно болѣе внимательное наблюденіе надъ жизнью, освѣщеніе какъ можно большаго количества ея сторонъ и знакомство съ возможно разнообразными и типичными ея представителями во всѣхъ классахъ общества—то понятно, что онъ свое творчество долженъ былъ тѣсно связать съ общественнымъ движеніемъ своего времени; какъ бы онъ ни старался сохранить хладнокровіе, выдержку художника, онъ все-таки былъ человѣкъ съ нервнымъ и страстнымъ темпераментомъ. Наконецъ ростъ интеллигентнаго класса и все укрѣплявшееся общественное мнѣніе, т.-е. ростъ и расширеніе круга читателей, заинтересованныхъ больше въ ходѣ самой жизни, чѣмъ въ ходѣ развитія таланта писателя — заставляли художника все съ большей и большей строгостью относиться къ выбору темъ, за обработку которыхъ онъ брался.

Итакъ, положеніе писателя въ обществѣ было во вторую половину XIX вѣка совсѣмъ иное, чѣмъ въ первую. Въ дальнѣйшихъ нашихъ бесѣдахъ вы неоднократно будете встрѣчаться съ тѣми тревожными вопросами жизни, которые художнику пришлось затрагивать, и по которымъ онъ считалъ себя обязаннымъ высказаться.

Всѣ такіе вопросы выяснятся по мѣрѣ того, какъ мы будемъ знакомиться съ художественными памятниками, въ которыхъ эпоха нашла свое отраженіе, а пока укажемъ лишь на двѣ основныхъ мысли, которыя не покидали нашихъ писателей-реалистовъ за все время ихъ дѣятельности, съ конца сороковыхъ годовъ, когда они выступили, до девяностыхъ,— когда они замолчали. Вокругъ этихъ двухъ основныхъ мыслей сосредоточены были самыя упорныя и тревожныя думы не только писателей, но и всего русскаго интеллигентнаго общества, и эти мысли служили предметомъ спора всѣхъ общественныхъ группъ и политическихъ партій, а потому онѣ и должны были оставить на художественныхъ произведеніяхъ необычайно яркій слѣдъ.

Это была прежде всего мысль о нравственномъ, умст-

венномъ и общественномъ оздоровленіи родины: мысль о необходимости поставить огромную народную массу, — массу необразованную, безправную, необезпеченную, бѣдную, вплоть до нищей и бездомной—поставить ее въ такія условія существованія, при которыхъ она могла бы умственно развиваться, нравственно совершенствоваться и при свободномъ трудѣ начать завоевывать себѣ экономическую независимость и матеріальное благосостояніе.

Мысль о такой работѣ на благо обездоленныхъ, темныхъ и неимущихъ массъ должна была стать первой мыслью каждаго любящаго свою родину русскаго гражданина, принадлежалъ ли онъ къ классамъ правящихъ или вообще къ интеллигентному обществу. Съ первыхъ же годовъ царствованія императора Александра Николаевича правительственная власть приступила къ цѣлому ряду реформъ, которыя должны были поднять благосостояніе народной массы и создать болѣе культурныя условія для ея существованія. Власть призвала на помощь само общество; общество послѣдовало за этимъ призывомъ, и та ссора, которая потомъ произошла между правительствомъ и обществомъ, вытекла изъ разногласія во взглядахъ на размѣры и способы, какими эти потребности должны быть удовлетворены.

А такихъ потребностей было огромное количество.

Надлежало прежде всего освободить отъ крѣпостной зависимости крестьянъ; дать имъ права личной свободы, уравнять ихъ хоть отчасти въ гражданскихъ правахъ съ другими сословіями; надлежало при новомъ укладѣ дать имъ возможность экономической обезпеченности; надо было позаботиться объ умственномъ просвѣщеніи крестьянской массы и о борьбѣ съ разными порочными сторонами ея жизни, связанными съ ея умственной темнотой.

Надлежало обратить вниманіе на солдатскую жизнь и измѣнить какъ самый порядокъ вербовки защитниковъ родины, такъ и условія ихъ жизни на службѣ. Старый порядокъ военной дисциплины грѣшилъ жестокой строгостью и несправедливостью. Надо было дать солдату возможность болѣе правового существованія и значительно поднять уровень его образованія.

Бытъ духовенства высшаго и въ особенности низшаго, и чернаго и бѣлаго, требовалъ также большого къ себѣ вниманія. Много было недочетовъ въ самыхъ способахъ подготовки священнослужителей къ своему сану, велики были настоятельныя нужды духовенства сельскаго, и уровень образованія этого общественнаго слоя, которому поручена была такая отвѣтственная задача, былъ въ общемъ очень низокъ.

Вниманіе привлекалъ къ себѣ и крѣпко сложившійся и очень замкнутый строй жизни купеческихъ круговъ. Много нравственныхъ изъяновъ и умственной темноты было въ этихъ кругахъ, сильныхъ своей матеріальной обезпеченностью.

Та же умственная тьма и также большіе нравственные изъяны давали себя чувствовать въ слояхъ бѣдныхъ, мѣщанскихъ, чиновническихъ низшаго ранга, не говоря уже о тѣхъ людяхъ, которые не имѣли никакой профессіи и въ полномъ смыслѣ слова прозябали.

Наконецъ, развѣ въ слояхъ высшихъ, въ кругу дворянъ-помѣщиковъ и дворянъ-чиновниковъ мало было разныхъ особенностей быта, привычекъ, чертъ характера и взглядовъ, съ которыми ни въ какомъ случаѣ не могъ мириться человѣкъ, желавшій для своей родины скорѣйшаго нравственнаго и умственнаго совершенствованія? Всѣ эти недочеты жизни надо было привести въ ясность и начать работу надъ ихъ искорененіемъ и исправленіемъ.

Писатели-реалисты сослужили въ данномъ случаѣ огромную службу родинѣ. Они, наблюдая жизнь во всѣхъ ея развѣтвленіяхъ, собирая матеріалъ отовсюду, дали намъ согласныя съ жизненной правдой картины быта крестьянскаго, купеческаго, мѣщанскаго, духовнаго и иныхъ слоевъ общества, дали эти картины въ такомъ обиліи, которое позволило читателю сознательно и со знаніемъ дѣла отнестись къ жизни, ему по личному опыту, быть-можетъ, мало знакомой. Писатель-реалистъ продолжалъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ [когда онъ говорилъ, напримѣръ, о дворянахъ и чиновникахъ] работу своихъ предшественниковъ-писателей первой половины вѣка; но въ огромномъ большинствѣ случаевъ онъ давалъ матеріалъ совершенно новый, и знаніе русской жизни быстро расширялось и укоренялось въ читателѣ.

Писатель, приглядываясь къ жизни пристально, отмѣчая безъ пощады всѣ темныя ея стороны, не закрывалъ, конечно, глазъ и на стороны хорошія. Къ какой бы общественной партіи онъ ни принадлежалъ, онъ былъ русскимъ, любилъ свой народъ, вѣрилъ въ силу его умственныхъ и душевныхъ способностей, вѣрилъ, что этому народу предстоитъ великое и славное будущее и потому, отмѣчая его грѣхи, не могъ не отмѣтить того цѣннаго, что онъ встрѣчалъ въ народѣ, какъ въ мыслящихъ и чувствующихъ людяхъ. Писатель тѣмъ болѣе преклонялся передъ этимъ добрымъ и цѣннымъ, чѣмъ яснѣе передъ нимъ вырисовывались тяжелыя и печальныя условія, въ которыхъ жило большинство общественныхъ группъ и классовъ. Подробный инвентарь, если можно такъ выразиться, грѣховъ и добродѣтелей русскаго человѣка, со-

ставленный писателями, привелъ нѣкоторыхъ изъ нихъ къ очень сложному вопросу о томъ, насколько и въ чемъ русскій народъ отличается по духу отъ народовъ западныхъ и какое міровое предназначенье онъ среди народовъ запада долженъ выполнить.

Такъ отозвался писатель-реалистъ на одну изъ главныхъ мыслей, какими жило наше интеллигентное общество во вторую половину XIX вѣка. Кромѣ этой мысли, а именно мысли о необходимости, узнавъ всѣ несовершенства нашей жизни, прійти этой жизни на помощь и начать работать надъ ея улучшеніемъ, была и еще одна мысль, надъ которой интеллигентное общество этого времени—и прежде всего писатель—думало очень упорно и неустанно. Это была мысль о томъ, — какими средствами начать обновлять нашу жизнь и въ какой мѣрѣ въ этомъ обновленіи должно участвовать само наше интеллигентное общество. Иниціатива обновленія была взята правительствомъ, и оно очень ревниво оберегало свое право опеки надъ всей жизнью. Интеллигентное общество, по мѣрѣ того, какъ оно крѣпло въ своихъ убѣжденіяхъ и взглядахъ, съ своей стороны стремилось пріобрѣсти возможно бо́льшую свободу въ выборѣ способовъ и средствъ къ скорѣйшему устраненію всѣхъ недочетовъ и несправедливостей нашего общественнаго и государственнаго строя. Споръ и ссора между правительствомъ и нѣкоторыми группами интеллигентнаго общества становились неизбѣжными, и такими столкновеніями, доходившими до открытой борьбы, борьбы сначала словесной, а затѣмъ и активной, полны всѣ тѣ годы, когда писателямъ-реалистамъ пришлось дѣйствовать. Мысль о томъ, какъ—въ согласіи съ правительствомъ или опережая его — образованный человѣкъ долженъ трудиться на благо родины, проходитъ красной нитью черезъ всѣ общественныя движенія второй половины XIX вѣка. Писатель-реалистъ, связавшій такъ тѣсно свое творчество съ жизнью, долженъ былъ на каждомъ шагу сталкиваться и считаться съ этой мыслью. Оставаясь художникомъ, онъ неизбѣжно обязанъ былъ опредѣлить свое отношеніе къ этому очень жгучему вопросу окружающей его дѣйствительности, потому что этотъ вопросъ была сама жизнь, которую онъ брался изображать. Онъ могъ или самъ принять непосредственное участіе въ рѣшеніи этого вопроса, т.-е. проводить въ своихъ произведеніяхъ опредѣленную общественную или политическую тенденцію, или онъ могъ, не очень подчеркивая свое личное мнѣніе, изображать въ лицахъ типичныхъ выразителей того или другого общественнаго теченія. И въ данномъ случаѣ заслуга писателя-реалиста передъ обществомъ была большая

Онъ либо способствовалъ выясненію какого-нибудь опредѣленнаго общественнаго вопроса, вникая въ него и убѣдительно и талантливо его разрабатывая; либо онъ въ лицахъ давалъ цѣлую исторію общественнаго движенія въ Россіи за опредѣленный періодъ времени, и повѣсть и романъ подъ его перомъ становились историческимъ документомъ.

Произведенія писателей-реалистовъ остаются, дѣйствительно, надежнымъ и яркимъ историческимъ повѣствованіемъ изъ ближайшаго нашего прошлаго. Въ нихъ заключена исторія русской интеллигенціи отъ конца сороковыхъ годовъ почти до нашего времени. Всѣ тѣ различные отвѣты, которые русскій образованный человѣкъ давалъ на вопросъ, въ какое положеніе ему надо стать къ окружающей его жизни, чтобы способствовать ея обновленію и улучшенію, всѣ эти послѣдовательныя перемѣны въ смѣняющихся общественныхъ мысляхъ и настроеніяхъ почти за цѣлое полстолѣтіе—нашли себѣ очень наглядное отраженіе въ творчествѣ нашихъ реалистовъ-художниковъ.

VI.

Планъ нашихъ бесѣдъ.

Степень художественнаго совершенства, на которую поднялись наши писатели-реалисты, художественные образцы стиля и образовъ, психологическая правда, которая видна во всѣхъ выведенныхъ ими типахъ—все это откроется вамъ и вами легко будетъ схвачено по мѣрѣ того, какъ вы будете внимательно читать самые памятники. Вы не будете нуждаться въ помощи руководителя для того, чтобы увлечься красотой этихъ произведеній, она сама себя обнаружитъ и сама себя оправдаетъ въ вашихъ глазахъ при условіи, конечно, если вы, не довѣряя никакимъ изложеніямъ или переложеніямъ содержанія, возьмете самые памятники въ руки и, не торопясь, выясните сами себѣ причину власти того или другого героя надъ вашимъ умомъ и сердцемъ. По поводу той художественной красоты, которая вамъ при такомъ чтеніи откроется, можно, само собою разумѣется, сдѣлать немало глубокихъ и тонкихъ замѣчаній чисто-эстетическаго характера.

Существуетъ цѣлая отрасль философской науки, именуемая эстетикой, которая опредѣляетъ сущность и разсматриваетъ законы обнаруженія красоты въ мірѣ,—въ мірѣ дѣйствительномъ и въ мірѣ фантазіи. При участіи вашихъ школьныхъ руководителей законы эти могутъ быть вами провѣрены на памятникахъ нашей изящной словесности.

Мы поведемъ рѣчь не объ этихъ законахъ, а объ историческомъ и психологическомъ содержаніи тѣхъ памятниковъ нашей изящной словесности второй половины XIX вѣка, которые съ соблюденіемъ этихъ эстетическихъ законовъ были созданы нашими художниками.

Переходя къ оцѣнкѣ содержанія художественныхъ памятниковъ и главнѣйшихъ общественныхъ типовъ, въ нихъ выведенныхъ, прежде всего надо условиться о томъ порядкѣ, въ какомъ эти памятники должны стать предметомъ обслѣдованія.

Обыкновенно принято располагать весь литературный матеріалъ, который даетъ исторія словесности во вторую половину XIX вѣка, либо по отдѣльнымъ эпохамъ, по небольшимъ пролетамъ времени, какъ, напримѣръ, „пятидесятые годы", „шестидесятые годы", „семидесятые", „восьмидесятые" и т. д., считая по десяти лѣтъ въ каждомъ отдѣлѣ. Такое дѣленіе не есть дѣленіе чисто-механическое и оно имѣетъ свои основанія. Въ нашей общественной жизни эти отдѣльныя десятилѣтія, дѣйствительно, разнятся другъ отъ друга по оттѣнкамъ основныхъ общественныхъ взглядовъ, по господству или ослабленію того или иного общественнаго настроенія, по тенденціямъ, какихъ придерживалась правительственная власть, и по характеру отношенія интеллигентнаго общества къ программѣ правительства. Когда говоришь объ *отдѣльныхъ этапахъ, по которымъ шло русское общество въ своемъ развитіи* за вторую половину XIX вѣка, то такія слова, какъ „50-е", „60-е", „70-е" и „80-е" годы имѣютъ опредѣленный смыслъ и могутъ быть удобны при дѣленіи всей эпохи на болѣе или менѣе разграниченныя части. Но когда говоришь *объ исторіи изящной словесности*, такое дѣленіе на десятилѣтія мало что скажетъ. Пріемы художественной обработки литературнаго матеріала въ духѣ реализма за всю вторую половину вѣка не мѣнялись, если не считать самаго конца вѣка, т.-е. почти уже современнаго намъ времени, когда въ литературѣ опять сталъ замѣтенъ сильный уклонъ въ сторону „идеализма" въ творчествѣ,—того „идеализма", который прикрывался именами „декаденства", „символизма", „импрессіонизма", „модернизма" и другими. Но такая перемѣна совершилась уже на нашихъ глазахъ, а во весь періодъ со средины XIX вѣка до его конца, общій стиль и характеръ художественной работы писателя не мѣнялся. Писатель оставался „реалистомъ", продолжалъ накапливать матеріалъ, взятый непосредственно изъ жизни, старался говорить больше о другихъ, чѣмъ о себѣ, и только выдвигалъ иногда ту или иную общественную тему, когда она становилась, какъ

говорится, злободневной. Въ 50-тыхъ, 60-тыхъ, 70-тыхъ и 80-тыхъ годахъ наши крупнѣйшія литературныя силы—сформировавшіяся еще въ дореформенную эпоху—оставались неизмѣнными въ своихъ пріемахъ мастерства, и въ ихъ художественной работѣ никакихъ перемѣнъ или переломовъ не наблюдалось. Вотъ почему, сохраняя въ *исторіи нашей общественной жизни* такія рубрики, какъ 50-е, 60-е, 70-е и 80-е годы, мы можемъ не прибѣгать къ нимъ, когда говоримъ о *развитіи нашего художественнаго словеснаго творчества*. Надо найти какой-нибудь иной порядокъ въ группировкѣ художественныхъ памятниковъ.

Иногда при установленіи такого порядка придерживаются хронологической системы, т.-е. памятники размѣщаются по времени выхода ихъ въ свѣтъ. Но такая система можетъ внести большой безпорядокъ въ изложеніе и вызвать частыя повторенія. Надъ художественной обработкой нашей жизни писатель трудился безъ какой-либо установленной программы; онъ бралъ то, что въ данную минуту его интересовало, возвращался неоднократно къ одной и той же темѣ, иногда спустя много лѣтъ; наконецъ, когда одинъ писатель считалъ для себя какую-нибудь тему уже исчерпанной, другой—спустя нѣкоторый срокъ—вновь брался за эту тему и находилъ въ ней новыя стороны. Если исторію художественнаго творчества пріурочить ко времени появленія наиболѣе значительныхъ памятниковъ, то рискуешь дать безсвязныя характеристики отдѣльныхъ произведеній и портреты и силуэты самыхъ разнообразныхъ лицъ, которые въ полномъ безпорядкѣ будутъ толпиться и проходить передъ глазами читателя.

Не больше порядка будетъ и тогда, когда при распредѣленіи художественныхъ памятниковъ мы будемъ исходить изъ жизнеописанія самихъ художниковъ, какъ это иногда дѣлается. Исторія литературнаго движенія обращается тогда въ сборникъ біографій и характеристикъ отдѣльныхъ писателей и очерковъ творчества отдѣльныхъ лицъ. Если бы каждый писатель продолжалъ работу предшественника, и если бы каждый художникъ въ своемъ творчествѣ былъ строго послѣдователенъ въ выборѣ матеріала, то тогда исторія литературы могла бы совпасть съ исторіей творчества и жизни отдѣльныхъ писателей. Но вѣдь всѣ писатели дѣйствуютъ одновременно и при полной свободѣ и безсистемности творческаго труда. Прикрѣпить это творчество къ біографіямъ значитъ опять внести въ разсказъ большой безпорядокъ и повторенія.

Къ тому же образъ жизни нашихъ писателей-реалистовъ второй половины вѣка былъ въ сущности очень однообра-

зенъ и никакими особенно яркими эпизодами не блисталъ. Самые сильные изъ этихъ писателей были почти всѣ людьми дворянскаго круга, почти всѣ они вышли изъ семей обезпеченныхъ, прошли приблизительно одну и ту же школу средняго и высшаго образованія, занимали въ обществѣ болѣе или менѣе видное положеніе, какъ помѣщики, или на службѣ гражданской и военной. Большинство изъ нихъ на службѣ не уживалось, и они рано или поздно спѣшили завоевать себѣ ту свободу жизни, которая была нужна имъ для ровной и выдержанной художественной работы въ усадьбахъ, въ столицахъ, за границей, но всегда въ тиши кабинета.

Если, такимъ образомъ, при обозрѣніи всего литературнаго періода не придерживаться ни дѣленія на десятилѣтія, ни дѣленія по отдѣльнымъ произведеніямъ и авторамъ,—то остается лишь одинъ способъ расчленить это единое цѣльное литературное теченіе на части. Въ основу такого дѣленія надо положить не время, когда произведенія писались, не личность художника, который ихъ создавалъ, а самый матеріалъ, который былъ художественно обработанъ. При такомъ дѣленіи весь литературный матеріалъ, который нашими реалистами второй половины вѣка былъ использованъ, раздѣлится удобно на двѣ части—на матеріалъ, взятый писателемъ изъ наблюденій надъ жизнью того *сословія*, къ которому художникъ самъ принадлежалъ, или *сословій*, бытомъ которыхъ онъ заинтересовался, и на матеріалъ, который получился, какъ результатъ его наблюденій надъ жизнью того *внѣклассового, внѣсословнаго интеллигентнаго круга*, членомъ котораго онъ былъ не по рожденію, а по своему умственному развитію и своимъ общественнымъ идеаламъ. Дать картину русскаго общества въ разныхъ его слояхъ и классахъ съ одной стороны и набросать исторію развитія взглядовъ и настроеній русскаго интеллигента—съ другой,—вотъ въ сущности задача, которой художникъ-реалистъ посвятилъ всѣ свои силы.

Итакъ, въ бесѣдахъ о судьбахъ нашей изящной словесности мы будемъ придерживаться такой послѣдовательности въ изложеніи:

Сначала мы разсмотримъ, какія области нашей жизни, до того времени въ литературѣ мало обслѣдованныя или совсѣмъ неизвѣстныя, были освѣщены и разъяснены новымъ матеріаломъ, собраннымъ художниками-реалистами.

Мы увидимъ, какъ послѣдовательно обнаруживалась и отражалась въ литературѣ жизнь разныхъ слоевъ и классовъ русскаго общества,—жизнь:

1) Помѣщиковъ-дворянъ, живущихъ въ усадьбахъ.
2) Крестьянъ, находящихся въ крѣпостной зависимости.

3) Солдатъ, служившихъ при старыхъ дореформенныхъ порядкахъ.

4) Чиновниковъ, на большихъ и среднихъ постахъ и преимущественно чиновниковъ мелкихъ.

5) Купцовъ.

6) Духовенства.

7) Людей, неимѣющихъ никакой профессіи, нищихъ, темныхъ, влачащихъ жизнь изо дня въ день, голодныхъ и бездомныхъ, составляющихъ, какъ принято говорить, „поддонки" общества; а также людей преступныхъ.

Когда съ этимъ матеріаломъ вы освоитесь, вы легко можете оцѣнить и значеніе тѣхъ художественныхъ произведеній, въ которыхъ писатель-реалистъ былъ занятъ уже не столько собираніемъ самого матеріала, какой жизнь давала, сколько выясненіемъ тѣхъ различныхъ сужденій о русской жизни, какія были высказаны представителями образованнаго класса.

Смѣна общественныхъ взглядовъ и настроеній, какіе слѣдовали другъ за другомъ съ конца сороковыхъ годовъ до 90-тыхъ—нашла себѣ прямое отраженіе въ творчествѣ художника, и онъ отмѣтилъ въ своихъ произведеніяхъ всѣ основные моменты ихъ развитія.

Художникомъ-реалистомъ даны были:

1) Портреты русскаго интеллигента идеалиста 40-хъ годовъ въ то время, когда онъ былъ въ полномъ расцвѣтѣ своихъ духовныхъ силъ и сознавалъ, что онъ жизни нуженъ.

2) Портреты тѣхъ же интеллигентовъ 40-хъ годовъ, когда они стали замѣчать, что жизнь ихъ опережаетъ, и ихъ программа жизни отходитъ въ прошлое.

3) Типы людей съ новыми, но довольно узкими практическими идеалами жизни, людей, почувствовавшихъ, что настало время труда и дѣйствія, а не мечты и размышленія.

4) Типы тѣхъ же практиковъ, ищущихъ труда и дѣятельности, но не узкопрактической, а возможно широкой и гуманной по своимъ общественнымъ идеаламъ.

Всѣ эти характерные типы русскихъ образованныхъ людей, выступавшихъ во второй половинѣ XIX вѣка, были очерчены художниками-реалистами во многихъ разновидностяхъ—сообразно съ тѣмъ, держались ли эти люди болѣе умѣреннаго или крайняго образа мыслей, были ли они нервнаго или болѣе сдержаннаго темперамента, были ли они аристократами или демократами по рожденію или по духу.

Наконецъ, среди писателей-реалистовъ нашлись такіе—и притомъ самые сильные,—которые, оставаясь и бытописателями, и историками современнаго имъ интеллигентнаго обще-

ства,—выступали отъ своего лица съ опредѣленными очень широкими религіозными, философскими и общественными взглядами, въ которыхъ была высказана и оцѣнка современной имъ русской жизни, и цѣлый планъ ея переустройства и усовершенствованія. Это были—Достоевскій и Толстой.

VII.

Помѣщичья жизнь въ усадьбѣ.—„Война и миръ", „Дѣтство", „Отрочество" и „Юность" Л. Толстого. „Семейная хроника" и „Дѣтскіе годы Багрова внука". С. Аксакова. „Господа Головлевы". Щедрина-Салтыкова.

Наиболѣе обильный метеріалъ для наблюденія давала художникамъ-реалистамъ хорошо имъ знакомая, родная помѣщичья жизнь въ деревенской усадьбѣ, въ близкомъ сосѣдствѣ съ крѣпостнымъ крестьяниномъ. На ихъ глазахъ крѣпостное право пошатнулось и упало, и затѣмъ долгіе годы они были свидѣтелями того, какъ дворянство и крестьянство приспособлялись къ новымъ экономическимъ и юридическимъ условіямъ жизни. Какъ дѣти деревни, художники любили эту колыбель своего дѣтства. Изъ усадьбы переѣзжали они въ столицы, становились свѣтскими людьми, поступали на военную или гражданскую службу, жили иногда долго въ чужихъ краяхъ, но всегда они хранили благодарную память о деревнѣ.

Когда эти писатели—почти всѣ дворяне—стали придавать своимъ личнымъ воспоминаніямъ и наблюденіямъ литературную форму, все ихъ вниманіе было сосредоточено, конечно, на *старыхъ* порядкахъ дореформеннаго крѣпостного строя. Строй этотъ имѣлъ за собой нѣсколько столѣтій жизни, онъ вполнѣ сложился и опредѣлился во всѣхъ своихъ частностяхъ; и художнику было легко воспользоваться этимъ матеріаломъ для цѣльныхъ и ясныхъ художественныхъ картинъ.

Эпоха *смѣны крѣпостного строя на новый* поддавалась болѣе туго художественной обработкѣ, такъ какъ въ эту эпоху возникали новыя отношенія между людьми, слагались новые типы, и закрѣпить ихъ въ цѣльныхъ художественныхъ образахъ было труднѣе. Еще бо̀льшую трудность для литературной обработки представляла эпоха новая—эпоха медленнаго *разложенья помѣстнаго дворянскаго строя жизни* и его перехода въ другія формы общественныхъ отношеній.

Писатель-реалистъ слѣдилъ внимательно за всѣми перемѣнами, которыя происходили въ жизни дворянскаго сословія, старался отмѣчать ихъ, но всегда истинной художественности въ такихъ картинахъ болѣе близкаго къ намъ времени было меньше, чѣмъ публицистики или простого опи-

санія. Все-таки наибольшимъ художникомъ являлся писатель-реалистъ тогда, когда говорилъ о временахъ господствующаго или господствовавшаго крѣпостного строя.

Дворянское гнѣздо въ деревнѣ, нравы, какіе царили въ семьяхъ, отношенія между отцами и дѣтьми, жизнь дворни, сосѣдскія отношенія, отношенія къ крестьянамъ, обученіе и воспитаніе дворянскихъ дѣтей—всѣ эти подробности старой помѣщичьей жизни вы можете найти почти во всѣхъ разсказахъ и романахъ, написанныхъ художниками-реалистами второй половины XIX вѣка, и въ гораздо большемъ количествѣ, чѣмъ у писателей первой половины вѣка, когда на ликвидацію крѣпостного строя не было и намека.

Иногда писатель задавался очень опредѣленной цѣлью—написать семейную хронику, и тогда всѣ мелочи старой жизни слагались въ одну большую историческую картину. Такія „семейныя хроники“ имѣютъ особую цѣну для тѣхъ, кто желалъ бы по живымъ образамъ и воспоминаніямъ возстановить старину въ ея прошлой правдѣ. „Хроникъ“ этихъ въ изящной нашей словесности немного, но зато всѣ онѣ по художественному выполненію образцы истиннаго искусства. Къ числу такихъ историческихъ семейныхъ картинъ можно отнести и „Войну и миръ“ Л. Толстого. Въ этомъ романѣ не мало бытового матеріала, относящагося къ жизни помѣщика въ деревнѣ, хотя основная канва разсказа—жизнь свѣтская и военная. Общій тонъ этой семейной хроники мягкій и свѣтлый; это не идеализація старой дворянской жизни, но далеко и не вся правда о ней. Но, такъ какъ авторъ не ставилъ себѣ цѣлью дать общую картину жизни помѣщика въ усадьбѣ, то отсутствіе въ этомъ разсказѣ тѣневой и мрачной стороны крѣпостного строя понятно: художникъ говорилъ объ одной или нѣсколькихъ семьяхъ, жизнь которыхъ зналъ хорошо, и которыя были ему нужны для посторонней цѣли и для картины гораздо болѣе значительной, чѣмъ жизнь дворянскаго уголка.

Подъ понятіе семейной хроники подходятъ и тѣ три повѣсти, съ которыхъ Толстой началъ свою литературную дѣятельность. „Дѣтство,“ „Отрочество“ и „Юность“—это въ сущности исторія одной дворянской семьи въ ея младшихъ представителяхъ. Разсказы эти имѣютъ огромное значеніе для біографіи самого писателя, въ особенности „Юность“, гдѣ уже намѣчаются тѣ философскія и нравственныя мысли, которыя потомъ, въ зрѣломъ возрастѣ и въ старости, заставили художника повернуть такъ рѣшительно на дорогу религіозной проповѣди и нравственно-общественнаго поученія. Въ этихъ повѣстяхъ передъ вами опять картина, общій фонъ

которой и мягокъ и свѣтелъ. Молодое поколѣніе подрастало не только въ хорошихъ и мирныхъ семейныхъ условіяхъ, но оно вокругъ себя не видало ужасовъ и кричащихъ несправедливостей, и можно только удивляться, какъ молодой человѣкъ, воспитавшійся въ такихъ условіяхъ, могъ впослѣдствіи съ такой исключительной чуткостью относиться ко всему несправедливому въ жизни. Казалось бы, что выросшій въ такихъ условіяхъ, какъ они описаны въ разсказахъ Толстого о своемъ дѣтствѣ, онъ долженъ былъ съ достаточнымъ благодушіемъ смотрѣть на окружающее, такъ какъ не имѣлъ основанія за себя и за своихъ родителей мучиться угрызеніями совѣсти..

И большинство нашихъ художниковъ-реалистовъ, осуждая въ принципѣ тотъ строй дворянской жизни, среди котораго они выростали,—при обрисовкѣ людей, которые преимуществами этого строя пользовались, почти всегда старались изобразить ихъ людьми, по возможности, справедливыми, а то и благожелательными. Если взять въ цѣломъ всѣ памятники нашей изящной словесности, въ которыхъ изображена помѣщичья жизнь, то картинъ жестокостей и ужасовъ, а также портретовъ людей злостныхъ и свирѣпыхъ окажется меньше, чѣмъ картинъ мирныхъ и типовъ людей, болѣе или менѣе миролюбивыхъ. На такое неравномѣрное распредѣленіе красокъ могла до извѣстной степени оказывать вліяніе цензура, но не она одна удерживала художника отъ пристрастія къ мрачнымъ краскамъ. Крѣпостной строй былъ осужденъ писателями въ его цѣломъ и безъ всякихъ оговорокъ—осужденъ негласно въ дореформенную эпоху, когда объ этомъ строѣ свободно высказываться не разрѣшалось, и осужденъ гласно, когда отмѣна его стала на очередь. Никто изъ художниковъ-реалистовъ не думалъ защищать крѣпостного строя, какъ такового; нравственная и юридическая аномалія, на которую этотъ строй опирался, была ясна всѣмъ писателямъ, и если эти художники, въ своихъ разсказахъ и романахъ, при обрисовкѣ помѣщичьихъ типовъ, мужскихъ и женскихъ, не были щедры на мрачныя краски и предпочитали краски мягкія [идеализаціи помѣщика старыхъ временъ мы въ художественной нашей словесности не встрѣтимъ], то такое обращеніе съ матеріаломъ имѣло свои причины. Писатели, сами дворяне, не могли, не нарушая правды, сказать про свое сословіе, что оно отреклось навсегда и всюду отъ принциповъ гуманности и разума въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ, судьба которыхъ была ему довѣрена, и обнаружило лишь одни звѣрскіе и торгашескіе инстинкты. Такое утвержденіе шло бы въ разрѣзъ съ правдой, потому что не мало было дво-

рянъ, очень гуманныхъ и просвѣщенныхъ, которые дѣйствительно заботились о своихъ крестьянахъ и не только съ цѣлью наживы; не мало было и такихъ, которые добровольно отпускали крестьянъ на волю; были и такіе [конечно, исключенія], которые дарили крестьянамъ свои зе́мли; наконецъ, все идейное движеніе, подготовлявшее освобожденіе крестьянъ, было создано тѣми же дворянами-помѣщиками, убѣжденными въ „неправотѣ“ своей жизни. Всего этого писатель-реалистъ изъ дворянъ не могъ забыть. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, подробно говорить объ этихъ заслугахъ дворянъ передъ нашей жизнью онъ также не могъ, потому, во-первыхъ, что онъ осуждалъ, и самымъ искреннимъ образомъ, крѣпостной строй, какъ данный укладъ жизни, и, кромѣ того, потому что опасался—и имѣлъ всѣ основанія бояться—что всякое его слово въ защиту дворянина-помѣщика, всякій симпатично обрисованный дворянскій типъ можетъ быть противъ его воли истолкованъ, какъ свидѣтельское показаніе въ пользу крѣпостного строя. Положеніе писателя, какъ видите, было трудное и неловкое, и онъ могъ обойти эту неловкость только двумя путями: либо, оставляя помѣщика въ сторонѣ, говорить только о крестьянахъ и рисовать невзрачную картину ихъ жизни, или набрасывать типы такихъ помѣщиковъ, въ которыхъ добро и зло, какъ во всѣхъ людяхъ средняго калибра, было смѣшано болѣе или менѣе въ равныхъ дозахъ. И, дѣйствительно, художникъ рисовалъ по преимуществу портреты лицъ, которые при хорошихъ задаткахъ ума и сердца, плохо различая, что̀ добро, что̀ зло, обнаруживали и добрыя стороны души и очень скверныя, были по невѣдѣнію злы и жестоки, и въ общемъ оказывались сами жертвой того историческаго уклада жизни, при которомъ жили. Сдѣлавъ всѣ эти оговорки, художникъ разрѣшалъ себѣ изрѣдка вспомнить и объ очень жестокихъ и дурныхъ людяхъ.

Когда крѣпостное право было отмѣнено, писатель, конечно, пріобрѣлъ бо̀льшую свободу въ своемъ судѣ надъ старыми временами, но отъ ощущенія неловкости своего положенія все-таки не могъ освободиться. Изображеніе свѣтлой стороны минувшихъ дней могло казаться сожалѣніемъ о старинѣ, изображеніе же старины исключительно мрачной являлось неполной правдой. Но съ годами картины мрачныя въ литературѣ учащались и число „кающихся дворянъ“ [терминъ, пущенный въ обиходъ извѣстнымъ критикомъ Н. К. Михайловскимъ]—людей, которымъ все яснѣе и яснѣе рисовались ихъ вольные и невольные грѣхи передъ народомъ—увеличивалось.

Чѣмъ съ бо̀льшимъ количествомъ описаній старой помѣщичьей жизни вы ознакомитесь, тѣмъ большее количество

людей, несходныхъ между собою по уму и по чувствамъ, вы обнаружите въ нашей прошлой жизни. Она не выработала какого-нибудь опредѣленнаго, однообразнаго типа, а допускала великое разнообразіе въ характерахъ, темпераментахъ и міросозерцаніяхъ. И изъ всего, что вы прочтете, вы сможете сдѣлать только одинъ выводъ, и этотъ выводъ будетъ совпадать вполнѣ съ исторической правдой: крѣпостной строй, какъ носящій самъ въ себѣ величайшую нравственную несправедливость, способствовалъ разнузданію всѣхъ страстей и всѣхъ недобрыхъ инстинктовъ въ человѣкѣ и крайне затруднялъ въ людяхъ развитіе гуманныхъ чувствъ и гуманнаго образа мыслей. Жизнь такъ слагалась, что человѣкъ легко могъ стать безнаказанно и злымъ и жестокимъ, и даже извергомъ, и нужна была особая нравственная сила, чтобы уберечься отъ всѣхъ искушеній своеволія и нетрудовой обезпеченности. Было много людей, которые поддавались соблазнамъ, но было много и такихъ, которые уберегли себя отъ искушеній и, наконецъ, не мало было такихъ, которые совершили истинный гражданскій подвигъ, отдавъ силу своего таланта и ума на борьбу со строемъ жизни, предоставлявшимъ имъ столько удобствъ и выгодъ.

Обыкновенно, когда хотятъ указать на художественный памятникъ, въ которомъ старая помѣщичья жизнь изображена съ сохраненіемъ вѣрнаго соотношенія красокъ темныхъ и свѣтлыхъ, указываютъ на „Семейную хронику“ Сергѣя Тимоѳеевича Аксакова и на продолженіе ея „Дѣтскіе годы Багрова внука“.

Въ исторіи нашей изящной словесности эти памятники занимаютъ, дѣйствительно, очень почетное мѣсто. С. Т. Аксаковъ образцовый стилистъ и несомнѣнный художникъ. Много лѣтъ провелъ онъ въ мирной обстановкѣ усадьбы и провинціальнаго города, чередуя свою жизнь между столицами и деревней, затѣмъ жилъ въ Москвѣ, отдавая свое время заботамъ о воспитаніи семьи [знаменитой впослѣдствіи семьи „славянофиловъ“], литературнымъ занятіямъ, интересамъ театра, службѣ въ цензурѣ и бесѣдамъ съ друзьями, которые съ помощью его и его сыновей обратили гостиную ихъ дома въ мѣсто встрѣчи самыхъ образованныхъ людей города Москвы. Незадолго до смерти [1856 г.] старикъ взялся за перо, чтобы вспомнить о былыхъ годахъ, и, самъ того не подозрѣвая, обогатилъ русскую словесность истинно-художественной исторической хроникой, повѣствующей о жизни русскаго дворянства со временъ Екатерины II. Эта „Семейная хроника“, несомнѣнно, историческій матеріалъ первоклассной цѣны. Написана она человѣкомъ, который любилъ старину, въ убѣжде-

ніяхъ былъ консерваторомъ и не ставилъ себѣ задачей говорить непремѣнно о грѣхахъ старой жизни. Онъ, какъ лѣтописецъ, записывалъ просто, безхитростно то, чему онъ былъ свидѣтелемъ, и нѣтъ никакого основанія думать, какъ думали нѣкоторые читатели, что художникъ хотѣлъ обѣлить старину. Какъ человѣкъ стараго поколѣнія, онъ ее любилъ—это вѣрно. Вѣрно также и то, что онъ дорожилъ ея традиціями и вѣрилъ, что и при тогдашнихъ условіяхъ жизни гуманное и просвѣщенное отношеніе къ ближнему было возможно, но онъ не прикрывалъ ея суровой стороны. Вы найдете въ этой книгѣ картину патріархальной жизни помѣщика, его дворни и крѣпостныхъ. Отношенія помѣщика къ крестьянамъ обрисованы въ мягкихъ краскахъ; но достаточно прочитать тѣ страницы хроники, на которыхъ разсказана жизнь помѣщика Куролесова и перечислены его жестокости, чтобы убѣдиться, какъ легко патріархальное благодушіе могло удариться въ жестокій произволъ. Да и центральный типъ этой хроники, самъ „дѣдушка"—при всемъ его здравомъ смыслѣ и незлобивой душѣ—какъ близокъ онъ иногда къ самодурству и грубости, и какъ часто сознанье его безграничной власти надъ всѣми готово перейти въ самолюбованіе человѣка, передъ которымъ всѣ дрожатъ и трепещутъ.

Съ „Хроники" Аксакова надо начинать изученіе дворянской жизни стараго типа, не забывая однако, что это старина очень далекая,—старина первыхъ десятилѣтій XIX вѣка. Многое съ тѣхъ поръ измѣнилось ко времени, когда „Хроника" была написана, и прежде всего повысился уровень умственнаго развитія и образованія. Въ „Семейной хроникѣ" образованность всѣхъ членовъ старой семьи стоитъ еще на очень низкомъ уровнѣ, а вѣдь только своей образованностью и могли впослѣдствіи гордиться старыя дворянскія семьи, жившія даже въ глухой провинціи и въ нравственномъ отношеніи иногда во многомъ грѣшныя. Въ „Семейной хроникѣ" вы найдете указанія еще на одну сторону старой помѣщичьей жизни, именно на крѣпость семейныхъ началъ. Хоть эти начала и построены на полной покорности авторитету старшихъ, но въ нихъ есть нѣчто патріархальное, нравственно сильное, чѣмъ только и можетъ держаться семья. Положимъ, семья Аксаковыхъ во всѣхъ ея поколѣніяхъ была всегда образцомъ идеальныхъ отношеній между старшими и младшими, но „Семейная хроника" говоритъ въ данномъ случаѣ не объ единичномъ, исключительномъ случаѣ. Крѣпостью семейнаго строя могли гордиться многія старыя семьи. Что такой патріархальный порядокъ въ семьѣ, кажущійся почти сказочнымъ—служилъ нерѣдко тормозомъ для развитія свобод-

ныхъ умственныхъ и нравственныхъ силъ подрастающаго поколѣнія, это вѣрно. Но зато распадъ семьи, въ которой не было никакого нравственнаго принужденія, представлялъ собою нѣчто страшное.

Мы имѣемъ два романа, рисующіе намъ такое разложеніе дворянскихъ семей стараго времени. Оба романа принадлежатъ къ числу самыхъ совершенныхъ художественныхъ произведеній нашей словесности, и цѣнны они не только ихъ глубокой психологической правдой, но и ихъ исторической правдивостью. Они служатъ какъ бы дополненіемъ къ „Семейной Хроникѣ" Аксакова. Насколько „хроника", не нарушая правды, стремится оттѣнить здоровую сторону стараго быта, говорящую объ его жизнеспособности, настолько эти романы говорятъ о близости конца отживающаго порядка. Оба памятника принадлежатъ перу Михаила Евграфовича Щедрина-Салтыкова.

„Господа Головлевы"—тоже „семейная хроника",—исторія нравственной и физической кончины цѣлой дворянской семьи. По своей художественной и идейной цѣнности этотъ романъ—вкладъ не только въ русскую, но и въ міровую литературу. Типъ Іудушки—этого эгоиста, любостяжателя и софиста—типъ общечеловеческій, и въ международной галлереѣ портретовъ разныхъ нравственныхъ калѣкъ и, вмѣстѣ съ тѣхъ страдальцевъ—одинъ изъ самыхъ выразительныхъ. Приводить развитіе этого типа въ прямую связь съ крѣпостнымъ строемъ нельзя: такой типъ могъ народиться и при другихъ условіяхъ. но вы, когда будете читать романъ Щедрина, можете отдѣлить въ немъ разсказъ о самомъ Іудушкѣ отъ сплетенныхъ съ нимъ другихъ описаній и сценъ изъ помѣщичьей жизни, и тогда всѣ мелочи этой жизни, независимо отъ судьбы главнаго героя, сложатся въ одну удручающую картину разложенія дворянской семьи. Отсутствіе нравственныхъ устоевъ въ семьѣ, узость кругозора умственнаго, алчность, развившаяся на почвѣ бездѣлья, полная безъидейность существованія—все будетъ говорить вамъ о послѣднихъ дняхъ, какіе доживаютъ эти привилегированные и жизнью избалованные люди. Но только не примите эту печальную картину за художественное обобщеніе всей дворянской жизни или большинства ея обнаруженій.

VIII.

Помѣщичья жизнь въ усадьбѣ.—„Пошехонская старина" Щедрина.

Такая же картина распада старой дворянской семьи дана и въ знаменитомъ романѣ Салтыкова „Пошехонская старина".

Салтыковъ-Щедринъ нашъ самый сильный сатирикъ—и единственный сатирикъ по призванію. Сатира была съ начала XIX вѣка очень распространенной литературной формой, но истинныхъ художниковъ среди нашихъ сатириковъ не было, если не считать Грибоѣдова, комедія котораго была несомнѣнно больше сатирой въ лицахъ, чѣмъ комедіей нравовъ. Пушкинъ и Лермонтовъ позволяли себѣ иногда сатирическія выходки въ стихахъ и прозѣ, но сатириками въ тѣсномъ смыслѣ слова также не были. Гоголя часто именуютъ сатирикомъ, но въ его творчествѣ сатира лишь одна грань, хоть и очень отшлифованная. Въ Гоголѣ бездна лирики и пафоса, которые заставляли его самого пугаться своего смѣха, бояться его, предполагая въ немъ какой-то вредъ для читателя. Ударъ своего смѣха Гоголь часто смѣнялъ мирнымъ или сентиментальнымъ увѣщаніемъ. Да и кромѣ того, его смѣхъ былъ либо слишкомъ общаго характера, либо часто сбивался на беззаботный смѣхъ, вольный и случайный. Настоящей гнѣвной сатиры, бьющей по самымъ больнымъ мѣстамъ общественной жизни, Гоголь избѣгалъ частью потому, что въ немъ самомъ это общественное чувство было недостаточно сильно, а также и потому, что не хотѣлъ дразнить тѣхъ, съ кѣмъ предпочиталъ жить въ мирѣ. Въ произведеніяхъ Тургенева, Достоевскаго, Писемскаго и Островскаго, и очень рѣдко въ произведеніяхъ Толстого, попадаются страницы, выдержанныя въ стилѣ сатиры, но и эти страницы отнюдь не характерны для ихъ творчества. Всѣ эти писатели лишь при случаѣ становились сатириками.

Щедринъ родился таковымъ, и сатира была его призваніемъ. Его смѣхъ прежде всего очень смѣлый смѣхъ, не щадящій могучаго врага, а, наоборотъ, ищущій встрѣчи съ врагомъ грознымъ и сильнымъ. Этотъ смѣхъ въ своемъ самомъ художественномъ проявленіи направленъ всегда на самые серьезные и больные вопросы нашей общественной жизни. А потому это смѣхъ, полный острой боли и негодованія. Гоголь—тотъ любилъ „смѣхъ сквозь слезы“, у Щедрина слезъ мало—онѣ очень рѣдки—зато въ немъ много иронiи, безпощадной иронiи и злого сарказма, такъ много, что часто и смѣяться не приходится, сталкиваясь съ несомнѣнно комическимъ положеніемъ. Это смѣхъ, полный яда, иногда настолько ядовитый, что читателю кажется, что онъ имѣетъ дѣло съ крайне озлобленнымъ пессимистомъ, писателемъ почти безъ идеаловъ. Но у Щедрина были очень высокіе и гуманные идеалы; и онъ защищалъ эти идеалы тѣмъ, что высмѣивалъ ихъ враговъ и оскорбителей. Такимъ образомъ всѣ главныя сочиненія Салтыкова были картинами болѣзненныхъ явленій

нашей жизни, а о свѣтлой сторонѣ этой жизни онъ предоставлялъ говорить другимъ. Такого пристрастія къ ѣдкой сатирѣ, безъ желанія чемъ-нибудь утѣшить читателя, не обнаруживалъ ни одинъ изъ нашихъ писателей. Какъ сатирикъ, соперниковъ Щедринъ не имѣлъ, да и до нашего времени не дождался наслѣдниковъ.

Сочиненія Щедрина представляютъ собою богатѣйшее собраніе документовъ по исторіи нашей общественной жизни второй половины XIX вѣка—это именно историческіе документы, всѣ основанные на фактахъ, но съ оттѣненіемъ въ этихъ фактахъ почти исключительно ихъ печальной, смѣшной и нелѣпой стороны. По сатирѣ Щедрина нельзя получить полнаго понятія о томъ, какова была эта жизнь въ ея цѣломъ; но то, что въ этой жизни заслуживало порицанія и осмѣянія—изображено сатирикомъ безъ преувеличенія, безъ карикатуры, съ невѣроятно ѣдкой иронією. Вотъ почему изученіе многихъ сочиненій Щедрина безъ предварительнаго знакомства съ исторіей русской общественной жизни представляетъ для школы много трудностей, да въ сущности оно и преждевременно. Вы, мало знакомые съ жизнью недавняго прошлаго, читая эти сочиненія въ раннемъ возрастѣ вашего развитія, рискуете не понять и не оцѣнить всей ихъ соли: многое будетъ вамъ казаться и скучнымъ и темнымъ, что для человѣка, знакомаго съ судьбами нашей прошлой жизни, полно интереса и ясной мысли. Наконецъ, откликаясь на смѣшное, вы это смѣшное рискуете понять не такъ, какъ слѣдуетъ, потому что то серьезное, то глубокое, то несомнѣнно печальное, чѣмъ этотъ смѣхъ вызванъ, ускользнетъ отъ васъ, и вмѣстѣ съ этимъ и образъ писателя останется въ вашей памяти совсѣмъ не тѣмъ, какимъ онъ долженъ остаться. Зато потомъ, когда вы сами станете участниками гражданской жизни, когда житейскій опытъ вашъ обогатится, когда прошлое нашей родины обрисуется передъ вами въ болѣе точныхъ и ясныхъ очертаніяхъ, вы, беря въ руки эти старыя книги, вынесете изъ нихъ много мыслей и много историческихъ обобщеній: вы поразитесь умѣнью писателя читать въ сердцахъ и разгадывать тайныя мысли человѣка и тогда вы посмѣетесь настоящимъ сознательнымъ смѣхомъ.

Но есть среди сочиненій Щедрина и такія, которыя могутъ понадобиться вамъ и при школьномъ обзорѣ русской литературы второй половины XIX вѣка. Много очень характерныхъ чертъ нашей провинціальной жизни стараго строя сохранено въ „Губернскихъ Очеркахъ", съ которыхъ началась литературная дѣятельность писателя, и которые имѣли оглушительный успѣхъ при своемъ появленіи. Это были прав-

дивыя картины нравовъ провинціи, гдѣ самому Щедрину пришлось провести нѣсколько лѣтъ, картины, списанныя съ натуры, хоть и съ сатирической тенденціей, но съ болѣе или менѣе равномѣрнымъ распредѣленіемъ красокъ и съ необычайно богатой галлереей типовъ и портретовъ, взятыхъ изъ всѣхъ слоевъ общества—чиновнаго, купеческаго, мѣщанскаго, дворянскаго и духовнаго со включеніемъ сценъ изъ жизни старообрядцевъ. Для нашей цѣли, для обзора тѣхъ выводовъ, къ которымъ пришелъ художникъ-реалистъ въ своихъ наблюденіяхъ надъ бытомъ дворянъ-помѣщиковъ, наиболѣе обильный матеріалъ даетъ „Пошехонская старина"—эта эпическая картина помѣщичьей жизни стараго, но не очень отдаленнаго отъ насъ времени, картина наиболѣе широкая и детальная, какой располагаетъ наша изящная словесность.

„Пошехонская старина", несомнѣнно,—личныя воспоминанія автора, но лица, здѣсь выведенныя, вовсе не портреты его ближайшихъ родственниковъ. Бытъ срисованъ съ натуры, но типы не списаны съ оригиналовъ, а лишь созданы на основаніи наблюденій надъ живыми людьми. „Пошехонская старина" не сатира, а эпическій разсказъ о быломъ. Авторъ закончилъ ее почти наканунѣ смерти и, прощаясь съ читателемъ, измѣнилъ излюбленной формѣ творчества. Онъ не собирался обличать, не стремился возбудить въ насъ негодованіе или смѣхъ, онъ скорѣе хотѣлъ пробудить въ насъ жалость и состраданіе. И, дѣйствительно, читая эту эпопею помѣщичьей жизни стараго времени, нельзя воздержаться отъ двухъ чувствъ, отъ чувства глубокой жалости къ тѣмъ, которые страдали отъ этихъ безсмысленныхъ и жестокихъ порядковъ, и къ тѣмъ, кто заставлялъ ближнихъ такъ страдать, въ большинствѣ случаевъ даже не понимая того, что онъ совершаетъ жестокость. Въ этомъ широкомъ взглядѣ на старый строй заключена оригинальность замысла писателя. У него не было никакой заранѣе предвзятой мысли, когда онъ, чувствуя приближеніе смерти, сталъ вспоминать старину. Ему хотѣлось говорить лишь объ одной житейской правдѣ—и если эта правда вышла такой мрачной, то сатирикъ былъ здѣсь ни при чемъ; онъ на этотъ разъ даже не былъ сатирикомъ, а просто бытописателемъ.

Передъ нами развертывается очень широкая картина. Вся внутренняя и внѣшняя жизнь помѣщичьей усадьбы описана съ необычайной точностью и правдивостью. Семья, съ почти полнымъ отсутствіемъ какихъ бы то ни было умственныхъ и духовныхъ интересовъ, вся построенная лишь на одномъ принципѣ—жить изо дня въ день, умножая свое благосостояніе на счетъ крестьянскаго труда—умножая его въ сущности

безъ всякой цѣли, а такъ, въ силу чистаго животнаго инстинкта; отсутствіе въ этой семьѣ какихъ-либо семейныхъ началъ при полномъ индифферентизмѣ родителей къ психическому міру дѣтей и при отсутствіи всякой духовной связи между дѣтьми;—описаніе дворни, обезличенной и загнанной, доведенной до степени безгласной трудовой машины, работающей на помѣщика, къ которому нѣтъ въ душѣ иныхъ чувствъ, кромѣ страха и подобострастья; рядъ болѣе мелкихъ картинъ той же помѣщичьей жизни, но только меньшаго размаха, а въ умственномъ и нравственномъ своемъ развитіи не болѣе высокой,—жизни въ полномъ смыслѣ сѣрой; рядъ типовъ людей, для которыхъ жизнь есть лишь предлогъ для произвола и наслажденія, достигнутаго какими угодно средствами, или предлогъ для мученія ближнихъ, чтобы въ чемъ-либо проявить свою „дѣятельность"—вотъ чѣмъ писатель помянулъ старину. И все-таки, несмотря на ужасъ многихъ сценъ, имъ нарисованныхъ, несмотря на большое, почти исключительное преобладаніе мрачныхъ красокъ надъ свѣтлыми—чувствуется, что писалъ эту лѣтопись не сатирикъ, а историкъ. Вѣдь въ сущности всѣ люди, имъ выведенные, за исключеніемъ двухъ-трехъ, хоть и жестокіе люди или вполнѣ индифферентные къ добру, но они не изверги и не негодяи по природѣ. Такъ какъ Салтыковъ былъ въ данномъ случаѣ именно историкъ, то онъ и счелъ своимъ долгомъ указать на историческія условія, которыя могли создать такихъ людей, для которыхъ разница между добромъ и зломъ какъ бы стиралась и до сознанія ихъ не доходила. Всѣ дѣйствующія лица этой скорбной эпопеи не вѣдаютъ, что творятъ, иногда даже дѣлая вопіющее зло, убѣждены, что творятъ добро и защищаютъ какой-то разумный принципъ. Условія старой помѣщичьей жизни, протекающей вдали отъ всякихъ культурныхъ центровъ, жизни почти что животной, привыкшей опираться на даровой трудъ рабовъ—темныхъ и безгласныхъ—вотъ та первопричина, въ которой заключенъ корень зла, такъ безпощадно оголеннаго писателемъ. Зло, какъ продуктъ столѣтняго воспитанія, и безпомощность человѣка противостоять ему—такова основная мысль этого обвинительнаго акта противъ недавней старины. Если бы Салтыковъ въ своемъ разсказѣ выводилъ людей исключительно злыхъ по природѣ, жестокихъ безобразниковъ, составлявшихъ хоть и типичное, быть-можетъ, но исключеніе,—то эта картина не будила бы въ насъ такой скорбной мысли, какую она вызываетъ. Исключенія вездѣ возможны. Но дѣло въ томъ, что та правда, о которой писалъ Салтыковъ, была правдой обычной, типичной, будничной для многихъ дворянскихъ семей

средней руки, разсѣянныхъ по всей нашей провинціи. И если такія семьи, не отмѣченныя особой порочностью, допускали то безобразіе, которое творилось внутри нихъ и вокругъ ихъ, то художественное обобщеніе такой царящей правды должно было навести читателя на глубоко печальное раздумье.

Но не все въ „Пошехонской старинѣ“ безнадежно мрачно. Вѣдь вышелъ же изъ этой или сродной съ нею среды самъ авторъ разсказа и многіе писатели-реалисты изъ дворянъ, которые своими твореніями такъ способствовали росту въ нашемъ обществѣ любви и уваженія къ простому народу. Въ „Пошехонской старинѣ“ этотъ ростъ гуманнаго сознанія въ мальчикѣ, а затѣмъ и въ зрѣломъ человѣкѣ, отмѣченъ очень искренно и ясно.

IX.

Писатель и крестьянскій вопросъ.

Къ условіямъ жизни многомилліонной народной массы художникъ сталъ присматриваться съ первыхъ же дней, какъ сознался себя писателемъ и взялъ перо въ руки. Въ XVIII вѣкѣ, когда писатель былъ, по преимуществу подражатель и любилъ говорить все больше о себѣ самомъ и о томъ ближайшемъ, что его окружало, онъ и тогда говорилъ о „народѣ“ и старался по мѣрѣ силъ ознакомить читателя съ простолюдиномъ. Къ этому обязывало общегуманное направленіе старой литературы—повѣствовательной, дидактической и сатирической. Писатель любилъ служеніе искусству отожествлять со служеніемъ добру, часто взывалъ къ разнымъ добрымъ чувствамъ читателя, къ симпатіи, къ любви, къ состраданію... а лучшаго предмета для состраданія и любви, какъ судьба людей обездоленныхъ, бѣдныхъ и темныхъ, конечно, не было. Простолюдинъ и его трудовая жизнь давали всегда хорошій предлогъ для проявленія всякаго великодушія и въ сердцѣ стараго писателя, и въ сердцѣ его героевъ. Но то, что писатель стараго времени говорилъ о народной жизни, конечно, съ правдой этой жизни не совпадало и не давало о ней никакого понятія. Въ угоду сентиментальнымъ идеаламъ правда искажалась, и народная русская жизнь въ представленіи писателя была лишь разновидностью той „естественной“ жизни на лонѣ природѣ, той жизни простыхъ добрыхъ людей, о которыхъ онъ, начиная со средины XVIII вѣка, такъ часто мечталъ, когда бывалъ недоволенъ людьми образованными и образованностью испорченными. Конечно, такія сентиментальныя картины изъ жизни русскаго простонародья, картины, сочиненныя по контрасту съ жизнью образованныхъ

классовъ, не могли дать никакого понятія о томъ, чѣмъ въ дѣйствительности была жизнь русскаго народа. Да и позднѣе, когда сентиментальные вкусы писателей отошли въ прошлое, въ годы такъ называемаго „романтизма"—въ принципѣ своемъ враждебнаго дѣйствительности—народная жизнь въ литературѣ либо не была представлена вовсе, либо была искажена въ угоду опять-таки опредѣленнымъ литературнымъ вкусамъ. Но и помимо такого искаженія, какое допускалъ художникъ изъ любви къ извѣстному дорогому ему идеалу жизни, была еще одна причина, которая не позволяла ему отвести народной жизни то мѣсто въ литературѣ, которое ей подобало. Вопросъ о положеніи крестьянъ, т.-е. вопросъ о крѣпостномъ состояніи сталъ еще въ XVIII вѣкѣ вопросомъ политическимъ, и съ годами острота этого вопроса возрастала. Вплоть до освобожденія крестьянъ въ 1861 году это былъ самый больной вопросъ нашей общественной жизни, и правительство очень ревниво оставляло за собой право не только рѣшать его, но и ставить. Цензура въ царствованіе Александра Павловича и Николая Павловича употребляла всѣ усилія къ тому, чтобы въ печать не проникали разсужденія частныхъ людей на эту опасную тему, и писатель въ данномъ случаѣ былъ очень стѣсненъ въ выборѣ своего матеріала,—онъ, въ которомъ и такъ былъ еще очень слабъ интересъ къ такой „прозѣ", какъ детали народной жизни. Вотъ почему въ литературѣ дореформеннаго времени народъ съ его жизнью внѣшней, его образомъ мыслей и строемъ чувствъ былъ такъ слабо представленъ. У самыхъ крупныхъ изъ нашихъ писателей тѣхъ годовъ мы найдемъ лишь намеки на народную жизнь и рѣдко, рѣдко этюды и силуэты. Даже у Гоголя нѣтъ правды о народной жизни: онъ рисуетъ либо идилліи въ романтическомъ стилѣ, либо набрасываетъ комическія сценки, въ которыхъ простолюдинъ играетъ лишь эпизодическую роль.

Къ концу 40-хъ годовъ изящная словесность начинаетъ чаще и подробнѣе говорить о крестьянахъ. Центръ вниманія художника переносится съ него самого, съ его внутренняго міра, на окружающую его жизнь, и онъ приступаетъ къ обработкѣ новаго еще совсѣмъ необслѣдованнаго матеріала. Со смѣной царствованія и съ наступленіемъ эпохи реформъ разговоръ о народной жизни становится потребностью. Онъ нуженъ для самой общественной жизни, которая стремится поскорѣй залѣчить старыя раны. Несмотря на суровую—какъ и прежде—цензуру, крестьянскій вопросъ въ формѣ беллетристическихъ произведеній прокладываетъ себѣ мало-по-малу дорогу въ печати, и съ середины 60-хъ годовъ до

80-хъ разсказы изъ народной жизни становятся чуть ли не господствующими мотивами въ литературѣ. Въ большинствѣ случаевъ эти разсказы, иногда цѣлые романы, не поднимаются на высокую ступень художественнаго выполненія: почти всегда сырой матеріалъ давитъ литературную форму, но цѣнность этого сырого матеріала остается все-таки весьма значительной. Народная жизнь въ ея прошломъ, жизнь крѣпостная, народная жизнь въ эпоху перелома, въ годы перехода отъ крѣпостного состоянія къ свободѣ, наконецъ та же жизнь уже на свободѣ, при новыхъ условіяхъ, проходитъ передъ нами въ бытовыхъ картинахъ и психологическихъ этюдахъ. Такихъ картинъ и этюдовъ очень много: художникъ все болѣе и болѣе убѣждается въ томъ, что вниманіе, которое онъ удѣляетъ народной жизни, есть его гражданскій долгъ, и читатель со своей стороны обнаруживаетъ все большій и большій интересъ къ жизни того общественнаго класса, о которомъ онъ не такъ давно, при выборѣ своего чтенія, думалъ всего меньше

Если вы хотите составить себѣ приблизительное понятіе о народной жизни, какой она была при крѣпостномъ строѣ и какой она стала послѣ освобожденія во времена къ намъ совсѣмъ близкія,—вамъ придется обратиться къ этой весьма большой по количеству литературѣ о мужикѣ, и она окажетъ вамъ большую помощь, такъ какъ въ нашей публицистикѣ и наукѣ, къ сожалѣнію, до сихъ поръ нѣтъ такихъ сочиненій, въ которыхъ дана была бы болѣе или менѣе полная картина крестьянскаго быта и міросозерцанія за истекшее столѣтіе. Есть много ученыхъ и публицистическихъ работъ, въ которыхъ освѣщены отдѣльные вопросы крестьянской жизни, преимущественно экономическіе и юридическіе, много изслѣдованій по народной старинѣ, по народному творчеству и этнографіи различныхъ областей нашей обширной родины, но обобщающихъ и цѣльныхъ картинъ народной жизни въ разныя эпохи ея развитія не имѣется. Да врядъ ли онѣ и могутъ скоро появиться. Родина наша такъ велика по пространству, въ ея составъ входитъ столько разновидностей русскаго племени; эти отдѣльныя отрасли единаго племени такъ различны другъ отъ друга по своимъ историческимъ судьбамъ, по характеру, складу ума, по внѣшнимъ особенностямъ быта, что дать полный очеркъ жизни этого племени въ его народныхъ слояхъ почти невозможно, въ виду еще недостаточнаго количества собранныхъ матеріаловъ и малой ихъ систематизаціи и сводки. Приходится ограничиваться частичными детальными описаніями единаго цѣлаго, и вотъ, при этой-то работѣ надъ частностями жизни народной въ

разныхъ углахъ Россіи и въ разныя эпохи, литература о мужикѣ можетъ оказать вамъ существенную помощь. Она ознакомитъ васъ съ совершенно вамъ незнакомыми сторонами той жизни, свидѣтелями и косвенными участниками которой вы сами являетесь. Всей тайны души народной она вамъ, конечно, не откроетъ. Психологія и міросозерцаніе нашей народной массы таили и таятъ въ себѣ еще много неизвѣстнаго и неожиданнаго.

Почти во всѣхъ крупныхъ произведеніяхъ нашей изящной словесности, съ которыми намъ придется встрѣтиться, часто, при случаѣ, будутъ попадаться картинки изъ народнаго быта и простонародные типы. Но помимо такихъ эпизодическихъ картинъ, вплетенныхъ въ длинный разсказъ, въ нашей литературѣ есть нѣсколько истинно-художественныхъ памятниковъ, посвященныхъ исключительно жизни простого народа. Ихъ художественная красота и то глубокое искреннее гуманное отношеніе къ народу, которое въ нихъ сказывается, отводитъ имъ совсѣмъ особое мѣсто. Принадлежатъ эти памятники перу Тургенева, Григоровича, Писемскаго и Толстого. Написаны они въ разное время. Повѣсти Тургенева и Григоровича до освобожденія крестьянъ, а драмы Писемскаго и Толстого послѣ освобожденія. Хронологія памятниковъ въ данномъ случаѣ имѣетъ не малое значеніе, такъ какъ психологія писателя, который брался говорить о народной жизни въ эпоху предшествующую освобожденію, была нѣсколько иная, чѣмъ послѣ, когда народъ сталъ свободенъ.

Писатель-дворянинъ, какимъ онъ былъ по своему общественному положенію, т.-е. человѣкъ, владѣющій крестьянами, чувствовалъ себя не свободно и неловко, когда ему приходилось говорить о народной жизни, вершителемъ которой онъ самъ былъ до извѣстной степени. Когда вся беззаконность и вся безнравственность крѣпостныхъ порядковъ стала писателю ясна, и когда онъ рѣшилъ выступить на защиту народа—онъ, конечно, долженъ былъ быть очень остороженъ въ выборѣ темъ изъ народной жизни. Онъ не могъ сказать всей правды о народѣ. Онъ не могъ равномѣрно распредѣлять краски въ своихъ разсказахъ и одинаково выдвигать свѣтлую и темную сторону народнаго быта. О темной сторонѣ онъ почти что обязанъ былъ умалчивать, такъ какъ онъ не могъ освободиться отъ мысли, что все то порочное и дурное, что онъ подмѣчалъ въ народѣ, было вызвано условіями его крѣпостной жизни, съ которой самъ писатель, такъ или иначе, но мирился. Говорить о грѣхахъ народа было и несправедливо и неделикатно.

Неловко было съ другой стороны и слишкомъ настаи-

вать на добродѣтеляхъ народа или выдвигать одну свѣтлую сторону его жизни. О народныхъ добродѣтеляхъ говорилось неоднократно въ первую половину вѣка, въ эпоху сентиментализма и романтизма, и всегда такія рѣчи отдавали предвзятой теоріей, желаніемъ дорогое для писателей чаяніе признать уже осуществившимся. Даже у славянофиловъ это восхваленіе цѣнныхъ качествъ народнаго сердца и ума не всегда звучало убѣдительно. Для писателя-реалиста, который цѣнилъ правду жизни выше всего, повторять такія восторженныя похвалы народу или усиливать ихъ—значило измѣнить себѣ, такъ какъ онъ не могъ не чувствовать многаго условнаго въ этихъ похвалахъ. Подчеркиваніе одной лишь свѣтлой стороны могло и въ общественномъ смыслѣ оказаться вреднымъ. Свѣтлыя картины изъ народной жизни могли оказаться оправданіемъ того самаго строя жизни, противъ котораго возставалъ писатель. Крестьянская идиллія или нѣчто на нее похожее могло охладить въ читателѣ его желаніе—увидать крѣпостной строй какъ можно скорѣй отмѣненнымъ.

Положеніе писателя значительно облегчилось послѣ того, какъ крѣпостной строй былъ наконецъ осужденъ и отмѣненъ закономъ. Исчезалъ подневольный и нарождался свободный человѣкъ. Милліоны людей получали право и возможность войти независимой силой въ общую жизнь. Съ души всѣхъ просвѣщенныхъ и гуманныхъ людей спало наконецъ бремя отвѣтственности за порядокъ, который былъ признанъ несправедливымъ и безнравственнымъ. Эта перемѣна должна была несомнѣнно отразиться на психикѣ писателя. Онъ могъ съ болѣе легкимъ сердцемъ говорить о народной жизни. Свѣтлую сторону народной жизни можно было отмѣтить при случаѣ, разъ она попадалась на глаза, но можно было отмѣтить и сторону мрачную, заглушая угрызенія совѣсти надеждой на быстрое измѣненіе всего положенія дѣла. Разговоръ о мрачныхъ сторонахъ народной жизни становился даже желательнымъ. Чѣмъ скорѣе и подробнѣе будутъ отмѣчены всѣ недочеты крестьянскаго быта, тѣмъ быстрѣе будетъ нарастать въ людяхъ желаніе ихъ исправить, тѣмъ сознательнѣе общество будетъ относиться къ своимъ долгамъ передъ народомъ.

Не избѣгая мрачныхъ и печальныхъ темъ изъ жизни народной, художникъ-реалистъ долженъ былъ, однако, одного опасаться—какъ бы въ себѣ самомъ и въ читателѣ не подорвать вѣры въ народъ, какъ бы не впасть въ отчаяніе, въ сущности, совсѣмъ неосновательное, но въ которомъ человѣкъ бываетъ иногда не воленъ, когда поддается первому

сильному впечатлѣнію. Художнику предстояла такимъ образомъ опять задача не изъ легкихъ. Спасать вѣру въ народъ чисто-внѣшнимъ способомъ, голословными увѣреніями и надеждами, значило ничего не сказать; и оставался одинъ путь—глубокаго и тщательнаго анализа психическихъ движеній народной души, анализа, который долженъ былъ доказать, что эта душа, сложившаяся и воспитавшаяся при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, въ основѣ своей ничѣмъ не отличается отъ души человѣка образованнаго, такъ высоко надъ простолюдиномъ вознесеннаго. Пусть какіе угодно недостатки и пороки облѣпили эту душу, она способна къ быстрому усовершенствованію, быть-можетъ, даже способнѣе, чѣмъ душа, гордящаяся своей культурностью. Такое сопоставленіе людей не равныхъ по положенію, но равныхъ, если такъ можно выразиться, по психическому составу, было уже сдѣлано нашими художниками, писавшими о народной жизни еще до освобожденія крестьянъ, когда эта тема должна была не столько укрѣплять въ интеллигентѣ вѣру въ народъ, сколько пробуждать въ немъ любовь къ народу. Теперь, послѣ освобожденія, эта любовь разросталась, и анализъ народной души долженъ былъ лишь укрѣпить въ ней вѣру и надежду, несмотря на то, что народная душа была искажена всяческими недостатками и пороками.

Ознакомимся же съ нѣкоторыми повѣстями, написанными частью до освобожденія крестьянъ, частью послѣ,—повѣстями, въ которыхъ эта основная мысль о богатствѣ и глубинѣ психическихъ движеній простой народной души выражена въ художественныхъ образахъ.

X.

Крестьянскій бытъ въ изображеніи художника.—„Записки охотника“ и „Муму“ Тургенева. „Антонъ Горемыка“ Григоровича. „Поликушка“ Л. Толстого. „Горькая судьбина“ А. Писемскаго. „Власть тьмы“ Л. Толстого.

Среди картинъ народнаго быта есть нѣсколько, въ которыхъ правда жизни сочетается съ большимъ художественнымъ совершенствомъ выполненія. Эти литературные памятники принадлежатъ перу нашихъ наиболѣе сильныхъ художниковъ. Содержаніе ихъ весьма разнообразно, но во всѣхъ разсказахъ сквозитъ одна завѣтная мысль всѣхъ нашихъ народолюбцевъ разной окраски: имъ всѣмъ хотѣлось показать, что народная душа, при всемъ мракѣ окружающей ее обстановки и при маломъ развитіи культурномъ, способна на самыя сложныя психическія переживанія. Неустанная борьба за существованіе, борьба, при которой народъ не имѣлъ рѣ-

шительно никакой возможности развить свои духовныя силы, сохранила свѣжей и бодрой его душу и, вредно отражаясь на развитіи его ума, совсѣмъ не коснулась его чувствъ, которыя въ общемъ не менѣе отзывчивы и тонки, чѣмъ чувства любого интеллигентнаго человѣка.

Въ этой мысли, которую такъ облюбовали наши художники-реалисты, было много правды, хотя, конечно, всей правды народной жизни она не отражала. Несомнѣнно, что въ народной средѣ было очень много не только тьмы умственной, но и грубости въ чувствахъ; несомнѣнно также, что нѣкоторыя сложныя и тонкія чувства, обычныя для интеллигентнаго человѣка, въ народной душѣ были очень слабо развиты, взять хотя бы чувства общественныя, политическія и эстетическія. Но художникъ-реалистъ неохотно говорилъ объ этихъ недочетахъ народной психики, никогда не терялъ вѣры въ народъ и потому, изображая даже порочныхъ и темныхъ людей, онъ всегда указывалъ на тѣ данныя ихъ сердца и ума, которыя позволяли надѣяться на быстрое просвѣтленіе.

Писатель былъ неизмѣнно заинтересованъ въ томъ, чтобы читатель отнесся съ добрымъ чувствомъ къ его невзрачному герою, къ крестьянину. Эти чувства должны были быть не только добрыя, сентиментальныя, какими они были въ эпоху, когда писатель хотѣлъ только разжалобить читателя,—они должны были породить теперь въ его душѣ довѣріе къ духовнымъ силамъ простого народа, даже при наличности его умственной темноты и порочности.

Объ этихъ силахъ писатель въ первый разъ заговорилъ открыто и смѣло въ концѣ сороковыхъ годовъ, когда стали появляться въ печати первые очерки Тургенева изъ „Записокъ охотника“. Разсказываютъ, что чтенье этихъ очерковъ укрѣпило въ высокихъ сферахъ общества мысль о необходимости освобожденія крестьянъ. Это вполнѣ возможно, такъ какъ „Записки охотника“, въ сущности, очень краснорѣчивая рѣчь въ защиту крестьянина не столько отъ разныхъ бѣдъ его подневольнаго существованія, сколько отъ укоренившагося въ обществѣ взгляда на народъ, какъ на массу въ духовномъ отношеніи грубую и жесткую. О самомъ крѣпостномъ бытѣ говорится въ этихъ „Запискахъ“ немного: онъ составляетъ какъ бы фонъ всей картины, и этотъ фонъ зарисованъ мягкими красками. Авторъ, конечно, осуждалъ крѣпостной строй, но онъ не собирался клеймить его. Можетъ-быть, ему мѣшали цензурныя условія того времени, но вѣрнѣе предположить, что въ самый планъ „Записокъ“ рѣзкое обличеніе не входило. Есть, конечно, нѣсколько страницъ, на которыхъ даетъ себя чувствовать власть и гнетъ помѣщичьяго

характера [безъ этихъ страницъ разсказы грѣшили бы противъ исторической правды], но злыхъ и жестокихъ помѣщиковъ мы въ „Запискахъ“ не встрѣчаемъ. Нѣтъ въ нихъ и несчастныхъ, совсѣмъ забитыхъ людьми и жизнью крестьянъ. На нѣкоторыхъ разсказахъ лежитъ такой свѣтлый и мирный колоритъ, что они становятся похожи на идиллію. Авторъ не кривилъ душой, когда онъ рисовалъ эти идилліи. Онъ былъ всецѣло во власти одной мысли,—гуманной по существу и отчасти правдивой,—которую онъ хотѣлъ во что бы то ни стало пояснить художественными иллюстраціями. Онъ хотѣлъ доказать, что душа крестьянина доступна всѣмъ тѣмъ тонкимъ и нѣжнымъ чувствамъ, которыя мы привыкли встрѣчать въ интеллигентномъ человѣкѣ. Крестьянскій умъ, которому въ жизни было предоставлено менѣе случаевъ для развитія, чѣмъ непосредственному чувству, онъ, этотъ прирожденный умъ, былъ представленъ въ цѣльныхъ и типичныхъ образахъ. Передъ нами были простые люди, думающіе надъ сложными вопросами жизни и безъ всякой подготовительной школы и указки рѣшающіе ихъ по-своему, самостоятельно. Писатель не критиковалъ этого народнаго міросозерцанія; онъ хоть и не подписывался подъ нимъ самъ, но удивлялся ему и любовался имъ. Любовался онъ и приходилъ въ еще большее умиленіе когда говорилъ о чувствахъ народной души, о тѣхъ тонкихъ чувствахъ, которыя, повидимому, требовали очень тщательнаго развитія, требовали особыхъ условій для ухода за собой, и которыя были народу даны самой природой и предвѣщали богатое развитіе всѣхъ его духовныхъ силъ, когда эти силы получатъ возможность свободно развиваться. Вѣдь, въ сущности, всѣ эти разсказы охотника не столько бытовыя картинки [хотя и эта сторона въ разсказахъ имѣетъ свою большую литературную стоимость], сколько психологическіе этюды по самымъ основнымъ вопросамъ жизни. Какъ сильно въ нѣкоторыхъ изъ этихъ повѣстей даетъ себя знать, напримѣръ, живое религіозное чувство! Оно не надуманное, а самое непосредственное, оно примиряетъ человѣка съ Богомъ и людьми, оно полно глубокаго смысла, возвышающагося надъ временными явленіями, способными въ душѣ человѣка вызвать лишь раздраженіе, жалобу и негодованіе. Быть-можетъ, такое религіозное смиреніе не было общимъ явленіемъ, но писатель въ данномъ случаѣ выступалъ не какъ публицистъ, а какъ психологъ... Съ такой же любовью и правдой обрисовано въ этихъ разсказахъ и то живое чувство любви крестьянъ къ природѣ, которое намъ такъ хорошо извѣстно по памятникамъ народнаго творчества. Положимъ, эта любовь въ народной душѣ должна вспыхивать чаще и ярче, чѣмъ въ душѣ

людей, разобщенныхъ съ природой, но въ данномъ случаѣ характерна та поэтичная форма, въ какую эта любовь облекается въ простомъ и эстетически совсѣмъ не воспитанномъ сердцѣ. Народная душа, если вѣрить писателю, вообще очень эстетична при полномъ отсутствіи какой бы то ни было школы. Иногда фантазія простого человѣка создаетъ образы, которымъ могъ бы позавидовать любой интеллигентный художникъ; иногда въ этомъ человѣкѣ скрытъ музыкальный даръ истиннаго артиста... Вообще народная душа богата именно тѣми талантами, которыми образованный человѣкъ привыкъ гордиться и кичиться передъ простолюдиномъ. И не менѣе глубоко и высоко въ этой душѣ ея нравственное чувство. Писатель, конечно, зналъ, что народный бытъ пестритъ разными пороками, но онъ умолчалъ о нихъ, какъ онъ умолчалъ и о разныхъ обыденныхъ добродѣтеляхъ, о которыхъ было много говорено раньше, во времена сентиментальныхъ и романтическихъ повѣстей. Изъ всѣхъ нравственныхъ чувствъ онъ больше всего оттѣнилъ одно, которое вообще любилъ оттѣнять писатель дореформенной эпохи, а именно—незлобивость простонародной души. Условія жизни были такія, что эта душа несомнѣнно могла озлобиться, и, конечно, случаи такого озлобленія бывали. Но характернымъ для народной душевной жизни того времени оставалось все-таки чувство смиренія, чувство покорности судьбѣ, незлобивое терпѣніе—рядъ душевныхъ состояній, которыя не могутъ быть объяснены лишь безчувственностью, грубостью, забитостью народа. Они безспорно коренились въ извѣстномъ нравственномъ взглядѣ на жизнь, и писатель имѣлъ полное основаніе на нихъ настаивать именно тогда, когда весьма многихъ пугала возможность освобожденія крестьянъ, которое, по мнѣнію этихъ противниковъ освобожденія, разнуздало бы всѣ животныя страсти народа. Надо было показать, что такихъ животныхъ страстей было неизмѣримо меньше, чѣмъ мягкихъ и гуманныхъ чувствъ. Въ „Запискахъ охотника“ эта незлобивость крестьянской души обрисована очень рельефно, какъ и во многихъ повѣстяхъ того времени и ближайшаго къ нему.

Эта лицевая сторона крестьянской жизни откроется вамъ и въ нѣкоторыхъ мрачныхъ повѣстяхъ, вѣроятно, уже извѣстныхъ вамъ изъ вашего дѣтскаго чтенія. Эти повѣсти—„Антонъ Горемыка“ Григоровича, „Муму“ Тургенева и „Поликушка“ Л. Толстого—дѣйствительно, мрачныя повѣсти по своему содержанію и жалостливыя по настроенію; говорить по поводу нихъ о лицевой сторонѣ крестьянской жизни какъ будто и не приходится—такъ много въ этихъ разсказахъ печали и страданія. Жизнь, беззащитная отъ ударовъ, при всей своей пра-

ведности и незлобіи, при мягкости характера; жизнь, отданная въ суровую власть другихъ, людей злыхъ и жестокихъ, а иногда даже по-своему добрыхъ—вотъ тема, которую художники разработали съ большимъ знаніемъ души простого человѣка. Въ повѣстяхъ этихъ не столько характерно описаніе подневольнаго положенія крестьянъ, сколько оттѣненіе ихъ отношенія къ таковому ихъ положенію. Отсутствіе всякихъ гнѣвныхъ чувствъ въ душѣ страдающихъ и обиженныхъ—вотъ что характерно въ этихъ разсказахъ, призывавшихъ интеллигента къ раздумью надъ безправнымъ положеніемъ народа и къ преклоненію передъ силою его духа, мирнаго, терпѣливо сносящаго удары судьбы, духа, въ которомъ способность страдать превышала во много разъ способность возмущаться. Можно признать такое смиреніе нежелательнымъ для жизни, даже вреднымъ,—и это чувство, какъ извѣстно, съ теченіемъ времени сама жизнь изъ души народа постепенно вытравляла—но что въ дореформенную эпоху и въ ближайшее къ ней время народная душа въ большинствѣ случаевъ была именно такой незлобивой, это несомнѣнно, и художникъ не грѣшилъ передъ правдой, когда изображалъ ее таковой и когда такимъ изображеніемъ говорилъ сильнымъ людямъ, что имъ нѣтъ основанія опасаться свободы слабаго.

Со времени освобожденія, мы знаемъ, художникъ пріобрѣлъ бо̀льшую свободу—и внѣшнюю и нравственную — въ своихъ рѣчахъ о народной жизни. Онъ могъ свободнѣе говорить о томъ другомъ порядкѣ чувствъ въ народной душѣ, о которомъ онъ раньше почти умалчивалъ, а именно о чувствахъ сильныхъ, толкающихъ людей на злые поступки, иногда на преступленія. Много повѣстей было на эту тему написано во второй половинѣ вѣка нашими художниками-реалистами. Порочность и преступность народной массы была обслѣдована съ той же правдивостью, съ какой были отмѣчены раньше добрыя чувства души крестьянской. Такой инвентарь пороковъ и преступленій составлялся не въ цѣляхъ обличенія простого народа, а въ цѣляхъ призыва какъ можно скорѣе помочь народу въ его нравственномъ и умственномъ развитіи. Много цѣннаго для психологіи народной души дали эти разсказы, много новыхъ бытовыхъ чертъ было собрано, но опять-таки самое существенное въ этихъ повѣстяхъ было напоминаніе о близкомъ родствѣ души простолюдина съ душой образованнаго человѣка, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже и преимущество его нравственнаго міросозерцанія надъ нравственными понятіями интеллигента. Въ этомъ отношеніи очень характерны двѣ драмы изъ народной жизни, которыя принадлежатъ къ числу лучшихъ памятниковъ нашей драматической литературы.

Драма Писемскаго „Горькая судьбина“, пожалуй, лучшее, что этимъ писателемъ было создано. Писемскій—одинъ изъ нашихъ самыхъ яркихъ реалистовъ въ исскуствѣ, съ наименьшей склонностью къ какому-нибудь сентиментализму или идеализаціи дѣйствительности. Пошлая, мрачная и чаще всего грубая сторона жизни преимущественно привлекала къ себѣ его вниманіе, и въ ея изображеніи онъ былъ неподражаемъ по силѣ и правдивости картинъ. Тѣмъ болѣе характерна его драма „Горькая судьбина“, въ которой мягкіе тона, несомнѣнно, преобладаютъ надъ суровыми. Это очень сложная и глубокая по психологическому смыслу семейная драма, разыгравшаяся въ крестьянской избѣ. Знаменательно то, что одно изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, помѣщикъ, является чуть ли не олицетвореніемъ любви, кротости и деликатности. Этимъ самымъ упразднены всѣ ссылки на крѣпостное право, какъ на главное условіе драматической завязки въ этой пьесѣ. Драма не обличаетъ крѣпостного права, хотя это право, не сомнѣнно, усложняетъ трагичность положенія. Смыслъ драмы въ тонкихъ душевныхъ движеніяхъ крестьянина Ананія и его жены Лизаветы. По развитію основныхъ чувствъ, на которыхъ драма построена, чувства любви, ревности, задѣтаго самолюбія, чувства обиды, гнѣва и бѣшенства, драма ведена такъ, что если замѣнить имена всѣхъ крестьянъ именами людей образованныхъ и какого угодно интеллигентнаго круга, то въ репликахъ, за исключеніемъ отдѣльныхъ словъ, ничего мѣнять не придется. Крестьянинъ и его жена чувствуютъ и поступаютъ такъ, какъ чувствуютъ и могутъ поступать любые культурные люди на ихъ мѣстѣ, не говоря уже о послѣднихъ сценахъ драмы, въ которыхъ Ананій вершитъ самъ надъ собой судъ, не дожидаясь суда общественнаго. Сколько въ этомъ Ананіи, при всей трудности его положенія, и снисходительности, и сдержанности, до взрыва страсти, которому вѣдь всѣ люди подпасть могутъ! И Лизавета, она о женскомъ вопросѣ разсуждаетъ такъ здраво, не хуже любой передовой женщины. Такъ сравненъ простой человѣкъ съ человѣкомъ интеллигентнымъ.

Въ драмѣ Толстого „Власть тьмы“ это сравненіе или уравненіе проведено нѣсколько иначе; порочность крестьянской души, находящейся подъ властью тьмы, оттѣнена очень ярко, но зато и глубина и сила нравственнаго чувства въ той же крестьянской душѣ подчеркнута очень рѣзко. Интеллигента на сценѣ нѣтъ, но каждому зрителю навертывается мысль—а вѣдь все это могло случиться и случается въ образованномъ обществѣ, но только обнаруживается въ огромномъ большинствѣ случаевъ на судѣ, а не въ добровольномъ

покаяніи. Разнузданная страсть сдѣлала человѣка обманщикомъ, похитителемъ чести, участникомъ въ отравленіи, вторичнымъ соблазнителемъ и дѣтоубійцей, и только она одна, эта животная страсть, виновница его паденія. Этотъ сбившійся съ пути человѣкъ не былъ золъ, онъ — скорѣе даже былъ добръ, и Богъ издавна жилъ въ его сердцѣ, потому что не будь Его, у преступника не хватило бы духа самому всенародно покаяться и, выгораживая другихъ, усиливать свою виновность. Откуда могъ явиться этотъ свѣтлый лучъ совѣсти? Откуда явился Акимъ, вокругъ котораго та же тьма? Семья его ничѣмъ не отличается отъ другихъ семей, живущихъ во тьмѣ, его жена наибольшая преступница, наиболѣе темная личность среди всѣхъ участниковъ драмы, сынъ его,—человѣкъ наиболѣе на соблазнъ падкій. Его домъ—очагъ нищеты. Его разумъ изъ всѣхъ умовъ, какими надѣлены дѣйствующія лица, умъ самый примитивный, самый необтесанный, самый беззащитный. Чтобы оттѣнить эту беззащитность, художникъ лишилъ Акима даже связной рѣчи, и тѣмъ не менѣе Акимъ носитъ въ себѣ свѣтъ истины, радость душевнаго мира, благость спасенія, и прямо изъ рукъ самой природы получаетъ онъ эту силу чистаго и праведнаго сердца, надъ которой тьма не имѣетъ власти, и которая спасаетъ всѣхъ сомнѣвающихся въ правдѣ-справедливости, бодритъ и утѣшаетъ и насъ, готовыхъ усомниться въ наличности добрыхъ качествъ души народной. Можетъ-быть, Толстой выдумалъ эту фигуру, но врядъ ли: слишкомъ ужъ часто она попадается въ тѣхъ документахъ жизни, которые были собраны нашими правдивыми художниками-реалистами.

Не думайте, однако, что всѣ такія повѣсти и драмы, даже если бы вы ихъ число и удесятирили, раскроютъ передъ вами полностью и жизнь, и душу народа. Эта душа болѣе сложна, чѣмъ то, что о ней пока написано, и жизнь наша идетъ такъ быстро впередъ, что литературѣ за ней не угнаться...

XI.

Народъ и интеллигентные люди въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ.—„Утро помѣщика“ и „Казаки“ Толстого.

Присматриваясь къ жизни помѣщика и жизни его ближайшаго сосѣда-крестьянина, художникъ не могъ ограничиться однимъ лишь описаніемъ внѣшней стороны этихъ двухъ жизней, какъ онѣ протекали, не сталкиваясь другъ съ другомъ. Вопросъ объ отношеніи крестьянина къ помѣщику и помѣщика къ крестьянину напрашивался самъ собою. Этотъ

вопросъ былъ однимъ изъ очень сложныхъ и трудныхъ, такъ какъ разновидностей такихъ взаимныхъ отношеній было очень много, и кромѣ того художникъ былъ неравномѣрно освѣдомленъ въ дѣлѣ: человѣкъ культурный, онъ хорошо зналъ, какъ къ крестьянину относятся люди его круга, и плохо зналъ, что думаетъ и чувствуетъ крестьянинъ, когда онъ съ нимъ, интеллигентомъ, сталкивается. Въ силу своего подневольнаго положенія крестьянинъ былъ скрытенъ; и производить наблюденія надъ его душой — писателю, культурному человѣку и въ большинствѣ случаевъ барину, было не легко. Крестьянинъ въ интимные разговоры пускался неохотно, скрывалъ свои истинныя чувства и почти всегда, опасаясь барина, хитрилъ. Простой народъ и до нашихъ дней остался такимъ скрытнымъ и такимъ невольнымъ хитрецомъ.

Кромѣ этой психологической причины, которая мѣшала писателю и крестьянину свободно разговаривать, было и еще одно обстоятельство, которое заставляло художника избѣгать скользкой темы. Тема была въ цензурномъ отношеніи очень опасна. При крѣпостномъ строѣ писатель не могъ откровенно разговориться не только о враждебныхъ, но даже просто недовѣрчивыхъ чувствахъ крестьянина къ помѣщику. Онъ могъ говорить только о мирныхъ отношеніяхъ и о добрыхъ чувствахъ, сближающихъ раба и господина. Онъ и говорилъ о такомъ сердечномъ ихъ согласіи, иногда при случаѣ. Но по мѣрѣ того, какъ художникъ становился бытописателемъ-реалистомъ, онъ не могъ освѣщать только одну сторону вопроса, умалчивая о другой, тѣмъ болѣе, что на самомъ дѣлѣ скрытныхъ чувствъ въ душѣ крестьянина было больше, чѣмъ явныхъ. Художнику становилось неловко говорить о любви, преданности и согласіи тамъ, гдѣ нерѣдко такія чувства поглощались совсѣмъ иными. Писатель избѣгалъ этой темы, и въ изящной словесности первой половины вѣка она почти никакихъ слѣдовъ не оставила, если не считать отрывочныхъ мирныхъ картинокъ идиллической жизни въ деревнѣ.

Когда наступили новыя времена, когда крѣпостной строй отошелъ въ прошлое и слово стало свободнѣе, тема объ отношеніи крестьянина къ помѣщику, конечно, рѣшительнѣе всплыла наружу, но опять-таки свободно разрабатывать ее было опасно по разнымъ причинамъ. Все-таки она касалась наболѣвшихъ скрытыхъ ранъ и могла будить нежелательныя воспоминанія. Кромѣ того, тема продолжала быть очень трудной, такъ какъ и послѣ освобожденія крестьянинъ оставался такимъ же недовѣрчивымъ и скрытнымъ, какимъ былъ раньше. Несмотря на то, что интиллегентный человѣкъ подходилъ къ нему съ самыми лучшими и добрыми намѣреніями,

народъ видѣлъ въ образованномъ человѣкѣ прежде всего барина и попрежнему таилъ отъ него свои чувства и мысли Даже въ тѣхъ рѣдчайшихъ случаяхъ, когда крестьянинъ самъ бралъ перо въ руки — когда ему, какъ самоучкѣ, удавалось заговорить въ стихахъ или въ прозѣ о себѣ и родной ему деревнѣ,—онъ предпочиталъ описывать крестьянскую жизнь, чѣмъ разсуждать о ней, и всегда держался самыхъ общихъ темъ, подражая интеллигентному писателю, а не поправляя его.

Такимъ образомъ, глубокій по своему значенію вопросъ объ отношеніи крестьянина къ интеллигентному человѣку остался въ изящной нашей словесности недостаточно освѣщеннымъ, вплоть до нашихъ дней, несмотря на всѣ старанія такъ называемыхъ „народниковъ".

Многое въ помыслахъ и чувствахъ народныхъ остается для насъ тайной и поражаетъ своей неожиданностью. Одно не подлежитъ сомнѣнію, — что мысли и чувства народной массы вовсе не такъ просты, какъ это съ перваго взгляда кажется, и совсѣмъ не такъ чистосердечы и спокойны, какъ насъ въ томъ неоднократно хотѣли увѣрить писатели, которые хоть и производили тщательныя наблюденія, но все-таки въ тайну народной души не проникли.

Да и можно ли вообще говорить о народной душѣ, какъ о чемъ-то единомъ и цѣльномъ, когда племена, изъ которыхъ складывается наша русская народность — столь отличны между собой и по быту и по психикѣ? Много еще пройдетъ лѣтъ, много потребуется изысканій и наблюденій прежде, чѣмъ народная душа выдастъ свою необычайно сложную по содержанію тайну. Для этого нужно прежде всего, чтобы измѣнились условія жизни, которыя заставляютъ народъ быть скрытнымъ, и затѣмъ необходимо, чтобы писатель-художникъ самъ вышелъ изъ народной среды, чтобы она была для него не предметомъ наблюденія, а самой его жизнью, и чтобы наконецъ онъ, какъ художникъ и большой психологъ, могъ тѣсно сблизить насъ съ этой душой, столь мало намъ знакомой. Такого художника, большого психолога и вышедшаго непосредственно изъ народной среды, мы пока не имѣемъ.

Если, такимъ образомъ, отношеніе крестьянина къ образованному человѣку, его ближайшему сосѣду, осталось въ литературѣ неясно выраженнымъ и дало намъ только намеки на складъ души народной и образъ его мыслей, то, наоборотъ— отношеніе образованнаго человѣка къ народу въ литературѣ представлено съ достаточной полнотой и ясностью.

Писатель, какъ мы сказали, производя тщательныя наблюденія надъ внѣшней стороной народной жизни и надъ

народнымъ міросозерцаніемъ, поскольку оно отвѣчало на разные вопросы религіозные, нравственные, семейные и другіе—не могъ не спросить себя — а какъ же ему надлежитъ отнестись къ этой народной массѣ, добрыя и дурныя стороны жизни которой ему теперь стали болѣе или менѣе ясны? Онъ не могъ остановиться на томъ, что онъ узналъ о жизни народа, не поставивъ себѣ вопроса—какъ помочь этой жизни въ ея борьбѣ со всякими ея несовершенствами и неправдами? Какъ и съ какой стороны подойти къ простому человѣку, чтобы не вспугнуть его? Какъ, при извѣстномъ довѣріи съ его стороны, начать помогать ему?

Желаніе какъ-нибудь облегчить народной массѣ ея положеніе, оградить ее, насколько возможно, отъ нужды и безправія издавна было сильно въ русскомъ писателѣ. Еще на самой зарѣ нашей литературной жизни въ XVIII вѣкѣ, и въ первую половину XIX столѣтія, писатель часто взывалъ къ нашимъ гуманнымъ чувствамъ и указывалъ на народъ, какъ на первый предметъ нашей заботы. Съ паденіемъ крѣпостного строя стремленіе выяснить себѣ самому свои обязанности и долги передъ народной массой должно было возрасти въ культурномъ человѣкѣ и прежде всего въ писателѣ. Онъ получалъ возможность болѣе тѣснаго и сознательнаго сближенія съ народомъ, и народу также открывалась возможность болѣе свободнаго и быстраго развитія своихъ силъ. Образованному человѣку и простому человѣку надлежало сговориться для общей работы.

Въ литературѣ второй половины вѣка тема объ отношеніи интеллигенціи къ народу встрѣчается постоянно. Въ любомъ разсказѣ и любой повѣсти, гдѣ дѣйствующими лицами являются крестьяне, вы можете встрѣтить разговоры на эту тему и указанія на цѣлый рядъ способовъ установленія желательныхъ отношеній между образованными классами и народной массой. По мѣрѣ того какъ въ интеллигентномъ обществѣ возникали программы разныхъ работъ, которыя должны быть налажены въ интересахъ народнаго блага—въ той мѣрѣ всѣ эти программы во образѣ героевъ и разныхъ дѣйствующихъ лицъ появлялись на страницахъ литературы. Несмотря на строгій реализмъ въ построеніи и выполненіи писательскаго замысла, часто въ литературныхъ произведеніяхъ чувствовалась извѣстная преднамѣренность, чувствовался замыселъ, давала себя знать тенденціозность... Истинно художественнаго произведенія среди всѣхъ этихъ романовъ и повѣстей, стремящихся выяснить долги интеллигенціи передъ народомъ — не было, и это, конечно, очень ясный показатель того, что въ самомъ обществѣ не

созрѣлъ еще и не опредѣлился типъ такого человѣка, который имѣлъ бы по этому вопросу вполнѣ установившіеся взгляды и убѣжденія, не надуманные, а вычитанные изъ самой жизни и опирающіяся на живыхъ людей, а не на воображаемыхъ. И, дѣйствительно, наше образованное общество, по вопросу объ отношеніи интеллигента къ народной массѣ, колебалось между многими разнорѣчивымн взглядами и программами.

На первыхъ порахъ, къ серединѣ прошлаго вѣка, еще при старомъ крѣпостномъ строѣ, художнику-реалисту удалось отмѣтить лишь одно ощущеніе или одинъ выводъ, къ которому онъ пришелъ, когда, не довольствуясь лишь описаніемъ жизни народной массы, онъ задумался надъ вопросомъ — насколько вообще сближеніе образованнаго человѣка съ мужикомъ возможно. Это ощущеніе или этотъ выводъ былъ не изъ радостныхъ. Интеллигентъ почувствовалъ, что для народной среды онъ почти чужой человѣкъ, что взаимное пониманіе между нимъ и народомъ почти недостижимо, что народъ не довѣряетъ ему, что историческія условія жизни, въ которыхъ вырастали крестьянскій слой и образованный классъ, были такъ не схожи между собой, что людямъ со столь разной душой договориться невозможно. Это тягостное ощущеніе было вовсе не мимолетное, оно держалось въ интеллигентѣ за все время его попытокъ сближенія съ народомъ, и держится и до сихъ поръ, хотя, конечно, время свое дѣлаетъ, и отъ постояннаго столкновенія непонимающихъ другъ друга людей мало-по-малу вырастаетъ взаимное разумѣніе. Но все-таки во всей нашей литературѣ всякій разъ, когда она касается больного вопроса о сближеніи интеллигента съ массой — ясно проступаетъ мысль о томъ, что это сближеніе, даже при внѣшнемъ видимомъ успѣхѣ, крайне неустойчиво и мало искренно.

Писатель, который первый оттѣнилъ эту печальную сторону нашей жизни, былъ Левъ Толстой. Еще въ самые первые годы своей литературной дѣятельности, въ 1852 году, въ повѣстяхъ „Утро помѣщика“ и „Казаки“ Толстой выдвинулъ эту тему съ удивительной ясностью и смѣлостью, словно онъ предчувствовалъ, какую огромную роль она будетъ играть въ исторіи нашей жизни. Толстой хорошо зналъ съ дѣтскихъ лѣтъ крестьянскую жизнь, и въ годы, когда онъ писалъ свои повѣсти, онъ уже рѣшилъ отдать свои силы интеллигентнаго человѣка на самое будничное, практическое служеніе народу... Повѣсти „Утро помѣщика“ и „Казаки“ требуютъ къ себѣ большого вниманія. Помимо основной темы, они имѣютъ огромное значеніе въ исторіи развитія міросо-

зерцанія самого Толстого. Въ нихъ дана безспорно личная исповѣдь писателя, и многое въ „Войнѣ и мирѣ“ и въ „Аннѣ Карениной“ повторено изъ того, что было продумано и прочувствовано Толстымъ, когда онъ писалъ эти разсказы. Среди тѣхъ интимныхъ переживаній, о которыхъ Толстой такъ откровенно говоритъ въ этихъ повѣстяхъ, онъ рѣзче всего отмѣчаетъ то чувство растерянности и отчужденности, какое испытываетъ образованный человѣкъ, когда онъ попадаетъ въ народную среду и стремится вполнѣ искренно и доброжелательно завязать съ этой средой возможно близкія отношенія.

Князь Неклюдовъ [„Утро помѣщика“] одушевленъ самыми лучшими намѣреніями; онъ созналъ, что его долгъ образованнаго человѣка—помочь народу въ борьбѣ съ нуждой и тьмой ума и сердца. Князь не филантропъ шаблоннаго типа, который, совершая доброе дѣло, отбываетъ извѣстную гуманную повинность, чтобы отмахнуться отъ непріятныхъ назойливыхъ мыслей. Онъ убѣжденный гуманистъ, глубоко сознающій свой долгъ передъ людьми, судьба которыхъ ему ввѣрена. Онъ—молодой человѣкъ, могущій сдѣлать блестящую карьеру, готовъ отказаться отъ всѣхъ благъ и преимуществъ, которыя даетъ ему его положеніе, готовъ запереться въ деревнѣ и жить съ крестьянами и ради нихъ. И — посмотрите, чѣмъ при наличности добрыхъ желаній и искренности сердца всѣ его попытки сближенія съ народомъ и желаніе помочь ему кончаются! Народъ—въ лицѣ цѣлаго ряда самыхъ разнообразныхъ типовъ, и мужскихъ и женскихъ, и молодыхъ и старыхъ, отвѣчаетъ ему только однимъ чувствомъ—готовностью неохотно повиноваться и молчаливой просьбой—„оставь ты насъ въ покоѣ“. Черезъ всю повѣсть проходитъ одна грустная мысль о трудности, почти невозможности совмѣстной работы двухъ силъ, жизнью неразрывно связанныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ другъ другу чуждыхъ. И интеллигентный человѣкъ, послѣ подъема большой увѣренности въ себѣ, кончаетъ печальнымъ раздумьемъ и даже раздраженіемъ противъ себя самого за то, что попалъ въ почти смѣшное положеніе.

Оленинъ [„Казаки“] испыталъ то же неловкое чувство просчитавшагося человѣка. Изъ столицы онъ бѣжалъ въ вольную казацкую станицу, положимъ, по совсѣмъ инымъ мотивамъ, и не затѣмъ, чтобы платить по долгамъ народу. Служить этому народу онъ не собирался, ни на какія жертвы онъ не шелъ. Онъ былъ просто пресыщенъ тѣмъ образомъ жизни, какой онъ велъ въ столицѣ, онъ почти что вынужденъ былъ бѣжать изъ того круга, въ которомъ вращался,

и онъ записался въ казаки, надѣясь отдохнуть и пріобрѣсти тотъ покой ума и въ особенности сердца, покой, отъ отсутствія котораго онъ начиналъ страдать въ образованномъ и свѣтскомъ обществѣ. Казаки были народъ вольный и обезпеченный, жизнь вели хоть и полную опасностей, но здоровую и веселую и ни въ какой помощи со стороны Оленина не нуждались. Предъявить ему какихъ-либо требованій они не могли, и онъ со своей стороны не чувствовалъ за собой никакихъ обязательствъ по отношенію къ этой народной массѣ.

Положеніе главнаго дѣйствующаго лица и вся окружающая его обстановка, какъ видимъ, совсѣмъ иные, чѣмъ въ повѣсти „Утро помѣщика". А конечный выводъ одинъ и тотъ же: то, къ чему образованный человѣкъ стремился, а именно установленіе дружной жизни съ народомъ, при взаимномъ довѣріи и пониманіи,—это безкорыстное желаніе интеллигента, оказалось неосуществимымъ. Между нимъ и народной массой стояла стѣна, сломать которую онъ былъ не въ силахъ. Приспособиться къ народной жизни онъ никакъ не могъ и не могъ также пріучить къ себѣ народа. А онъ очень искренно пошелъ ему навстрѣчу, не кичился своимъ духовнымъ преимуществомъ; наоборотъ, самъ желалъ научиться у народа мудрости и правиламъ нравственной жизни.

Крестьяне князя Неклюдова были въ жалкомъ, бѣдственномъ положеніи; они были въ полномъ смыслѣ слова „рабы", неимущіе, забитые и темные. Казаки, къ которымъ приписался Оленинъ, были свободны, жили въ достаткѣ, и хоть не были образованы, но весьма сознательно относились къ жизни и были хорошими практиками, а нѣкоторые изъ нихъ — какъ, напримѣръ, дядя Ерошка—своего рода философы.

Князь Неклюдовъ пріѣхалъ въ деревню, желая помочь крестьянамъ и имѣя силу и право навязать имъ свою волю.

Оленинъ пріѣхалъ въ станицу и самъ искалъ у казаковъ помощи. Онъ въ ихъ средѣ надѣялся уразумѣть, какъ жить должно, и онъ надъ казаками не имѣлъ никакой власти; скорѣе они имѣли эту власть надъ нимъ.

И въ обоихъ случаяхъ сближеніе между образованнымъ человѣкомъ и народной массой достигнуто не было.

Вотъ тотъ первый обобщающій выводъ, который сдѣланъ былъ художникомъ-реалистомъ изъ своихъ наблюденій надъ встрѣчей культурнаго человѣка съ народомъ. Выводъ этотъ былъ сдѣланъ еще въ эпоху дореформенную.

Само собою разумѣется, что съ такимъ безотраднымъ выводомъ интеллигентъ не могъ помириться и имъ не могъ ограничиться. Крѣпостной строй былъ уничтоженъ; для народной жизни открылись новые горизонты, и въ образован-

номъ человѣкѣ укрѣпилась надежда на то, что между нимъ и народомъ установятся наконецъ близкія и искреннія отношенія, при взаимномъ довѣріи и пониманіи, и что совмѣстная работа интеллигента и народныхъ массъ перестанетъ быть мечтой и надеждой, а станетъ дѣйствительностью.

XII.

Литература народничества.

Интеллигентный человѣкъ долженъ былъ начать изыскивать всѣ способы сближенія съ народомъ; онъ долженъ былъ попытаться во что бы то ни стало съ простымъ человѣкомъ договориться. Эти попытки, многочисленныя и разнообразныя, служили предметомъ долгаго раздумья и жаркихъ споровъ въ образованномъ обществѣ за весь періодъ времени, о которомъ мы говоримъ — начиная съ 50-хъ годовъ вплоть до 90-хъ. Въ исторіи нашей общественной жизни, а также и въ исторіи нашей словесности такъ называемое „народничество“ [этимъ именемъ и обозначались попытки сближенія интеллигента съ народной массой] — одно изъ самыхъ характерныхъ явленій.

Подробно говорить объ этомъ явленіи и перечислять писателей и публицистовъ, которые стояли во главѣ народническаго движенія, въ школѣ нѣтъ нужды. Это движеніе, хотя оно и оставило очень сильный и яркій слѣдъ въ литературѣ, тѣмъ не менѣе не создало ни одного истинно художественнаго памятника, въ которомъ бы оно нашло болѣе или менѣе полное отраженіе. Писателями собранъ былъ очень богатый матеріалъ бытовой, набросано не мало иногда очень рельефныхъ типовъ простого человѣка, даны были менѣе цѣльные и менѣе яркіе типы самихъ интеллигентовъ, ищущихъ сближенія съ народомъ; повѣсти и романы пересыпаны были цѣлыми страницами, иногда даже трактатами на публицистическія темы, и все-таки это общественное движеніе пока не закрѣплено въ цѣльной художественной картинѣ, хотя бы въ отдѣльныхъ своихъ частяхъ и эпизодахъ. Кромѣ того для полнаго уразумѣнія народническаго движенія и посильной его оцѣнки отъ васъ потребовались бы совсѣмъ особыя знанія— этнографическія и экономическія, которыхъ школа вамъ дать не можетъ. А безъ этихъ знаній многое въ народнической литературѣ останется для васъ непонятнымъ и неинтереснымъ. Позднѣе, когда жизнь дастъ вамъ возможность пріобрѣсти эти знанія, когда по книгамъ и на живыхъ явленіяхъ современности вамъ придется изучать жизнь русскаго народа и

вы сами придете съ нимъ въ непосредственное столкновеніе,—тогда народническая литература, хотя бы и прошлаго времени, окажетъ вамъ большую услугу, такъ какъ она дастъ вамъ въ руки много историческихъ документовъ и ознакомитъ васъ со взглядами многихъ выдающихся людей на этотъ очень серьезный вопросъ нашей жизни—вопросъ, который такъ и не рѣшенъ и подлежитъ пересмотру. Но не только въ случаѣ прямой надобности должны вы съ народническимъ движеніемъ ознакомиться. Каждый образованный русскій человѣкъ долженъ имѣть о немъ достаточно полное понятіе, такъ какъ въ томъ или другомъ видѣ наша жизнь еще долго будетъ считаться съ нимъ и такъ какъ нашихъ духовныхъ силъ на него потрачено очень много.

Если писателямъ-народникамъ не удалось создать истинно художественныхъ произведеній, то среди нихъ, несомнѣнно, были люди съ большимъ писательскимъ дарованіемъ и съ очень оригинальнымъ міросозерцаніемъ. Одинъ изъ нихъ обладалъ первоклассным талантомъ, и только своеобразная психика и большое тяготѣніе къ публицистикѣ помѣшали ему стать истиннымъ художникомъ. Это былъ Глѣбъ Успенскій, замѣчательный бытописецъ, большой знатокъ народной жизни, тонкій юмористъ, неутомимый ворошитель общественныхъ вопросовъ, очень принципіальный гражданинъ и большой мастеръ рѣчи. Какъ школьное чтеніе, его сочиненія, однако, мало пригодны, но для русскаго образованнаго человѣка знакомство съ ними обязательно. На ряду съ Глѣбомъ Успенскимъ и второстепенныя силы, работавшія въ рядахъ народнической литературы, могутъ со временемъ оказать вамъ большую услугу, когда вамъ придется задуматься надъ установленіемъ духовной и иной связи между народомъ и вами, такъ обогнавшими народную массу. Тогда вы раскроете сочиненія Левитова, Рѣшетникова, Слѣпцова, Златовратскаго и другихъ, и если при чтеніи этихъ страницъ вы художественнаго наслажденія не испытаете, то опять-таки получите большой приростъ знанія народной души, міросозерцанія и быта.

Оставляя времени пополнить этотъ пробѣлъ въ вашемъ образованіи и умышленно проходя мимо народнической литературы, нельзя, однако, не остановиться на главнѣйшихъ вопросахъ, которые писателями-народниками были поставлены, такъ какъ многіе изъ этихъ вопросовъ встрѣчаются сплошь да рядомъ въ памятникахъ нашей изящной литературы, не имѣющихъ прямого отношенія къ народническому движенію.

Первое, о чемъ народники неустанно говорили — это было признаніе за самимъ вопросомъ о народѣ первен-

ствующаго значенія въ сужденіяхъ и планахъ дѣйствія образованнаго человѣка. Каждый культурный русскій человѣкъ, если ему дороги судьбы родины, обязанъ не упускать изъ виду, что только при обезпеченной, здоровой въ умственномъ и нравственномъ отношеніи жизни простого народа возможна правильная, здоровая и цвѣтущая жизнь всего государства. Народъ—главный источникъ жизни всего государственнаго организма. Онъ не только главная платежная сила страны,—не только первый и сильнѣйшій защитникъ ея, онъ родникъ ея духовной жизни, хоть и молчаливый и безгласный, но носитель національныхъ идеаловъ; въ немъ все будущее нашей страны, и та государственная жизнь, которая не опирается на народъ, или опирается на него лишь механически, которая не имѣетъ корней въ его нѣдрахъ — она недолговѣчна при всей видимости своей внѣшней силы. На нужды народа, на устраненіе всѣхъ препятствій, которыя мѣшаютъ его развитію экономическому, нравственному и умственному, должна быть направлена работа всѣхъ, кому, въ силу какихъ бы то ни было обстоятельствъ, удалось занять привилегированное положеніе культурнаго человѣка.

Эта мысль о первенствующемъ значеніи народной массы въ жизни государства была отнюдь не новой мыслью. Въ Александровскую эпоху и въ царствованіе Николая Павловича она мелькала въ умахъ всѣхъ тѣхъ людей, по мнѣнію которыхъ крѣпостной строй, т.-е. разореніе, обезличеніе и развращеніе народной массы былъ источникомъ всѣхъ нашихъ общественныхъ и государственныхъ неустройствъ. Но только съ новымъ царствованіемъ эта мысль укрѣпилась въ нашемъ сознаніи.

Народники всѣхъ оттѣнковъ [а такихъ оттѣнковъ въ народничествѣ было много] изъ всѣхъ людей интеллигентнаго круга были наиболѣе ярыми, фанатичными проповѣдниками любви къ народу. У нихъ былъ настоящій культъ этого народа, какъ бы имъ ни были ясны всѣ его умственные и нравственные недостатки; они готовы были итти на какія угодно жертвы въ служеніи ему; они не вѣрили въ возможность какого-либо прогресса, если духовныя и матеріальныя силы интеллигента не будутъ направлены на эту ближайшую цѣль,—на благо простого народа. Въ ряду всѣхъ нашихъ общественныхъ дѣятелей и писателей народники были самыми принципіальными народолюбцами, никогда не отступавшими отъ разъ ими принятаго направленія.

Помимо признанія народа первенствующей силой, народники были наиболѣе ревностными собирателями всевозможнаго матеріала, относящагося къ народной жизни. Съ цѣлью

собиранія этого матеріала они шли въ народъ, изучали деревенскую жизнь, какъ историки, этнографы, психологи и экономисты; они собирали остатки народной старины, сказки и пѣсни, старались на живыхъ образцахъ ознакомиться съ психологіей народа, пытались вникнуть въ его міросозерцаніе, не сразу открывающееся постороннему человѣку; наконецъ, до мелочей описывали они всѣ особенности простонароднаго быта. Народники въ данномъ случаѣ шли также по проторенной дорогѣ, такъ какъ наблюденія надъ народной жизнью производились и раньше; но до расцвѣта народнической литературы эти наблюденія не давали столь точныхъ и обильныхъ свѣдѣній, на основаніи которыхъ стали возможны болѣе или менѣе широкіе выводы и обобщенія.

Изъ этихъ обобщеній два вывода останавливали на себѣ преимущественное вниманіе народниковъ. Выводы были достаточно противорѣчивые. Подводя итоги своимъ кропотливымъ наблюденіямъ, одни изъ народниковъ пришли къ оптимистическому выводу. Считаясь съ очень неблагопріятными условіями, въ какихъ протекала народная жизнь, учитывая всѣ мрачныя стороны крѣпостного состоянія, часть этихъ народолюбцевъ остановилась въ удивленіи передъ тѣми духовными силами, которыя народъ сохранилъ, несмотря на всю тяготу своего положенія. Свѣтлый умъ, чистое сердце, врожденное чувство правды, крѣпость нравственныхъ началъ, задатки самой разумной и справедливой общественной мысли— все это оказалось налицо въ народной средѣ. Вѣка рабства ее не принизили и не обезличили. Подъ грубой формой она хранитъ цѣннѣйшее духовное содержаніе.

Параллельно съ этимъ оптимистическимъ взглядомъ, который подъ перомъ нѣкоторыхъ народниковъ выливался въ восторженный гимнъ, — шелъ другой взглядъ, ему противоположный. Онъ оттѣнялъ въ народной жизни преимущественно ея мрачную сторону. Не отрицая у народа большихъ способностей ума и души, писатели - народники этого толка сосредоточили все свое вниманіе на темныхъ явленіяхъ порчи народныхъ дарованій, вызванной тѣми страшными условіями, среди которыхъ народу пришлось жить многія столѣтія. Писатели не щадили темныхъ красокъ и пользовались ими для доказательства главной своей мысли, которая и побуждала ихъ скрѣпя сердце рисовать такія неприглядныя картины.

Они были убѣждены, что народъ нуждается въ немедленномъ вмѣшательствѣ интеллигента въ его жизнь, что самъ онъ доведенъ условіями своей безправной и нищенской жизни до такихъ степеней умственной и нравственной безпомощ

ности, при которыхъ нельзя ожидать никакого улучшенія въ его положеніи. Помощь образованныхъ людей—въ видѣ ли правительственнаго распоряженія или общественной иниціативы, или наконецъ вмѣшательства частныхъ лицъ въ жизнь народа—одна могла поправить дѣло, приведенное въ отчаянное состояніе тѣмъ, что ни правительство, ни общество не обращали до сихъ поръ должнаго вниманія на воспитаніе и обученіе народа.

Таковы были два общихъ взгляда на наличность свѣтлыхъ и мрачныхъ сторонъ народной жизни, упорно отстаиваемые писателями-народниками съ привлеченіемъ весьма большого количества свѣдѣній, собранныхъ въ самой народной средѣ. И тотъ и другой взглядъ, взятый порознь, грѣшилъ, конечно, преувеличеніемъ то въ хорошую, то въ дурную сторону. Добрыхъ началъ въ народной душѣ было не такъ много, чтобы начать писать съ народа икону, но и дурныя начала не исключали возможности возрожденія и просвѣтлѣнія по свободному почину самой народной души, которая безъ указки могла найти новую дорогу. Писатели, въ концѣ концовъ, какъ будто пришли къ примиряющему обѣ крайности взгляду, признающему наличность всѣхъ пороковъ и искривленій народной души, но вполнѣ увѣренному, что такія искривленія могутъ быть исправлены нравственной силой самого народа, какъ только будутъ измѣнены внѣшнія условія его жизни.

И возникалъ, конечно, вопросъ о томъ—какъ же должны быть измѣнены эти условія, кѣмъ они должны быть измѣнены и нужно ли мѣнять эти условія всѣ безъ исключенія, или нѣкоторыя стороны народнаго быта—[какъ, напр., форма общиннаго владѣнія землей] — должны быть сохранены? По всѣмъ этимъ вопросамъ возникали среди народниковъ большіе споры.

Сообразно тому, какъ кто оцѣнивалъ крестьянскій народный умъ и народную душу, оттѣнялъ ли онъ въ ней перевѣсъ добродѣтелей надъ пороками или наоборотъ — сообразно съ этимъ рѣшалъ онъ и вопросъ о желательныхъ измѣненіяхъ въ условіяхъ народной жизни. Въ одномъ, конечно, всѣ были согласны—въ томъ, что новыя условія ж зни должны народу обезпечить такое экономическое положиніе, при которомъ онъ былъ бы избавленъ не только отъ нуждеды, но и отъ необходимости отдавать всѣ свои силы на борьбу за чисто-физическое существованіе. Народъ долженъ быть поставленъ въ такое положеніе, при которомъ онъ могъ бы развивать свои духовныя силы. На этомъ всѣ народники сходились. Они разошлись по другому болѣе частному вопросу.

Нужно ли стремиться къ тому, чтобы по складу своей личной жизни, семейной и общественной, простолюдинъ приближался къ интеллигенту, или онъ долженъ сохранить вѣковые устои своей простой жизни, оставаясь земледѣльцемъ? Переходя изъ одного сословія въ другое, долженъ ли онъ утратить тѣ особенности міросозерцанія и всего склада жизни, которыя отличаютъ его отъ остальныхъ общественныхъ группъ? Вопросъ былъ одно время очень жгучій, и допускалъ онъ два рѣшенія.

Тѣ изъ народниковъ, которые высоко цѣнили народную душу и народный умъ, какими они ихъ застали, тѣ, кто оптимистически смотрѣлъ на наличность душевныхъ качествъ простого народа и вѣрилъ, что даже въ томъ состояніи, въ какомъ народъ теперь находится, онъ по нравственнымъ своимъ взглядамъ и по врожденному ему чувству соціальной справедливости стоитъ выше общаго ординара культурныхъ людей—тѣ ставили интеллигентному человѣку народную жизнь въ примѣръ и приглашали его подражать этой жизни. Образованный человѣкъ можетъ и долженъ помочь народу, но только въ его борьбѣ съ матеріальными условіями жизни—во всемъ остальномъ народная жизнь не должна быть измѣнена, и самъ интеллигентъ долженъ итти въ деревню и учиться у народа, какъ жить слѣдуетъ. Одна часть народниковъ не только проповѣдывала это ученье, но и сама осуществляла его. Интеллигентные люди уходили въ деревню, селились среди крестьянъ, приписывались къ ихъ общинамъ, женились на крестьянкахъ, пытались сами превратиться въ земледѣльцевъ. Въ концѣ концовъ эти попытки оказались неудачны, и это „хожденіе“ въ народъ прекратилось. Но пусть практическіе результаты были ничтожны, само ученье въ основѣ своей осталось жить въ видѣ очень знаменательной для русскаго человѣка мысли, — мысли о томъ, что духовныя и нравственныя силы народа такъ велики и крѣпки, что не мы, образованные люди, должны воспитывать и обучать народъ, а онъ долженъ служить намъ примѣромъ житейской мудрости и обиходной морали. При такомъ взглядѣ на духовную крѣпость народа вмѣшательство интеллигента въ народную жизнь могло быть лишь очень незначительнымъ и несущественнымъ.

Совсѣмъ иначе смотрѣли на этотъ вопросъ тѣ изъ народниковъ, которые, не отрицая въ народѣ большихъ духовныхъ задатковъ, полагали, что онъ доведенъ условіями своей жизни до такого положенія, при которомъ самостоятельное развитіе его ума и души немыслимо. Народъ такъ обезличенъ, неразвитъ и теменъ, что, предоставленный самому себѣ,

онъ осужденъ на измельчаніе и огрубѣніе. Образованный человѣкъ долженъ немедленно прійти ему на помощь не только въ матеріальномъ смыслѣ, но главное въ духовномъ. Народу надо дать не только практическія знанія, но надо воспитать его, развить его умъ, направить его волю, пріобщить его во всѣхъ смыслахъ къ плодамъ современной цивилизаціи. Для осуществленія этого плана надо также „итти въ народъ", но не съ цѣлью у народа учиться, а съ цѣлью его обучать.

Многіе народники и пошли въ этомъ направленіи; они старались ознакомить народъ съ современными идеями изъ разныхъ областей знанія, — преимущественно съ экономическими и политическими вопросами; они стремились указать народу, какими способами онъ можетъ бороться съ условіями жизни, столь неблагопріятно отражающимися на его положеніи. Среди этихъ способовъ народники указывали и на открытую революціонную борьбу, и нерѣдко были случаи, когда они въ народной массѣ выступали какъ политическіе, революціонные агитаторы. При такомъ взглядѣ на потребности народной жизни, вмѣшательство интеллигента въ народную жизнь могло быть безгранично. Но и эта программа прямого вмѣшательства въ народную жизнь не дала тѣхъ результатовъ, на какіе народники разсчитывали.

XIII.

Бытъ солдатскій. Севастопольскіе разсказы Л. Толстого и „Война и миръ".

Художникъ, изучая народную жизнь, не могъ, конечно, пройти мимо солдатской массы, т.-е. той же массы народной, но оторванной отъ земли и прикрѣпленной къ казармѣ. Большой интересъ должна была возбуждать въ немъ эта солдатская жизнь, столь отличная отъ жизни всѣхъ слоевъ общества, столь своеобразная въ мирное время и столь богатая по переживаніямъ во время военное. Художникъ, если онъ былъ патріотомъ—[а таковымъ былъ каждый]—долженъ былъ заговорить о солдатѣ и его начальникахъ.

Въ нашей изящной словесности эта отрасль общественной жизни представлена, однако, до сей поры очень слабо, и вполнѣ понятно почему. Внутренній и внѣшній военный строй долженъ былъ составлять государственную тайну, и сказать о немъ всю правду значило ослабить до извѣстной степени его силу. Цензура была всегда очень строга ко всѣмъ произведеніямъ, въ которыхъ говорилось объ интимной жизни военнаго сословія. Показная сторона этой жизни была подъ меньшимъ запретомъ, и только геройскій подвигъ солдата и

офицера и ихъ боевое патріотическое настроеніе могли быть съ полной свободой описаны и изображены. Но вѣдь эта оффиціальная сторона военнаго быта представляла наименьшій интересъ для психолога и бытописателя въ виду простоты и несложности ея душевныхъ движеній и обыденности обстановки при всей ея патетичности.

Русскій писатель, и въ первую половину вѣка и во вторую, не рѣдко говорилъ о воинственныхъ добродѣтеляхъ и подвигахъ нашего воинства. Но всѣ такіе разсказы не могли, конечно, раскрыть передъ читателемъ самой души русскаго военнаго въ годы старые и новые. Въ особенности въ дореформенное время, въ первую половину XIX вѣка, переживанія этой души были очень своеобразны, сложны и глубоки до введенія закона о всеобщей воинской повинности и до смягченія разныхъ суровыхъ параграфовъ воинскаго устава. Крестьянинъ, котораго сдавали въ солдаты, порывалъ свою связь съ крестьянской средой и на долгое время, почти на всю жизнь, уходилъ совсѣмъ въ иную жизнь, непохожую ни на одну изъ жизней, какою жили другіе слои общества. Своеобразной становилась и жизнь офицера, если онъ оставался въ строю и не выходилъ въ отставку. Жизнь офицера на разныхъ постахъ и въ разныхъ чинахъ имѣла впрочемъ гораздо больше точекъ соприкосновенія съ общей жизнью интеллигентныхъ классовъ, чѣмъ жизнь солдатская съ жизнью крестьянской. Именно солдатская жизнь должна была для художника представлять наибольшій интересъ, какъ нѣчто вполнѣ самобытное и ни съ какой жизнью не сходное.

Въ солдатскомъ быту стараго дореформеннаго времени печали, мрака, страданія и даже ужаса было много. Воспоминанія и случайные разсказы слегка поднимаютъ завѣсу, скрывающую отъ насъ страшныя тайны этой уже далекой прошлой жизни. Литература о ней молчала—и по беллетристическимъ произведеніямъ мы не составимъ себѣ о ней никакого понятія. Писатель стараго времени солдата обходилъ и говорилъ изрѣдка объ офицерѣ и то наблюдая его больше въ обстановкѣ салонной, столичной или вообще частной, а не въ обстановкѣ военной. Большой тайной была окутана именно эта военная обстановка.

Во вторую половину вѣка, когда художникъ-реалистъ принялся за добросовѣстное обслѣдованіе разныхъ угловъ Россіи съ цѣлью дать возможно болѣе полную и правдивую картину жизни всѣхъ слоевъ общества и состояній, онъ естественно долженъ былъ остановиться на солдатскомъ бытѣ, о которомъ изъ прошлой литературы онъ узналъ такъ

мало. И, дѣйствительно, наши художники-реалисты не упускали случая заговорить о военномъ сословіи, но при тѣхъ же строгостяхъ цензуры и имъ, какъ ихъ предшественникамъ, пришлось изображать этихъ воиновъ почти исключительно не въ строевой обстановкѣ. Такъ и до послѣдняго времени наша изящная словесность совсѣмъ не словоохотлива, когда рѣчь заходитъ о военныхъ. Старина, въ которой было столько ужаса и страданія, забывается, а новое время, внесшее въ эту жизнь много улучшеній и смягченій, остается рядовому читателю почти совсѣмъ неизвѣстнымъ.

Одна только лицевая сторона военнаго быта попрежнему попадается намъ на глаза.

Изъ всего, что о солдатѣ и офицерѣ было до сего времени написано самое яркое, самое глубокое и правдивое принадлежитъ перу Л. Толстого. Его военные разсказы изъ исторіи завоеванія Кавказа, его „Севастополь въ августѣ и декабрѣ", наконецъ цѣлыя главы изъ „Войны и мира" были написаны полстолѣтіе тому назадъ и, конечно, не могутъ во многихъ своихъ деталяхъ считаться правдой нашего времени. Съ тѣхъ поръ въ военномъ быту многое и радикально измѣнилось,—и военный уставъ, и нравы, и обстановка, и уровень образованія и самый духъ корпораціи.

Разсказы Толстого, какъ всѣ до нихъ написанные и имъ современные, совершенно обходятъ молчаніемъ всѣ мрачныя стороны военнаго быта и многія печали этой трудовой и полной страданія жизни. Они изображаютъ воина въ минуту исполненія имъ святого долга, въ часъ страданія, которое онъ терпитъ за родину, а не страданія, какимъ его сама родина подвергла. Вспоминая о тѣхъ мрачныхъ сторонахъ солдатскаго быта, отвѣтственность за которыя падала на строй нашей жизни, невольно удивляешься, какъ при этомъ строѣ солдатъ могъ сохранить такую ясность, такую незлобивость души, такое сознательное смиреніе передъ великимъ дѣломъ... За разсказами Толстого остается значеніе настоящаго литературнаго откровенія. Та народная масса, въ пользу которой хотѣли расположить образованныхъ людей — сразу и вдругъ явилась въ этихъ разсказахъ героемъ во весь ростъ. Этотъ герой—безъ всякихъ гордыхъ, звонкихъ рѣчей, безъ театральныхъ и красивыхъ жестовъ удержалъ за собой первое мѣсто, которое обыкновенно отводилось какой-нибудь единичной личности, вождю, ведущему за собой покорную массу. Странно было читать, напримѣръ, разсказы изъ исторіи осады Севастополя и не встрѣтить на этихъ страницахъ имена любимыхъ тогда севастопольскихъ героевъ-военачальниковъ. Но Толстой не безъ умысла объ этихъ единичныхъ, герояхъ

почти что умолчалъ. У него былъ свой герой,—народъ русскій въ военныхъ доспѣхахъ.

Великая тогда была возложена на этотъ народъ миссія, и великъ былъ совершенный имъ подвигъ. Это была не отечественная война 1812 года, когда народъ всталъ на защиту родныхъ очаговъ или въ отомщеніе ихъ гибели и гибели женъ и дѣтей; это не была война, въ которой народу приходилось отстаивать свою независимость. Считаться пришлось съ врагомъ случайнымъ, драться гдѣ-то на окраинѣ, не отдавая себѣ яснаго отчета о причинахъ войны и о возможныхъ ея послѣдствіяхъ. Пришлось сражаться при рядѣ неудачъ, при ясномъ сознаніи преимущества противника, убѣждаясь ежедневно въ томъ, какъ всѣ части военнаго дѣла плохо у насъ поставлены. И тѣмъ не менѣе какъ чиста, проста, незлобива, свѣтла и покорна была душа этого безыменнаго героя, проникнутаго однимъ чувствомъ долга и любви къ родинѣ! Толстой назвалъ это чувство „стыдливымъ", лежащимъ въ глубинѣ души каждаго. Силу русскаго народа онъ назвалъ непоколебимой, и онъ утверждалъ, что люди эти дѣлаютъ все такъ просто, такъ мало напряженно и усиленно, что они еще могутъ сдѣлать во сто разъ больше. Къ великому испытанію никто не готовилъ этого героя, онъ самъ незамѣтно для чужого глаза воспиталъ въ себѣ стойкаго гражданина, и образованный человѣкъ, такъ много разсуждавшій и говорившій о народѣ, могъ съ удивленіемъ сказать: „какъ только все это могло быть достигнуто безъ моего вмѣшательства и безъ моей помощи?" И, дѣйствительно, подвигъ солдата былъ совершенъ почти безъ участія интеллигентной силы, одной лишь силою духа простого народа. У художника была эта тайная мысль заставить образованнаго человѣка подумать о томъ, какъ ничтожно его участіе въ великомъ національномъ дѣлѣ, съ которымъ, конечно, не можетъ сравниться никакое дѣло, дающее образованному человѣку такъ часто поводъ думать о своихъ заслугахъ передъ отечествомъ. Въ поясненіе этой мысли написаны Толстымъ тѣ страницы въ „Севастопольскихъ" разсказахъ, гдѣ онъ говоритъ о русскомъ аристократизмѣ, „котораго въ Россіи не должно существовать", и о разныхъ мало симпатичныхъ офицерскихъ типахъ. Такихъ, конечно, въ любой арміи бываетъ не мало, но здѣсь они умышленно выдвинуты впередъ съ ихъ тщеславіемъ, какъ главнымъ рычагомъ дѣйствія. Конечно, не одни лишь тщеславные люди показаны Толстымъ въ офицерскомъ мундирѣ. Есть немало скромныхъ и очень симпатичныхъ лицъ среди образованнаго начальства, которые умѣютъ исполнять свой долгъ и умирать, но все-таки получается такое

впечатлѣніе, что все на своихъ плечахъ выноситъ солдатъ и его стихійная сила, физическая и нравственная... Если мы припомнимъ, что Толстой уже въ тѣ годы, когда онъ самъ жилъ на бастіонахъ Севастополя, былъ въ душѣ противникомъ войны вообще, что военнаго пыла, жажды военнаго подвига въ немъ совсѣмъ не было, то глубокая искренность, съ какой написаны его военные разсказы, показываетъ намъ, какое сильное впечатлѣніе произвелъ на него тотъ безыменный герой, котораго онъ въ первый разъ увидалъ дѣйствующимъ, герой на полѣ брани, но рожденный въ деревнѣ. Вѣдь солдатъ былъ тотъ же русскій крестьянинъ, но только на этотъ разъ живущій не въ мирной обстановкѣ подневольнаго труда, а въ обстановкѣ труда боевого: перемѣна условій жизни не повліяла на его характеръ, а между тѣмъ она могла повліять въ виду ихъ суровости. Крестьянскій трудъ былъ и тяжелый и полный разныхъ страданій, но онъ не исключалъ возможности проявленія нѣжныхъ и мирныхъ чувствъ къ кругу семьи и въ обстановкѣ сельской жизни; жизнь солдата стараго времени, солдата, оторваннаго отъ семьи и десятки лѣтъ остающагося въ строю при очень жестокомъ режимѣ, не могла настраивать умы и сердца мирно и благодушно. А между тѣмъ всѣ солдатскіе типы, выведенные въ разсказахъ Толстого, одарены такимъ мягкимъ сердцемъ при всей ихъ суровой внѣшности. И крестьянская и христіанская душа возсоздана художникомъ въ полномъ согласіи съ правдой жизни. Если Толстой молчалъ о томъ, что не подлежало огласкѣ, онъ все-таки говорилъ чистую правду, когда рисовалъ солдатъ такими покорными своему долгу людьми, проникнутыми такимъ глубокимъ сознаніемъ величія и святости своего дѣла, кроваваго дѣла, которое не исключаетъ незлобивости и смиренія христіанской души.

Эта общая характеристика солдата стараго времени повторена и въ „Войнѣ и мирѣ“. Въ этой военной эпопеѣ рамки картины значительно раздвинуты, на сцену выведены лица, за которыми исторія признала права на титулъ героевъ, изображена великая героическая борьба народовъ, борьба колоссальнаго значенія для судьбы нашей родины, и опять чувствуется, что все это великое дѣло, связанное въ вашемъ представленіи съ именами опредѣленныхъ лицъ, было совершено не ими, а безыменной народной массой. Сами герои оказывались героями лишь тогда, когда ихъ желанія и помыслы были согласованы съ массовой мыслью и волей. Художникъ, когда онъ писалъ „Войну и миръ“, желалъ во что бы то ни стало доказать одну заранѣе облюбованную мысль о томъ, что роль героя во всѣхъ героическихъ дѣлахъ ни-

чтожна—и потому онъ принизилъ вождей, имена которыхъ исторія сохранила, и возвеличилъ солдата, имя котораго исчезло. Но опять, возвеличивая солдата, художникъ не дѣлалъ изъ него показного героя: онъ мало говорилъ о подвигахъ его храбрости и отваги, не воспѣвалъ его силы физической, не славословилъ удали, находчивости и иныхъ военныхъ добродѣтелей солдатскихъ, какъ это часто, почти всегда, дѣлали всѣ писатели, которые рисовали картины военнаго быта. Какъ въ „Севастопольскихъ" разсказахъ, такъ и въ „Войнѣ и мирѣ", солдатъ былъ молчаливый скромный герой, ничѣмъ не гордящійся, далекій отъ самомнѣнія, и творящій въ смиреніи душевномъ свой великій святой подвигъ: опять передъ нами незлобивое, чистое и ясное сердце, религіозно настроенное и выносливое подъ огромной тяжестью долга, на немъ лежащаго.

Знаменателенъ въ этомъ отношеніи одинъ типъ,—образъ скромнаго и съ виду совсѣмъ незначительнаго человѣка, затеряннаго въ пестрой толпѣ блестящихъ свѣтскихъ и военныхъ героевъ. Это—образъ столь нашумѣвшаго въ критикѣ Платона Каратаева. Типъ этотъ, нѣсколько надуманный и слишкомъ общій, былъ созданъ Толстымъ для подтвержденія одной изъ его любимыхъ мыслей о нравственной чистотѣ и умственной ясности простой души, которая какъ-то сразу овладѣваетъ сложными истинами жизни, къ которымъ образованный человѣкъ подходитъ съ большимъ трудомъ, послѣ многихъ и долгихъ колебаній. Если въ художественномъ смыслѣ типъ Каратаева вышелъ условнымъ и не вполнѣ жизненнымъ, то его идейное значеніе отъ этого нисколько не проиграло. Въ немъ крестьянская душа и солдатская [Каратаевъ, вѣдь, все-таки при своемъ исключительномъ положеніи—участникъ великой войны] какъ-то слились воедино, и онъ остался яркимъ воплощеніемъ того общаго взгляда на народную массу, по которому эта масса, поставленная на стражѣ великаго и святого дѣла, при всей своей умственной тьмѣ,—обладаетъ все-таки несокрушимой нравственной силой, гуманнымъ сердцемъ и яснымъ умомъ.

Это и былъ общій выводъ, который получился изъ наблюденій художника-реалиста надъ душой нашего солдата стараго времени. Выводъ этотъ сводился къ уже намъ извѣстной увѣренности въ наличности великихъ духовныхъ силъ, таящихся въ народѣ, вынесшемъ на своихъ плечахъ всю тяжесть долголѣтней подневольной, крѣпостной жизни.

Съ тѣхъ поръ какъ были написаны Толстымъ его военные разсказы, въ нашей изящной словесности не попадались болѣе или менѣе цѣльныя и обобщающія картины военнаго быта. Въ сочиненіяхъ многихъ художниковъ-реалистовъ, какъ, напри-

мѣръ, у Писемскаго и Салтыкова, мы встрѣчаемся съ отдѣльными сценами, въ которыхъ дѣйствующимъ лицомъ является новобранецъ-рекрутъ или солдатъ въ строю. Въ большинствѣ случаевъ такія сцены воспроизведены въ мрачныхъ краскахъ или, какъ у другихъ писателей, онѣ выдержаны въ старомъ шаблонно патріотическомъ стилѣ.

И въ памятникахъ литературы болѣе къ намъ близкой по времени психологія военнаго на разныхъ ступеняхъ военной іерархіи освѣщена пока еще очень слабо.

Но изъ всего случайнаго, что мы узнаемъ въ литературѣ и въ журналистикѣ и изъ разныхъ иныхъ источниковъ—вытекаетъ пока тотъ же общій выводъ, уловленный художникомъ-реалистомъ еще полстолѣтіе тому назадъ, въ эпоху наиболѣе тяжелую, какую переживало наше военное сословіе,—а именно увѣренность въ наличности огромной нравственной силы въ солдатскихъ рядахъ.

Въ послѣдній пережитой нами годъ многіе изъ насъ утратили всякую вѣру въ такую нравственную силу солдатской души. Рядъ невѣроятныхъ безчинствъ, жестокостей и измѣнъ военному долгу въ арміи привели многихъ изъ насъ къ самой суровой и негодующей оцѣнкѣ солдата, какъ человѣка. Не торопитесь съ такой оцѣнкой. Помните, что революція—исключительное событіе въ жизни каждаго народа, и что къ дѣятелямъ революціи нельзя примѣнять обычной нравственной мѣрки; подождите, когда будетъ опубликованъ матеріалъ, освѣщающій солдатскую жизнь во всей ея правдѣ за всѣ годы страшной народной бойни, и въ особенности не упускайте изъ виду тѣхъ поистинѣ великихъ подвиговъ въ защиту родины и военнаго знамени, подвиговъ, которые были совершены нашимъ солдатомъ въ первые три годы войны, до революціи.

Писатель очень скоро приступитъ къ обработкѣ этой страшной темы—о переворотѣ, который произошелъ въ душѣ солдата—и если писатель будетъ правдивъ, онъ убережетъ васъ отъ поспѣшныхъ безнадежно печальныхъ и для васъ самихъ оскорбительныхъ выводовъ.

XIV.

Бытъ чиновничій. „Губернскіе очерки“ Щедрина-Салтыкова.

Перемѣна, происшедшая въ нашемъ общественномъ строѣ со времени освобожденія крестьянъ, должна была, конечно, очень сильно отозваться на внѣшней и внутренней сторонѣ жизни чиновнаго круга. Положимъ, реформа коснулась прежде всего помѣщиковъ и крестьянъ, но она не могла не отразиться

и на жизни того класса, который является органомъ законодательной, исполнительной и судебной власти. Въ дѣлѣ проведенія реформъ въ жизнь, въ приноровленіи всѣхъ вытекающихъ изъ нихъ новыхъ явленій общественной жизни къ укладу жизни старой, первую и самую значительную роль должны были играть чиновники разныхъ ранговъ, отъ высшихъ, стоящихъ у руля правленія, до самыхъ низшихъ, исполнителей разныхъ приказаній.

Съ внѣшней стороны, однако, въ жизни чиновничества, какъ она продолжала слагаться при новыхъ условіяхъ, никакихъ рѣзкихъ перемѣнъ не произошло. Созданы были, конечно, новыя должности, вызываемыя потребностью новаго порядка вещей, усложнялась работа, связанная съ должностями, уже существующими, но самый образъ жизни чиновника—человѣка на опредѣленномъ жалованіи при исполненіи закономъ опредѣленныхъ обязанностей—былъ защищенъ отъ перемѣнъ внѣшнихъ. Изъ всѣхъ слоевъ нашего общества, жизнь которыхъ была затронута реформами, чиновный классъ во всѣхъ вѣдомствахъ оставался наиболѣе консервативнымъ по образу жизни, если не считать, конечно, судебнаго вѣдомства, совсѣмъ заново перестроеннаго и потому въ новомъ своемъ видѣ никакихъ традицій не имѣвшаго. Во всѣхъ остальныхъ областяхъ чиновной жизни, въ областяхъ административныхъ и исполнительныхъ—старый внѣшній строй продолжалъ жить, хотя ему и приходилось постоянно считаться со многимъ новымъ и въ самой жизни, и въ сферѣ тѣхъ обязанностей, какія ложились теперь на чиновника. Если внѣшній обликъ жизни чиновнаго класса измѣнился мало—настолько мало, что описаніе дня дѣловой, семейной и личной жизни чиновника большого или малаго полета, какъ оно дано въ памятникахъ литературы первой половины вѣка, почти совпадаетъ даже въ мелочахъ съ тѣмъ описаніемъ, какое мы имѣемъ въ разсказахъ даже современныхъ,—то огромная перемѣна должна была произойти и произошла въ мысляхъ и чувствахъ этихъ носителей власти, свидѣтелей и участниковъ цѣлаго переворота въ нашей исторіи. Не могли же годы реформъ и связанное съ ними броженіе общественной мысли не отозваться на психическомъ мірѣ тѣхъ лицъ, которыя должны были все новое, что врывалось въ жизнь, пригонять къ старинѣ и мирить съ ней? Много самыхъ разнообразныхъ душевныхъ трагедій, драмъ и комедій долженъ былъ пережить чиновникъ: старикъ или пожилой на службѣ временъ новыхъ; молодой, дѣлающій карьеру и находящійся подъ постояннымъ страхомъ—какъ бы, примѣняясь къ новому времени, не сломать этой карьеры; и, наконецъ, молодой человѣкъ, признавшій, что со старымъ надо покончить и, рискуя

ежечасно карьерой, имѣть въ виду не чиновную рутину, а благо государства.

Художникъ съ давняго времени выбиралъ чиновника мишенью своихъ нападокъ. Въ XVIII вѣкѣ наши сатирики и моралисты не скупились на обличеніе всяческихъ чиновничьихъ пороковъ, преимущественно, конечно, взяточничества. Никакой картины жизни чиновниковъ, никакой попытки историческаго и психологическаго истолкованія душевнаго ихъ міра писатели тогда не давали. Они были заняты описаніемъ и оцѣнкой отдѣльныхъ привычекъ и замашекъ, господствующихъ въ чиновныхъ кругахъ, и моральными проповѣдями на эти темы. По тому огромному количеству страницъ, которыя были написаны сатириками въ обличеніе разныхъ пороковъ чиновнаго класса, нельзя себѣ составить понятія о чиновникѣ, какъ о человѣкѣ, выросшемъ въ опредѣленныхъ условіяхъ окружающей его жизни. Онъ передъ нами почти всегда олицетвореніе какихъ-нибудь дурныхъ качествъ, спеціально развитыхъ въ его средѣ. И, кромѣ того, онъ почти всегда мелкая сошка. Старая сатира и XVIII и первой половины XIX вѣка была очень осторожна и пуглива. Чиновничество находилось въ тѣснѣйшей связи съ верховной властью, и удары по болѣе или менѣе высокопоставленнымъ чиновникамъ косвенно отражались на самомъ высшемъ начальствѣ. Писатель это помнилъ и въ своихъ нападкахъ не шелъ дальше опредѣленныхъ границъ, какъ въ самой чиновной сферѣ, такъ и въ кругѣ тѣхъ пороковъ, на которые нападалъ.

Положеніе этого вопроса въ литературѣ не мѣнялось на протяженіи всего дореформеннаго времени, несмотря на то, что въ рядахъ обличителей чиновничества стоялъ Гоголь... Гоголь среди всѣхъ художниковъ первой половины вѣка былъ по преимуществу бытописателемъ чиновнаго круга, и въ его комедіяхъ и въ „Мертвыхъ душахъ“ дана наиболѣе полная картина жизни чиновника стараго времени. Но опять-таки и Гоголь былъ стѣсненъ въ своемъ творчествѣ чисто-внѣшними соображеніями. Его чиновники тѣмъ порядочнѣе и нравственно чище, чѣмъ выше рангъ, въ какомъ они находятся, и писатель вовсе не кривилъ душой, когда позволилъ себѣ такое отступленіе отъ истины. Онъ былъ, дѣйствительно, убѣжденъ, что высшее начальство благомысляще, и лишь рядовые исполнители закона виноваты въ его искаженіи, и на этихъ рядовыхъ онъ и набрасывался, перемѣщая ихъ притомъ въ глухую провинцію. Какъ художникъ перваго ранга, Гоголь создавалъ, однако, живыхъ людей и тѣмъ отличался отъ всѣхъ сатириковъ, которые умѣли ри-

совать лишь ходячіе пороки въ лицахъ. Какъ большой психологъ, Гоголь дополнилъ, кромѣ того, прежнюю картину чиновничьей жизни исторической и психологической перспективой, которая совсѣмъ отсутствовала у старыхъ сатириковъ. Выводя на сцену не олицетворенныя понятія, а людей, художникъ долженъ былъ позаботиться о томъ, чтобы ихъ поступки и сужденія нашли себѣ объясненіе въ ихъ характерахъ, выработанныхъ самой жизнью, ея историческими и бытовыми условіями. И Гоголь первый ввелъ насъ въ кругъ интимной жизни чиновника и въ разныя мелочи того быта, среди которыхъ вырасталъ чиновникъ, иногда съ дѣтства. Свою рѣчь очень суроваго прокурора Гоголь нерѣдко заканчивалъ указаніемъ на смягчающія вину обстоятельства, и, вмѣсто нравственнаго наставленія, получался разсказъ о переживаніяхъ живой души человѣческой.

Этотъ пріемъ возможно тщательнѣе мотивировать поступки и сужденія дѣйствующихъ въ разсказѣ лицъ былъ усвоенъ и наслѣдниками Гоголя, нашими художниками-реалистами второй половины вѣка. Въ тѣхъ картинахъ жизни чиновныхъ круговъ, которыя были ими написаны, мы, несомнѣнно, имѣемъ цѣлый рядъ историческихъ документовъ, вѣрно отражающихъ правду жизни того многочисленнаго класса, который съ половины XIX вѣка попалъ въ такое трудное положеніе. Художнику открывалось новое и обширное поле для наблюденія.

Писатель прежде всего въ выборѣ матеріала становился болѣе свободнымъ. Обличеніе чиновника не только мелкаго полета, но и стоящаго на довольно отвѣтственномъ посту, стало—послѣ всеобщихъ разговоровъ объ обновленіи русской жизни—занятіемъ, на которое нельзя было уже смотрѣть, какъ на нѣчто дерзкое и вызывающее. Столько очень серьезныхъ общественныхъ и политическихъ вопросовъ было поднято въ литературѣ, что сатира на исполнителей власти казалась неопасной при наличности довольно смѣлаго обсужденія самыхъ принциповъ, которыми эта власть держалась. Кромѣ того, съ наступленіемъ новаго царствованія въ 1855 году, само правительство призвало общество себѣ на помощь въ дѣлѣ оздоровленія нашей общественной жизни и предлагало ему самому какъ бы составить реестръ всѣхъ тѣхъ изъяновъ и пороковъ, которые въ нашей жизни имѣлись, для скорѣйшаго и посильнаго ихъ исправленія. Наши художники-реалисты и трудились усердно надъ составленіемъ такого документальнаго и правдиваго списка всѣхъ нашихъ общественныхъ грѣховъ. Среди нихъ грѣхи чиновнаго круга должны были, конечно, оказаться на первомъ

мѣстѣ, такъ какъ, въ сущности, во всѣхъ грѣхахъ нашей старой жизни наиболѣе ощутимымъ и видимымъ виновникомъ являлся именно чиновникъ, который стоялъ у всѣхъ колесъ государственной машины и давалъ ей ходъ и направленіе. При перечнѣ такихъ „виновныхъ" нельзя было ограничиться лишь мелкими служащими.

Художнику-реалисту пришлось на каждомъ шагу сталкиваться съ чиновникомъ, говорилъ ли писатель о жизни простонародья, о мѣщанскомъ и купеческомъ бытѣ или о сферахъ, болѣе или менѣе надъ другими возвышавшихся. Чиновники-законодатели и чиновники-исполнители всѣхъ рангов и слоевъ общества, чиновники старой формаціи и новой, люди, защищавшіе старину, изыскивающіе компромиссы между старымъ и новымъ, люди съ новыми идеалами—толпой проходили мимо наблюдателя, который видѣлъ въ нихъ не только мишень для сатиры или обличенія, но видѣлъ въ нихъ людей, душевный и умственный складъ которыхъ представлялъ огромный интересъ для психолога. Въ своемъ изученіи этихъ людей художникъ, конечно, не ограничивался только историческими ссылками и психологическими этюдами; онъ пользовался своими знаніями и наблюденіями какъ предлогомъ для проведенія очень опредѣленной общественной тенденціи, направленной къ искорененію стараго зла и къ установленію новыхъ болѣе справедливыхъ порядковъ. При такомъ взглядѣ на свою задачу художникъ-реалистъ избѣгалъ обобщать тѣ пороки, которые въ чиновной средѣ были господствующими, какъ это дѣлалъ писатель первой половины вѣка. Реалиста интересовало не обще-человѣческое въ этихъ порокахъ, а то мѣстное, частное, чисто-русское, что произростало на самобытной русской почвѣ и искажало именно русскую жизнь.

Удивительно разнообразную и пеструю картину нашей чиновной жизни далъ художникъ, который теперь, иногда незамѣтно для самого себя, превращался въ публициста.

Въ сочиненіяхъ одного писателя этотъ общественный подъемъ мысли былъ особенно силенъ, и сочиненія его остаются пока самымъ цѣннымъ историческимъ изслѣдованіемъ жизни русскаго чиновничества въ эпоху перелома нашей старой общественной жизни и въ первыя десятилѣтія жизни новой. Салтыкову-Щедрину, уже извѣстному вамъ по его „Пошехонской старинѣ", обязаны мы этимъ изслѣдованіемъ. Никто изъ нашихъ писателей не ставилъ этой темы такъ широко, какъ онъ. Онъ въ данномъ случаѣ былъ, несомнѣнно, сатирикомъ, т.-е. смѣшная и некрасивая сторона

чиновной жизни привлекала его вниманіе больше, чѣмъ сторона болѣе свѣтлая; но, давая полный ходъ своему сатирическому настроенію, Салтыковъ оставался неизмѣнно „изслѣдователемъ“ той жизни, надъ которой смѣялся и которую обличалъ.

Изслѣдователемъ и историкомъ его можно назвать потому, что онъ не довольствовался лишь изображеніемъ драматическихъ положеній и типовъ, которые возбуждали его смѣхъ, злость и негодованіе, но всегда обставлялъ картину подробнымъ бытовымъ комментаріемъ и глубокимъ анализомъ психическихъ движеній не общечеловѣческаго только характера, а именно такихъ душевныхъ движеній, которыя родились и были воспитаны русской дѣйствительностью со временъ давнихъ. Щедринъ-Салтыковъ не ограничивался какимъ-нибудь опредѣленнымъ кругомъ чиновнаго сословія; онъ изучалъ этотъ общественный классъ во всемъ его объемѣ, вплоть до людей, стоящихъ на весьма высокихъ и отвѣтственныхъ постахъ; и притомъ онъ всегда былъ необычайно смѣлъ и откровененъ въ своихъ рѣчахъ. Его рѣчь была часто „эзоповой“ рѣчью, какъ тогда ее окрестили, т.-е. о многомъ сатирикъ говорилъ иносказательно, глухими намеками, но все-таки всегда настолько ясными, что мысль его была всѣмъ понятна, и такое иносказаніе только придавало ей еще бо̀льшую остроту. Нерѣдко Салтыкова упрекали въ томъ, что, несмотря на стремленіе быть правдивымъ, онъ часто сбивался на карикатуру и рисовалъ не людей, а гримасу, искаженную въ сторону смѣшного и безобразнаго. Застраховать себя вполнѣ отъ возможности „пересолить“, какъ говорится, ни одинъ сатирикъ не можетъ, но въ большинствѣ случаевъ читателю казалась карикатурой та дѣйствительность, существованіе которой онъ просто не могъ себѣ представить, но которая на самомъ дѣлѣ несомнѣнно существовала. Уродства, странности и нелѣпости жизни того круга людей, о которыхъ Салтыковъ говорилъ, могли многимъ мало знакомымъ съ этими кругами казаться невѣроятными и вымышленными, но сама жизнь подтверждала правоту словъ сатирика, и подтверждала ее не только въ тѣ годы, когда онъ писалъ свои произведенія, но и значительно позже.

Почти во всѣхъ своихъ сочиненіяхъ Салтыкову приходилось касаться чиновнаго круга, такъ какъ всѣ общественные вопросы того времени неизбѣжно должны были его столкнуть съ этими людьми, отъ образа мыслей и настроенія которыхъ зависѣла если не постановка этихъ вопросовъ, то во всякомъ случаѣ ихъ частичное рѣшеніе.

Для ознакомленія съ сатирой Салтыкова вы можете по данному вопросу ограничиться уже указаннымъ сборникомъ „Губернскіе очерки", и затѣмъ дополнить это чтеніе сатирами „Помпадуры и помпадурши", „Господа Ташкенцы" и „Исторія одного города". Все прославленное „зло бюрократіи", о которомъ такъ много говорила наша публицистика, выступитъ передъ вами ярко наружу и, сравнивая старую сатиру на чиновниковъ съ этими бытовыми сценами и обличительными памфлетами — вы увидите, какъ развернулось и углубилось наше общественное сознаніе и какъ зорокъ сталъ глазъ художника.

Въ этой сатирѣ вы не досчитаетесь, конечно, портретовъ тѣхъ чиновниковъ, которыхъ родина можетъ помянуть добромъ [а такіе были], но зато тѣ чиновники и бюрократы, которые губили дѣло общественнаго строительства — они предстанутъ передъ вами во всей ихъ наготѣ.

XV.

Бытъ купеческій в пьесахъ Островскаго.

Представитель купеческаго сословія былъ на страницахъ нашей изящной словесности довольно рѣдкимъ и незамѣтнымъ гостемъ въ первую половину XIX столѣтія. Художникъ-сентименталистъ и романтикъ проходилъ мимо этой типичной фигуры, въ общественной жизни довольно видной, проходилъ главнымъ образомъ потому, что не находилъ въ ней ни достаточнаго количества нѣжныхъ чувствъ, ни достаточной красоты во внѣшнихъ ея очертаніяхъ. При маломъ знакомствѣ съ жизнью и при маломъ желаніи внимательно изучать ее, писатель не сразу заинтересовался своеобразнымъ нравственнымъ и умственнымъ складомъ ума и сердца этихъ людей, уже значительно выдѣлившихся изъ общей сѣрой народной массы, но огражденныхъ пока еще отъ культурнаго слоя цѣлой стѣной невѣжества и предразсудковъ. Писатель XVIII вѣка и первой половины XIX позволялъ себѣ только изрѣдка подсмѣиваться надъ смѣшными сторонами купеческаго быта и надъ особенно яркими типами чудаковъ и неучей изъ купцовъ. Не пропускалъ художникъ также случая обличать ихъ корыстолюбіе. Но уже въ дореформенную эпоху писатель чувствовалъ, что эта купеческая среда необычайно богата своеобразными, самобытными типами, и мужскими и женскими, что для художественно комическаго она можетъ дать необычайно богатый матеріалъ, цѣнный той чисто-русской національной окраской, какая

въ этомъ комизмѣ такъ ярко проступала наружу. Изображеніемъ этой смѣшной стороны художникъ первоначально и довольствовался, пока ему не открылась рядомъ съ ней другая сторона — болѣе интимная — цѣлый рядъ душевныхъ переживаній, нерѣдко очень сложныхъ, при анализѣ которыхъ художнику пришлось считаться и съ драматической и даже съ трагической стороной жизни. Эта интимная, обильная многими нѣжными чувствами душевная жизнь, проявлявшаяся нерѣдко въ угловатыхъ и грубыхъ формахъ, открылась писателю тогда, когда онъ, какъ художникъ-реалистъ, приступилъ къ тщательной и осмотрительной разработкѣ новой темы.

Наибольшими и самыми цѣнными литературными открытіями въ области жизни нашего купечества мы обязаны А. Н. Островскому.

Его горизонтъ, какъ художника, не ограничился, однако, только этой средой, обѣщавшей для писателя наибольшее количество новаго матеріала. Вы доставите себѣ большое удовольствіе, если, располагая временемъ, прочтете не только тѣ его пьесы, въ которыхъ выведена жизнь купечества, но и другія [за исключеніемъ историческихъ—въ которыхъ онъ имѣлъ болѣе сильныхъ соперниковъ], гдѣ дѣйствующими лицами являются люди иныхъ общественныхъ круговъ. Рѣдко кто изъ нашихъ писателей обладалъ способностью рисовать такіе законченные выпуклые типы, какъ онъ. Тѣ портреты помѣщиковъ, чиновниковъ, финансовыхъ тузовъ, мѣщанъ, солдатъ, которыми полны его комедіи, могутъ стать наравнѣ съ лучшими образцами реальной словесной живописи. Лучше всего съ этими типами знакомиться въ театрѣ, и не надо упускать случая такого знакомства, такъ какъ, къ сожалѣнію, пьесы Островскаго начинаютъ мало-по-малу сходить со сцены, вытѣсняемыя современнымъ репертуаромъ менѣе совершенной литературной пробы.

Значеніе Островскаго, какъ драматурга, со сцены также виднѣе, чѣмъ при чтеніи. Островскому мы, несомнѣнно, обязаны совсѣмъ особой формой національной нашей комедіи. Онъ далъ намъ настоящую художественную бытовую комедію. Въ XVIII вѣкѣ и при Грибоѣдовѣ эта комедія почти совпадала съ сатирой въ лицахъ. Гоголю удалось соединить и сатиру и комедію въ одномъ художественномъ цѣломъ. Его комедіи, въ особенности „Женитьба“ и мелкія пьесы— верхъ совершенства въ техническомъ отношеніи и въ цѣльности и закругленности образовъ. Но при сохраненіи всей жизненной правды, комедіи Гоголя въ психологической мотивировкѣ, не исключая „Ревизора“, допускали довольно значи-

тельный уклонъ въ сторону предумышленнаго, для извѣстныхъ эффектовъ скомпанованнаго дѣйствія. У Островскаго и развитіе драматическаго дѣйствія, и обрисовка типовъ вполнѣ естественны, сатирическій элементъ есть, но онъ не подчеркнутъ такъ рѣзко, и передъ нами просто картинки жизни и участники разныхъ житейскихъ столкновеній, которые близки намъ именно какъ люди, а не какъ дѣйствующія лица, имѣющія намъ сказать что-нибудь для насъ очень полезное. То, что отгадалъ Гоголь и что онъ намѣтилъ, было на сценѣ завершено Островскимъ.

Оставаясь большимъ мастеромъ въ обрисовкѣ типовъ, изъ какихъ бы общественныхъ слоевъ они ни были взяты, Островскій въ исторіи нашей изящной словесности прежде всего—бытописатель жизни купечества. Онъ зналъ ее вдоль и поперекъ и съ юношескихъ лѣтъ до старости внимательно слѣдилъ за ней. Въ силу особыхъ семейныхъ условій онъ имѣлъ случай присмотрѣться къ этой жизни еще въ самомъ раннемъ дѣтствѣ. Выросъ онъ въ семьѣ бѣдной, и бѣдные люди—изъ духовнаго, купеческаго, чиновнаго и мѣщанскаго круга стали очень рано его добрыми знакомыми. Ему не пришлось дѣлать надъ собой никакихъ усилій, чтобы свыкнуться съ ихъ міросозерцаніемъ и разгадать ихъ душу. Служеніе литературѣ Островскій избралъ дѣломъ своей жизни, и при неустанномъ, не огражденномъ матеріальной обезпеченностью, трудѣ, проработалъ онъ всю свою жизнь, какъ сотрудникъ разныхъ журналовъ, а подъ конецъ жизни какъ руководитель нашей казенной сцены. Какъ писатель, Островскій не принадлежалъ ни къ какому опредѣленному лагерю, ни консерваторовъ [въ лагерь которыхъ его иногда хотѣли зачислить наши критики], ни къ прогрессивно либеральному [который также не прочь былъ причислить его къ своимъ]. Онъ былъ просто наблюдатель, очень тонкій и зоркій; писалъ онъ психологическіе этюды въ лицахъ, отмѣчая въ людяхъ и добрыя и дурныя стороны характера, и умъ и глупость, и невѣжество и тяготѣніе къ свѣту, и пороки и добродѣтели. Людей, которыхъ онъ выводилъ на сцену, онъ любилъ какъ людей, и жалѣлъ ихъ—относясь, конечно, отрицательно къ тѣмъ сторонамъ ихъ жизни, которыя искривляли ихъ умъ и портили характеръ. Но вѣра въ этихъ людей, которыхъ онъ не щадилъ въ своемъ судѣ надъ ними, его не покидала. „Темное царство“, которое онъ описывалъ [такъ назвалъ Добролюбовъ купеческую среду—въ изображеніи Островскаго], было вовсе не царствомъ безнадежно на тьму осужденныхъ, и всѣ эти купцы, которые въ пьесахъ Островскаго возбуждаютъ въ насъ смѣхъ и жалость, въ самой жизни, въ

относительно весьма короткое время доказали намъ, сколько здоровыхъ и большихъ силъ въ ихъ средѣ таится. Въ самомъ дѣлѣ, за протекшее полстолѣтіе со времени открытія Островскимъ „Темнаго царства"—въ общественномъ положеніи купечества произошли большія перемѣны.

Въ дореформенную эпоху общественная роль купечества была очень невидной. Купечество жило своими узкими, классовыми интересами и въ идейной и культурной жизни страны не принимало почти никакого участія. А въ наше время именно въ области идейнаго и культурнаго развитія страны и въ сферѣ развитія экономическаго и промышленнаго купечеству принадлежитъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Сколько лицъ, вышедшихъ изъ купеческаго сословія, лицъ, одаренныхъ большимъ талантомъ, дѣйствуетъ на самыхъ разнообразныхъ аренахъ общественной жизни, какъ художники, ученые, писатели, критики, общественные и политическіе дѣятели... Если въ былое время дворянство было тѣмъ сословіемъ, которое больше другихъ работало на пользу просвѣщенія и культуры страны, то купечество является теперь достойнымъ соревнователемъ дворянства въ этомъ дѣлѣ и поставляетъ для жизни не меньшее число интеллигентныхъ работниковъ... Нельзя не удивляться той быстротѣ, съ какой произошло это перерожденіе „Темнаго царства". Конечно, многія типичныя черты ума и характера, которыя были отмѣчены Островскимъ, остались и до сего дня не только въ полукультурныхъ купеческихъ семьяхъ [каковыхъ и теперь не мало], но и въ кругѣ интеллигентнаго купечества. Кромѣ того, купечество за послѣднія пятьдесятъ лѣтъ выдѣлило изъ своей среды [начиная приблизительно съ 70-хъ годовъ XIX вѣка] цѣлый особый слой людей, которымъ духовные и культурные интересы были чужды, и которые гнались въ жизни только за однимъ, за матеріальнымъ благополучіемъ, пріобрѣтаемымъ иногда съ большой грубостью, циничной откровенностью и жестокостью въ отношеніи къ ближнимъ. Это хищническое направленіе создало цѣлый рядъ новыхъ типовъ, отъ такъ называемыхъ „чумазыхъ" людей и разныхъ „Колупаевыхъ" и „Разуваевыхъ", какъ ихъ звали, до лощеныхъ и свѣтскихъ биржевыхъ королей и валетовъ. Наша изящная словесность отмѣтила всѣ эти перемѣны, происходившія въ жизни купеческаго слоя, какъ въ сторону все болѣе и болѣе возраставшей интеллигентности и развивавшагося общественнаго чувства, такъ и въ сторону развитія чисто-эгоистическихъ инстинктовъ. Со временемъ, если васъ заинтересуетъ этотъ вопросъ о ростѣ купечества, какъ общественной силы, много очень цѣннаго и исторически вѣрнаго матеріала дадутъ вамъ произведенія

Салтыкова [для характеристики людей, стремящихся къ наживѣ] и Боборыкина [для характеристики повышенія интеллигентности въ разныхъ кругахъ купеческаго общества]. Но для вѣрнаго пониманія того процесса жизни, который изложенъ въ повѣстяхъ, романахъ и пьесахъ писателей, слѣдившихъ за жизнью купечества въ болѣе близкое къ намъ время,—тщательное ознакомленіе съ сочиненіями Островскаго обязательно.

Въ нихъ вы найдете безпристрастный очеркъ міросозерцанія и душевнаго склада людей, которые не застыли въ опредѣленномъ положеніи, не осуждены на душевную косность, на прозябаніе, пока не умрутъ. Въ душѣ этихъ людей, среди которыхъ такъ много и смѣшныхъ, и грубыхъ, и порочныхъ—происходитъ неустанная борьба двухъ началъ—начала злого и начала добраго, и если зло въ большинствѣ случаевъ осиливаетъ добро или очень темнитъ его, то это нисколько не исключаетъ возможности душевнаго и умственнаго перерожденія. На эту точку зрѣнія я совѣтовалъ бы вамъ стать, когда вы будете знакомиться съ пьесами Островскаго. Нѣтъ ничего легче, какъ по этимъ пьесамъ составить перечень разныхъ смѣшныхъ сторонъ купеческой жизни, составить списокъ всевозможныхъ пороковъ и чудачествъ, столь обычныхъ въ купеческой средѣ стараго времени. Такое вылавливаніе всевозможныхъ отступленій отъ общей нравственной нормы, положимъ, дастъ вамъ яркую картину очень своеобразной и отнюдь не привлекательной жизни, но истиннаго замысла художника и истиннаго его отношенія къ изображаемой имъ жизни не откроетъ. Въ тѣ годы, когда пьесы Островскаго появились на подмосткахъ, въ годы, когда обличеніе несовершенствъ и изъяновъ нашей жизни было въ такомъ ходу, зритель и читатель обращалъ преимущественно вниманіе на отрицательныя стороны этого „темнаго" царства, и очень рѣдки были люди, которые въ этомъ мракѣ угадывали и видѣли нѣкоторый просвѣтъ. Для насъ мрачныя стороны этой самобытной русской жизни сохраняютъ, конечно, свое историческое значеніе, но несравненно большій интересъ представляетъ тотъ процессъ борьбы двухъ началъ тьмы и свѣта, добра и зла, который обезпечилъ этой средѣ ея конечное просвѣтлѣніе.

Когда вы будете слѣдить по пьесамъ Островскаго за этой борьбой двухъ началъ—вы найдете слѣды ея почти въ каждой пьесѣ. На вашихъ глазахъ будутъ процвѣтать всякіе пороки и нравственныя несовершенства. Погоня за наживой, культъ денежнаго сундука, самолюбованіе богатаго человѣка, холопство человѣка въ денежномъ отношеніи зависимаго,

самодурство во всѣхъ видахъ, гнетъ этого самодурства надъ ближними, черствость сердца, готоваго истязать даже дорогихъ и любимыхъ людей, лишь бы не столкнуться съ возраженіемъ, семейный деспотизмъ, который думаетъ укрѣпить семейныя начала, а на самомъ дѣлѣ ихъ разрушаетъ, полное непониманіе того, что называется общественнымъ чувствомъ, всевозможные виды умственной ограниченности... весь этотъ реестръ слабостей и пороковъ, гнѣздящихся въ непросвѣщенной средѣ, вы въ изобиліи найдете у Островскаго. Но всегда на ряду съ этими недочетами ума и характера встрѣтятся вамъ, иногда въ одномъ и томъ же человѣкѣ, иногда въ тѣхъ людяхъ, съ которыми онъ сталкивается, чувства и мысли иного порядка, обратнаго тому, который васъ такъ непріятно поражаетъ.

Но Островскій былъ художникъ-реалистъ, а не проповѣдникъ и тенденціозный моралистъ—и добродѣтелей, которыя обличали бы порокъ, онъ на сцену не выпускалъ. Вы не найдете у него лицъ, которыя были бы ходячими прописями морали, и если нѣкоторыя лица въ его пьесахъ такую мораль читаютъ, то это все-таки живые люди, списанные съ натуры, которые и сильны тѣмъ, что они въ своихъ рѣчахъ правдивы. Борьба добра и зла происходитъ въ пьесахъ Островскаго не наглядно, не открыто, какъ въ прежнихъ, сентиментально дидактическихъ пьесахъ; она происходитъ, какъ въ самой жизни, внутри самыхъ людей, или внутри развивающагося дѣйствія. И вотъ, если вы желаете проникнуть въ тайную мысль писателя и пережить вмѣстѣ съ его героями ихъ жизнь, вамъ надлежитъ въ этой борьбѣ тѣни и свѣта разобраться, и тогда вы придете къ выводу, что всѣ пороки, изображенные Островскимъ, были обусловлены не самой порочностью людей, а условіями той среды, въ которой они жили, среды, необычайно благопріятной для развитія всевозможныхъ слабостей и нравственныхъ уродствъ.

Первое, что вамъ бросится въ глаза въ этой средѣ, это отсутствіе умственныхъ интересовъ. Рѣшительно нѣтъ ни одного лица въ пьесахъ Островскаго, про котораго мы могли бы сказать, что оно умственно просвѣщено. Даже тѣ, которые тянутся къ умственному свѣту, только тянутся къ нему, а не обладаютъ имъ. Чувствуешь, что когда умъ этихъ людей будетъ просвѣщенъ, многія и самыя темныя стороны этой среды исчезнутъ или будутъ обезврежены. И въ этомъ—залогъ плодотворнаго развитія силъ всего этого народнаго слоя. Опасенъ и страшенъ для жизни ученый и образованный человѣкъ, когда онъ золъ и пороченъ, но порочный по невѣдѣнію и грубый и злой по привычкѣ—менѣе опасенъ. А

всѣ темные люди и самодуры Островскаго—именно такіе, отъ жизни нравственно пострадавшіе люди, которымъ пока недоступно иное пониманіе отношенія человѣка къ себѣ самому и сосѣду. Но болѣе гуманное отношеніе къ ближнимъ не исключено ихъ природой, и вы можете убѣдиться въ этомъ, когда будете слѣдить по пьесамъ Островскаго за развитіемъ въ этихъ людяхъ трехъ обыкновенно параллельно въ человѣкѣ развивающихся чувствъ—къ себѣ самому, къ своей семьѣ и къ окружающимъ его людямъ. Вы подмѣтите, какъ эти грубые, самодовольные, капризные и порой жестокіе люди начнутъ, подъ вліяніемъ разныхъ личныхъ, семейныхъ и иныхъ столкновеній, задумываться надъ самимъ собой, надъ своимъ отношеніемъ къ дѣтямъ, къ подчиненнымъ и вообще къ окружающимъ. Они сами, эти самодуры, за исключеніемъ весьма немногихъ, начинаютъ мало-по-малу отдавать себѣ отчетъ въ своемъ положеніи и убѣждаться въ необходимости отступить отъ общихъ правилъ и привычекъ своей жизни. И на это ихъ наталкиваютъ, въ этомъ ихъ поддерживаютъ многіе члены ихъ семьи, ихъ друзья, ихъ знакомые. На вашихъ глазахъ совершается, ну, если не перерожденіе, то отрезвленіе этихъ грубыхъ людей, которые на первый взглядъ кажутся такими застывшими и омертвѣлыми въ своихъ странностяхъ и уродствахъ.

Душевное просвѣтлѣніе этихъ темныхъ людей нѣкоторые критики толковали, какъ особенность именно русской души, замкнутой въ себѣ самой, огражденной отъ всякаго иноземнаго вліянія и воспитавшейся въ условіяхъ патріархальнаго быта. Способность хранить зерно добра хотя бы въ порочной и слабой душѣ была сочтена за отличительную черту нашего національнаго характера, и нѣкоторые изъ героевъ Островскаго—простые люди, хотя бы со многими слабостями—именно въ силу наивной простоты и непосредственности ихъ души и міросозерцанія были признаны для жизни силой болѣе цѣнной, чѣмъ люди во всеоружіи знанія и утонченной культуры. Этотъ взглядъ врядъ ли можетъ быть признанъ правильнымъ, безъ многихъ оговорокъ, но онъ, несомнѣнно, свидѣтельствуетъ о томъ сильномъ впечатлѣніи, какое на зрителя произвели не самые герои Островскаго, взятые порознь, а произвела та затаенная мысль, которую художникъ вложилъ въ эти мрачныя и смѣшныя картины—гуманная мысль о томъ, какъ, несмотря на уродливое воспитаніе и всѣ соблазны окружающей среды, человѣку темному становится порой страшно отъ своей темноты, и какъ онъ поддается даже слабымъ лучамъ свѣта, которые онъ вокругъ себя видитъ.

Не будь въ старомъ купечествѣ этихъ добрыхъ склонностей, оно не могло бы въ короткій срокъ стать такой культурной силой, какой оно стало.

XVI.

Бытъ духовенства. „Записки семинариста“ Никитина. „Очерки бурсы“ Помяловскаго и „Соборяне“ Лѣскова.

Если передъ кѣмъ изящная литература была въ долгу и въ такомъ долгу остается, такъ это передъ нашимъ духовенствомъ. Среди литературныхъ памятниковъ мы найдемъ лишь очень немного такихъ, въ которыхъ жизнь этого сословія была бы воспроизведена съ большей или меньшей полнотой. Правда, надо оговориться. Духовенство, какъ общественная сила, не выполнило въ нашей жизни той роли, какую оно должно было выполнить, если имѣть въ виду ту главную задачу, къ выполненію которой оно было призвано. Духовенству было довѣрено религіозное воспитаніе страны, охрана истинной вѣры и нравственное руководительство паствой. Въ ряду другихъ классовъ общества оно занимало исключительное мѣсто, которое позволяло ему быть духовнымъ посредникомъ между ними, быть связующимъ звеномъ въ ряду отдѣльныхъ общественныхъ слоевъ и группъ, другъ другу чуждыхъ, а можетъ-быть, даже враждебныхъ. Исключительнымъ было и то положеніе, какое выпадало на долю духовнаго лица въ жизни каждаго отдѣльнаго человѣка, въ жизни семьи и школы. Всегда и вездѣ духовенство въ силу одного лишь своего авторитета, какъ людей, являющихся посредниками между нами и Богомъ, было поставлено крайне выгодно. Оно могло имѣть огромное вліяніе на духовную сторону всей нашей жизни, вліяніе самое благотворное, не затуманенное никакой свѣтской политикой, такъ какъ наше духовенство изъ всѣхъ духовенствъ міра было всегда наименѣе склонно къ проявленію какихъ-нибудь политическихъ тенденцій и страстей.

Случилось, однако, такъ, что, несмотря на такое выгодное положеніе, духовенство, какъ общественная сила, проявило себя и проявляетъ очень слабо. Въ древней Руси и въ допетровское время его вліяніе на ходъ нашей жизни было несравненно болѣе значительнымъ, не говоря уже о томъ, что въ эти старыя времена духовенство стояло во главѣ нашего просвѣщенія, во главѣ всей тогдашней культуры. Во времена къ намъ болѣе близкія, если среди духовныхъ лицъ и было не мало людей, стоящихъ на высокомъ уровнѣ образованности, людей ученѣйшихъ и просвѣщенныхъ,—все-таки

въ общемъ ходѣ нашего культурнаго развитія духовенство никакой почти роли не играло.

Въ кругъ нашихъ бесѣдъ не входитъ разсмотрѣніе этого сложнаго и въ высшей степени интереснаго вопроса о положеніи, какое занимало духовенство въ нашей жизни, общественной и политической. Для насъ въ данномъ случаѣ имѣетъ преимущественное значеніе внутренній обликъ этого сословія и тотъ бытъ, который былъ имъ созданъ.

Наиболѣе доступнымъ источникомъ, откуда мы можемъ почерпнуть свѣдѣнія объ этомъ бытѣ и всей психикѣ духовнаго сословія, является опять-таки наша литература, разсказы нашихъ художниковъ-реалистовъ. Жизнь духовенства могла дать этимъ художникамъ необычайно богатый матеріалъ. Духовенство черное и бѣлое, знатное и незнатное, богатое и бѣдное, свѣтское, столичное, провинціальное и деревенское; жизнь семейная, жизнь въ духовныхъ школахъ разнаго ранга, монастырскій бытъ въ культурныхъ центрахъ и на окраинахъ—сколько было благодарныхъ темъ для писателя-реалиста! И темъ совершенно новыхъ, потому что наша литература первой половины XIX вѣка оставила весь этотъ богатый матеріалъ совершенно не использованнымъ. Причинъ, почему художникъ не использовалъ этого матеріала раньше и почему онъ осторожно пользовался имъ потомъ, было много. Во-первыхъ, тема въ цензурномъ отношеніи была почти что запретная. Говорить о духовенствѣ и не касаться религіозныхъ вопросовъ, обрядовой стороны религіи, многаго, что признано святымъ и священнымъ, было невозможно, а цензура была необычайно строга и бдительна во всемъ, что касалось церкви. Но помимо цензуры и самъ писатель могъ себя чувствовать стѣсненнымъ при разработкѣ такихъ темъ, которыя такъ или иначе задѣвали его религіозное чувство. Если писатель зналъ и любилъ правду, онъ, конечно, не могъ рисовать картины изъ жизни духовенства однѣми лишь свѣтлыми красками. Если онъ рисовалъ такія свѣтлыя картины, то онѣ выходили очень однообразны и не представляли большого интереса. А всякіе разсказы и очерки, въ которыхъ жизнь духовенства была бы представлена правдиво, вполнѣ безпристрастно, съ соблюденіемъ правдиваго соотношенія между ея положительными и отрицательными сторонами, могли самому писателю казаться мало желательными въ воспитательномъ смыслѣ. Наконецъ, чтобы вводить этотъ бытъ въ литературу, нужно было хорошо знать его, а узнать его было не такъ легко, въ виду очень многихъ необычайно своеобразныхъ его сторонъ. Лучше всѣхъ знали этотъ бытъ, конечно, тѣ, кто сами изъ этой

среды вышли, но именно для нихъ писать о немъ былс болѣе трудно, чѣмъ кому-либо.

Вотъ почему и до нашихъ дней духовенство въ литературѣ представлено очень слабо, т.-е. во всякомъ случаѣ не такъ, какъ оно должно было бы быть представлено, если принять въ расчетъ обиліе своеобразнаго и самобытнаго матеріала, какой эта жизнь могла дать художнику.

Художникъ чувствовалъ себя гораздо болѣе свободнымъ когда онъ говорилъ не о служителяхъ церкви и ревнителяхъ вѣры, а о всевозможныхъ сектантахъ, которыхъ церковь считала своими врагами и преслѣдовала. И, дѣйствительно, напримѣръ, жизнь раскольниковъ разныхъ толковъ изображена въ литературѣ, хоть, можетъ-быть, и не вполнѣ художественно, но все-таки въ болѣе типичныхъ образцахъ, чѣмъ жизнь правовѣрнаго духовенства. Въ произведеніяхъ Мельникова-Печерскаго, Щедрина, Лѣскова она можетъ вамъ открыться, если потомъ вы заинтересуетесь ею.

Изъ всѣхъ памятниковъ нашей словесности, которые могли бы помочь вамъ въ ознакомленіи съ жизнью духовенства, можно указать на три произведенія, возвышающихся надъ уровнемъ остальныхъ. Они написаны давно, и этого не надо упускать изъ виду. Съ тѣхъ поръ, какъ они появились въ печати и произвели на читателей своего времени большое впечатлѣніе, многое въ жизни духовенства измѣнилось. Передъ вами будутъ, несомнѣнно, картины прошлаго, но и въ этомъ прошломъ останется не мало и для нашего времени цѣннаго и вѣрнаго.

Отмѣтить нужно, прежде всего, то характерное обстоятельство, что люди, которые готовятся къ одной изъ самыхъ отвѣтственныхъ общественныхъ обязанностей, а именно, къ религіозно-нравственному воспитанію ближнихъ, къ удовлетворенію ихъ самыхъ интимныхъ потребностей, получаютъ образованіе и воспитаніе отнюдь не подготовляющее ихъ къ такому исключительно трудному служенію ближнимъ. Для той роли, которая выпадаетъ на долю представителей духовнаго сословія, будутъ ли они дѣйствовать въ культурныхъ центрахъ, или въ глухихъ провинціальныхъ углахъ, или въ деревнѣ, именно для нихъ воспитаніе и образованіе мягкой души и широкаго терпимаго ума является первой насущной необходимостью. А, между тѣмъ, вся школьная жизнь будущихъ пастырей протекаетъ въ условіяхъ, совсѣмъ не способствующихъ выработкѣ нужныхъ душевныхъ качествъ.

Чтобы въ этомъ убѣдиться, вы можете раскрыть два историческихъ документа, изложенныхъ въ очень хорошей

литературной формѣ, въ которыхъ эта школьная жизнь обрисована людьми, ее хорошо знавшими. Одинъ изъ нашихъ поэтовъ-реалистовъ Никитинъ, не особенно яркій писатель, въ своихъ стихахъ оставилъ намъ очень искреннюю, прозой написанную, повѣсть о школьной жизни и порядкахъ въ семинаріи. Повѣсть „Записки семинариста" написана въ мягкихъ тонахъ, иногда сентиментальныхъ, и вы по ней можете себѣ составить понятіе о томъ, какъ въ атмосферѣ относительно сносной жилось подросткамъ, готовящимся къ трудному духовному подвигу. Вы увидите, какъ затруднено было развитіе и ихъ ума и ихъ сердца. Но если вы захотите узнать, какъ этому уму и сердцу угрожала опасность полнаго одичанія и огрубѣнія, то „Очерки бурсы" Помяловскаго дадутъ вамъ наглядное тому доказательство. Эти очерки—одна изъ безнадежно мрачныхъ повѣстей нашей словесности. Если даже предположить, что художникъ сгустилъ преднамѣренно краски, то, за вычетомъ какихъ угодно преувеличеній, въ очеркахъ Помяловскаго останется достаточно мраку. Съ какимъ чувствомъ должны были вступать въ жизнь эти люди, дѣтство и юность которыхъ протекли въ такихъ ужасающихъ условіяхъ, и какъ могли они исполнять то святое дѣло, которое становилось дѣломъ ихъ жизни? Конечно, вы должны помнить, что въ разсказахъ Никитина и Помяловскаго рѣчь идетъ о временахъ давно прошедшихъ и, несомнѣнно, что въ настоящее время жизнь въ средней и высшей духовной школѣ иная, чѣмъ прежде. Но судя по тѣмъ литературнымъ памятникамъ, которые написаны и въ болѣе близкую къ намъ эпоху, все-таки эта школьная жизнь духовенства стоитъ далеко не на высотѣ своей задачи.

Но есть и еще одно весьма существенное обстоятельство, которое и раньше, да и теперь необычайно затрудняетъ духовенству работу надъ самимъ собой и надъ своимъ дѣломъ, это—матеріальная необезпеченность, доходящая иногда до большой нужды. Существуютъ, конечно, такія положенія въ духовной іерархіи, среди бѣлаго и чернаго духовенства, которыя въ матеріальномъ отношеніи очень хорошо обставлены и позволяютъ одной части духовенства жить почти что въ роскоши. Но зато огромное количество лицъ, въ особенности въ провинціальныхъ городахъ, не говоря уже о деревняхъ, принуждено жить въ условіяхъ достаточно бѣдственныхъ.

Не подготовленные или плохо подготовленные школой, совсѣмъ не огражденные матеріально и потому принужденные тратить свои силы на ежедневную борьбу съ жизнью—многіе, очень многіе изъ духовныхъ лицъ, не имѣли и не

имѣютъ никакой возможности заняться самовоспитаніемъ и самообразованіемъ столь для нихъ нужными при несеніи ими обязанностей, требующихъ отъ нихъ большой душевной и умственной чуткости. А между тѣмъ ихъ положеніе среди паствы остается крайне отвѣтственнымъ и виднымъ. Духовныя лица въ провинціи и въ селахъ всегда на виду у всѣхъ; ихъ жизнь служитъ предметомъ постоянныхъ толковъ и пересудовъ; къ нимъ всѣ окружающіе относятся строже, чѣмъ къ кому-нибудь. Положеніе исключительное, которое затрудняется еще и тѣмъ обстоятельствомъ, что всѣ остальные классы общества,—помѣщики, купцы, чиновники и интеллигенція и даже крестьяне—до сихъ поръ смотрятъ на духовенство какъ на сословіе совершенно обособленное, съ которымъ они приходятъ въ соприкосновеніе, когда это имъ нужно, но съ которымъ они стремятся или совсѣмъ не общаться или общаться какъ можно меньше. Отъ духовенства требовали очень многаго, а между тѣмъ ни правительство, ни общество не облегчали ему его труднаго положенія. Конечно, бывали случаи, когда духовныя лица—пройдя тяжелую школу жизни — успѣвали занять въ обществѣ видное положеніе и продвигались въ первые ряды нашей интеллигенціи, но это были исключенія. Духовенство продолжало жить замкнутой жизнью, дѣлая тихо свое дѣло, иногда ревностно относясь къ нему, иногда инертно; но во всякомъ случаѣ не будучи въ силахъ придать этому дѣлу того значенія, какое ему по праву принадлежитъ въ нашей жизни.

Неловкость такого положенія очень часто чувствовалась подростающимъ молодымъ поколѣніемъ, и въ духовныхъ семьяхъ не всегда царили миръ и согласіе. Часто изъ духовныхъ семей выходили ярые скептики и отрицатели религіозныхъ основъ жизни, потому что они имѣли возможность убѣдиться въ томъ, какъ ничтожно то вліяніе, какое носители и выразители этихъ началъ имѣютъ на окружающую жизнь, и какъ въ большинствѣ случаевъ косно и инертно дѣло, на словахъ признаваемое самымъ существеннымъ для жизни. Отрицаніе этого дѣла являлось прямымъ слѣдствіемъ немощности его или еле замѣтнаго его вліянія на текущую жизнь.

Но духовенство тѣмъ не менѣе выдѣляло изъ своей среды очень типичныхъ людей, во всеоружіи нравственной силы. Сильны эти люди были не своимъ положеніемъ, не своей образованностью, даже не умомъ своимъ, а чистотой сердца, великой своей любовью къ людямъ, силой религіознаго подъема души и твердостью вѣры, т.-е. именно тѣми душевными качествами, какіе нужны для служенія Богу среди

людей. Такихъ пастырей знаетъ исторія нашей церкви съ древнѣйшихъ временъ, немало ихъ было и въ наше время. Это люди совсѣмъ особые,—они такими родятся. Несмотря на всѣ враждебныя имъ условія жизни, несмотря, быть-можетъ, на безотрадную школьную жизнь и вообще всѣ лишенія, съ какими имъ приходилось считаться въ трудовой ихъ жизни, они остались крѣпки духомъ, сильны своей вѣрой, не менѣе сильны своей любовью къ ближнему. Жизнь ихъ не измяла, никакіе соблазны ихъ не соблазнили, и среди бурь и невзгодъ житейскихъ они такъ и остались стоять несокрушимые и непреклонные въ своемъ дѣлѣ. Была въ нихъ еще одна черта, которая для вѣры служитъ залогомъ прочной побѣды: они не были фанатиками этой вѣры, суровыми ея проповѣдниками; они были люди мягкіе, для которыхъ истинность и искренность вѣры измѣрялись ея смиреніемъ, ея кротостью въ сознаніи своей правоты. Духовная жизнь этихъ людей не сложна, и ее не столько надо понять, сколько почувствовать. Она излучаетъ изъ себя особый свѣтъ и теплоту, и въ этомъ вся ея сила.

Вы почувствуете эту силу, когда ознакомитесь съ хроникой Н. С. Лѣскова „Соборяне". Заслуга Лѣскова передъ нашей словесностью и обществомъ заключалась именно въ томъ открытіи, какое было имъ сдѣлано, когда, областью своихъ наблюденій онъ избралъ душу русскаго служителя церкви и разныхъ искателей и исповѣдниковъ вѣры. Лѣсковъ выступалъ какъ защитникъ людей, душой тяготѣющихъ къ вѣрѣ и ищущихъ Бога, и какъ обличитель тѣхъ, кто къ вѣрѣ былъ равнодушенъ или ей враждебенъ. Въ своихъ обличеніяхъ русскихъ либераловъ и радикаловъ, отрицающихъ Бога, Лѣсковъ былъ всегда очень пристрастенъ и потому рѣдко стоялъ на высотѣ истиннаго художника. Но въ тѣхъ своихъ сочиненіяхъ, въ которыхъ онъ хотѣлъ дать намъ почувствовать силу религіозно настроенной души, онъ былъ большой мастеръ; и онъ съ одинаковой чуткостью и правдивостью относился къ людямъ религіознымъ, были ли они православные или сектанты.

Въ дневникѣ, который велъ протоіерей Савелій Туберозовъ — главное дѣйствующее лицо въ хроникѣ Лѣскова— встрѣчалась такая фраза: „О, моя мягкосердечная Русь, какъ ты прекрасна!" — и воплощеніе этой мягкосердечной, богобоязливой и любящей Россіи представлялъ собой самъ Туберозовъ. То открытіе, которое было сдѣлано Лѣсковымъ въ области психологіи нашего духовенства, заключалось именно въ созданіи этого исключительнаго, единственнаго типа въ нашей словесности, типа духовнаго пастыря, напоминающаго

собой тѣхъ святыхъ, о которыхъ намъ повѣствуютъ старыя легенды. Видимыхъ чудесъ этотъ пастырь не творитъ, но онъ совершаетъ чудо невидимое. Всѣ, съ кѣмъ онъ сталкивается, чувствуютъ за нимъ какую-то силу, которая при всей ея мягкости дѣйствуетъ неотразимо. Это не сила убѣжденія, не сила дѣятельной любви и состраданія, не сила подвига, это — совсѣмъ особое вліяніе, какому подпадаютъ люди, сами не отдающіе себѣ отчета въ томъ, что именно ихъ въ другомъ человѣкѣ побѣждаетъ. Вы сами это почувствуете, когда будете читать хронику Лѣскова. Вы увидите, какъ сердце Туберозова станетъ очагомъ, у котораго будутъ грѣться всѣ, и какъ протоіерей Савелій изъ всѣхъ положеній, даже неловкихъ и смѣшныхъ, выйдетъ побѣдителемъ. И не своему уму онъ будетъ обязанъ своимъ вліяніемъ. Правда, среди людей, съ которыми Туберозову приходилось состязаться, не было ни одного сильнаго человѣка [его враги изъ лагеря „нигилистовъ“ сбиваются у Лѣскова почти что на карикатуру], но духовная сила Туберозова видна и чувствуется всюду независимо отъ силы сопротивленія ей.

Вы можете, однако, счесть такую личность явленіемъ необычайнымъ, даже исключительнымъ, но люди такіе, какъ Туберозовъ, встрѣчаются въ духовной средѣ и вовсе ужъ не такъ рѣдко,—только примѣры такого религіознаго мягкосердечія и такой доброты почти не попадали на страницы изящной словесности, въ виду общаго обличительнаго направленія нашей литературы. Лѣсковъ былъ первый, который отмѣтилъ и художественно возсоздалъ этотъ типъ, и онъ, въ ряду многихъ другихъ типовъ, взятыхъ нашими художниками изъ разныхъ сословій, подтверждаетъ увѣренность нашу въ наличности большихъ духовныхъ силъ, таящихся въ нѣдрахъ нашего народа.

XVII.

Обездоленные и отверженные. „Записки изъ Мертваго Дома“ Достоевскаго.

Помимо тѣхъ членовъ общества, которыхъ мы причисляемъ обыкновенно къ какимъ-нибудь общественнымъ слоямъ, классамъ или группамъ сообразно съ ихъ юридическимъ или экономическимъ положеніемъ, и сообразно съ тѣми формами общественнаго труда, какой они несутъ — существуетъ еще очень многочисленный классъ или, вѣрнѣе, просто большое количество людей, не причастныхъ ни къ какой работѣ, неогражденныхъ никакими устойчивыми средствами къ жизни, людей въ полномъ смыслѣ слова беззa-

щитныхъ передъ ней, которые по рожденію своему могутъ принадлежать къ самымъ разнообразнымъ классамъ, но какъ отдѣльныя личности съ этими классами всякую связь утратили, и остались просто единичными людьми, борющимися съ жизнью въ одиночку, безъ какой-либо унаслѣдованной отъ предковъ помощи и часто при случайномъ и временномъ заработкѣ, а иногда и совсѣмъ безъ него.

Эта многочисленная группа лицъ—ютящаяся преимущественно въ большихъ центрахъ, привлеченная въ города нѣкоторой возможностью раздобыть себѣ средства къ пропитанію—эта безсословная, по большей части безработная масса обозначается разными именами—ее называютъ иногда „жертвами пауперизма“ т.-е. жертвами нищеты; называютъ „общественной богемой“, т.-е. толпой безпріютныхъ людей, свободныхъ отъ всякаго обязательнаго труда, не думающихъ о завтрашнемъ днѣ и въ нравахъ своихъ беззастѣнчиво безпринципныхъ; ее называютъ также „подонками“ общества, имѣя въ виду не столько ея низкое общественное положеніе, сколько низкій уровень ея умственнаго и нравственнаго развитія. Неустойчивость названій, какія придаются этой общественной группѣ, указываетъ на то, сколь разнообразные, несходные по своему развитію и положенію люди входятъ въ составъ этой массы. Въ ней, дѣйствительно, вы можете встрѣтить и безработныхъ рабочихъ, и безземельныхъ крестьянъ, и самыхъ мелкихъ чиновниковъ, и бродягъ, и нищихъ, людей медленно, но честно умирающихъ, людей разными преступленіями спасающихся отъ голодной смерти, людей вольно живущихъ пороками, развратомъ и также преступленіями—однимъ словомъ, самую пеструю толпу мужчинъ и женщинъ, о которыхъ общество не заботится, которыхъ оно вытолкало или которые сами порвали съ нимъ связь и, защищая себя, ведутъ съ нимъ борьбу всѣми дозволенными и недозволенными средствами. Если уже подбирать болѣе гуманное названіе для этой толпы, то ее можно назвать людьми „обездоленными жизнью и отверженными“.

Психика этихъ людей—одна изъ самыхъ разнообразныхъ, сложныхъ, запутанныхъ и по-своему богатыхъ, и для опредѣленія національныхъ чертъ того или другого народа складъ души этихъ „обездоленныхъ“, ихъ взгляды на жизнь и ихъ поведеніе даютъ очень много цѣнныхъ указаній.

Обыкновенно, когда говорятъ объ этой массѣ, то указываютъ на цѣлый рядъ нравственныхъ искривленій, которыя такъ легко отмѣтить у людей, отданныхъ въ жертву такой трудной и безпощадной борьбѣ за существованіе. И, дѣйствительно, условія жизни, въ какихъ живетъ эта толпа, такія

ужасающія, что объясняютъ всякое отступленіе отъ нравственной нормы обычнаго человѣка. Неумолкающая борьба за кусокъ хлѣба и за дырявую кровлю, борьба, которую человѣкъ принужденъ вести иногда съ дѣтскаго возраста; умственная тьма, несмѣнное ощущеніе загнанности, вражда между собой и съ обществомъ, которое стремится только лишь оградить себя отъ этихъ людей—все ставитъ „обездоленныхъ“ въ положеніе лицъ, которымъ дорожить нечѣмъ, которые осуждены на гибель и потому могутъ въ нравственномъ отношеніи „не стѣсняться“. Такая среда—почва очень удобная для всякихъ пороковъ и преступленій, и неудивительно, что именно на этой сторонѣ ихъ жизни останавливалось преимущественно вниманіе тѣхъ, кто говорилъ о нихъ въ литературѣ и наукѣ.

Примириться съ неизбѣжностью существованія такой толпы—разумному и нравственному человѣку крайне трудно, и понятно, что всѣ люди, которымъ были близки общественные вопросы, много думали о томъ, какъ съ этимъ зломъ бороться, какіе измыслить способы, чтобы цѣлая масса людей не была обществомъ выброшена за бортъ или, если уже она попала въ отчаянно трудное положеніе, то какими мѣрами остановить ея ростъ и оградить ее отъ полнаго нравственнаго и умственнаго паденія. Ученые разныхъ спеціальностей, философы-моралисты, служители церкви, законодатели, люди занимающіеся благотворительностью,—всѣ работали надъ разрѣшеніемъ этого больного общественнаго вопроса. Потрудилась надъ нимъ и литература, Разсказы изъ жизни бѣдняковъ, людей жизнью всячески обездоленныхъ, умственно и нравственно темныхъ лицъ, были въ 30-хъ—40-хъ годахъ XIX вѣка любимой литературной темой на западѣ. Движимые отчасти научнымъ интересомъ, отчасти гуманными чувствами, а также и очень распространенной тогда поэтической мечтой соціализма о грядущемъ совершенномъ общественномъ строѣ [гдѣ, конечно, никакихъ темныхъ массъ не будетъ]—писатели стали изучать общественную жизнь на этой самой низкой ея ступени и, не щадя мрачныхъ красокъ, поставили себѣ цѣлью быть безпощадно откровенными въ обнаруженіи всѣхъ ужасовъ и всей порочности этой полосы человѣческаго существованія. Изучая душу этихъ „отверженныхъ“ людей, писатель сдѣлалъ одно открытіе. Онъ открылъ, что, несмотря на ужасающія условія, въ какихъ приходится жить обездоленной массѣ, несмотря на явную наличность поражающей умственной тьмы, нравственнаго нигилизма, преступности и порочности, въ душѣ всѣхъ этихъ людей тлѣетъ искра добра и нравственной чуткости, которую только нужно разжечь для того, чтобы человѣкъ могъ нравственно возродиться и даже стать

полезнымъ членомъ общества. Конечно, такому возрожденію должно было предшествовать прежде всего измѣненіе матеріальныхъ условій жизни. Быть-можетъ, писатели, увлеченные своей гуманной идеей, и преувеличивали способность отверженныхъ людей къ нравственному возрожденію, но доля истины въ ихъ открытіи безспорно имѣлась и, кромѣ того, они были безусловно правы въ своемъ требованіи—не произносить окончательнаго суда надъ этими людьми, пока со стороны общества не сдѣланы всѣ попытки къ ихъ нравственному исправленію и пока не обслѣдованы всѣ условія, при какихъ такое паденіе человѣка стало возможнымъ. Конечно, въ вопросѣ объ излеченіи этихъ соціальныхъ ранъ, въ вопросѣ о способахъ активной борьбы съ ними на почвѣ фактовъ, писатели были безсильны. Борьбу съ этимъ зломъ должны были выносить на своихъ плечахъ само общество и правительство, но детальное обслѣдованіе условій, при которыхъ сложилось это общественное несчастіе, и психологическій анализъ души всѣхъ пострадавшихъ отъ него—эта работа должна была лечь на писателей, и они эту задачу добросовѣстно выполнили. Западная литература XIX в. дала цѣлый рядъ разсказовъ и романовъ, стиховъ и поэмъ, въ которыхъ и бытовая, и духовная сторона жизни обездоленныхъ и отверженныхъ была разъяснена на основаніи точныхъ наблюденій. Картина получилась страшная, но выводъ былъ все-таки утѣшительный. Надежда на возможность нравственнаго возрожденія не была утрачена, и общество и правительство призывались къ тому, чтобы всѣми силами способствовать такому возрожденію.

Наша русская литература въ разработкѣ этого общественнаго вопроса также принимала участіе и, начиная съ сороковыхъ годовъ, нашъ писатель, раньше такой щепетильный въ выборѣ своихъ героевъ, включилъ бѣдняка, обездоленнаго жизнью, загнаннаго человѣка въ число своихъ знакомыхъ. Конечно, поставить эту тему такъ широко, какъ она была поставлена на западѣ, у насъ было невозможно. Матеріалъ былъ для художника совсѣмъ новый, и онъ не зналъ, какъ къ нему приступить, какъ его начать обрабатывать, и затѣмъ тотъ серьезный общественный вопросъ, съ которымъ эта тема была тѣснѣйшимъ образомъ связана, а именно вопросъ о разныхъ соціальныхъ причинахъ, обусловливающихъ появленіе обездоленныхъ въ обществѣ, не могъ быть въ нашей печати затронутъ. Но мало-по-малу художникъ-реалистъ подходилъ къ этой темѣ все ближе и ближе, такъ какъ она несомнѣнно очень много говорила его гуманному чувству. Если онъ не могъ свободно касаться всѣхъ причинъ, вызывающихъ тако

безотрадное соціальное явленіе, то говорить о симпатіи и состраданіи къ жертвамъ тяжелаго соціальнаго положенія онъ чувствовалъ себя обязаннымъ. Но только надо замѣтить, что во всѣхъ такихъ попыткахъ вывести на сцену „подонки“ общества, гуманная тенденція преобладала надъ художественной, а потому въ извѣстной степени нарушалась и правда. Художникъ хотѣлъ прежде всего разжалобить читателя и затушевывалъ мрачную, грубую и преступную сторону жизни этихъ несчастныхъ людей и говорилъ о нихъ только какъ о страдающихъ, оттѣняя въ нихъ всѣ мягкія стороны ихъ характера—ихъ смиреніе, незлобивость, ихъ мирную мысль и чуткое сердце. Въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ такія мягкія, печальныя картины и могли быть вѣрны дѣйствительности [какъ, напримѣръ, знаменитая „Шинель“ Гоголя, „Бѣдные люди“ и другіе мелкіе разсказы Достоевскаго], но полнаго понятія о жизни всей этой соціальной группы они дать не могли, такъ какъ умышленно устраняли изъ этихъ картинъ все, что читателя могло бы настроить противъ обиженнаго жизнью. Съ годами литература, конечно, отступила отъ этой адвокатской точки зрѣнія, и, начиная съ шестидесятыхъ годовъ, мало-по-малу картины жизни всѣхъ этихъ жертвъ соціальной неурядицы становились все болѣе и болѣе мрачными, хотя въ конечномъ своемъ выводѣ писатель попрежнему оставался благожелательнымъ моралистомъ и старался оправдать всѣ грѣхи и преступленія подсудимыхъ указаніемъ на ужасающія условія ихъ существованія. И всѣ подсудимые, сколь велики ни были ихъ прегрѣшенія, рисовались попрежнему людьми миролюбивыми и терпѣливыми. Только въ ближайшее къ намъ время типъ обездоленнаго и жизнью загнаннаго человѣка изъ миролюбиваго сталъ превращаться въ недовольнаго и протестующаго, которому надоѣло терпѣть всякіе лишенія и который рѣшился бросить обществу вызовъ. Художники, которые взялись за обрисовку такихъ типовъ, перестали говорить о добрыхъ и миролюбивыхъ чувствахъ и стали оттѣнять чувства рѣзкія и боевыя. Но въ тѣ годы, о которыхъ говоримъ мы, такихъ протестующихъ типовъ, вышедшихъ изъ среды обездоленныхъ и самыхъ низкихъ слоевъ общества, въ литературѣ не появлялось, да и художественныхъ памятниковъ, въ которыхъ жизнь этихъ слоевъ была бы изображена болѣе или менѣе согласно съ правдой, также не было—за исключеніемъ лишь единственнаго памятника, который мы можемъ противопоставить, не боясь сравненія, любому памятнику западному, говорящему о томъ же предметѣ.

Это—„Записки изъ Мертваго Дома“ Достоевскаго. Написанъ былъ этотъ романъ при совершенно особыхъ обстоя-

тельствахъ. Ѳедоръ Михайловичъ Достоевскій принялъ очень близко къ сердцу судьбу всѣхъ обездоленныхъ жизнью, всѣхъ незащищенныхъ, всѣхъ тѣхъ, которыхъ онъ самъ потомъ назвалъ „униженными и оскорбленными“. Онъ имѣлъ возможность присмотрѣться къ ихъ жизни и наблюдать ихъ душу съ дѣтскихъ лѣтъ; чтеніе книгъ, преимущественно французскихъ романовъ, въ которыхъ писатели заступались за этихъ несчастныхъ, было его излюбленнымъ чтеніемъ, и съ годами мысль о томъ, чтобы помочь имъ, и не только словомъ, въ немъ крѣпла. Отъ романовъ онъ перешелъ къ чтенію книгъ научнаго и публицистическаго характера, въ которыхъ гремѣвшіе тогда на всю Европу французскіе соціалисты рисовали картины счастливаго будущаго и говорили о способахъ, какими можно избѣгнуть накопленія на землѣ неимущихъ и обездоленныхъ. Достоевскій примкнулъ къ одному обществу молодыхъ людей, которые, изучая, какъ и онъ, соціальные вопросы, размышляли и много говорили о томъ, какъ согласовать со своими идеалами существующій въ Россіи общественный и политическій порядокъ. Рѣзкая критика этого строя была неизбѣжна, неизбѣжны были и мечты объ его измѣненіи. Правительство было тогда очень подозрительно и, главное, напугано революціоннымъ броженіемъ на западѣ. Неосторожнымъ словамъ и поступкамъ молодыхъ людей было придано значеніе государственнаго заговора. Ихъ предали суду, и всѣ они были осуждены на смертную казнь, въ томъ числѣ и Достоевскій. Приговоръ былъ отмѣненъ за нѣсколько часовъ до казни, и смерть замѣнена каторгой. Въ тюрьмѣ, на каторгѣ, Достоевскій провелъ нѣсколько лѣтъ и здѣсь получилъ возможность наблюдать отверженныхъ обществомъ людей, имѣя ихъ своими ближайшими сосѣдями.

„Записки изъ Мертваго Дома“ были задуманы и обдуманы въ часы каторжной работы и отдыха отъ нея. Художественныя достоинства этого разсказа огромны и признаны всѣмъ культурнымъ міромъ. Они заключены не только въ правдивости, яркости и образности типовъ и описаній, но въ удивительно вѣрномъ и глубокомъ пониманіи и возсозданіи души преступника въ самыхъ разнообразныхъ ея проявленіяхъ. „Записки“, вовсе не книга обличенія, а книга глубочайшаго состраданія и къ тѣмъ, кто согрѣшилъ и преступенъ, и къ тѣмъ, кто призванъ наказывать этихъ грѣшныхъ, думая, что такимъ наказаніемъ онъ вершитъ справедливость. Первое впечатлѣніе, какое у васъ остается въ душѣ послѣ прочтенія книги, это— ясное сознаніе, что между преступленіемъ и наказаніемъ въ данномъ случаѣ установлена связь чисто-произвольная и внѣшняя, что преступленіе въ основѣ своей совсѣмъ не то,

что о немъ думаютъ люди его наказующіе, и что наказаніе, въ свою очередь, совсѣмъ не то, какимъ оно должно быть, если оно хочетъ наказывать людей, чтобы исправить ихъ, а не „мстить“ имъ, чтобы ихъ еще больше испортить

Люди, съ которыми вы встрѣтитесь въ „Запискахъ изъ Мертваго Дома“, это тѣ самые, о которыхъ мы говорили раньше, называя ихъ обездоленными жизнью и ею отвергнутыми. Но среди огромной толпы такихъ отверженныхъ обитатели Мертваго Дома лишь особая замкнутая группа. Это—люди преступные и лишенные всякой возможности направлять свою дальнѣйшую жизнь въ какую-либо сторону, а также лишенные возможности сосчитаться съ самимъ собою и съ тѣмъ, что они натворили. Они парализованы наказаніемъ и совсѣмъ вычеркнуты изъ жизни и общества. Такое ихъ исключительное положеніе не мѣшаетъ намъ по ихъ мыслямъ и чувствамъ судить о психикѣ всего того общественнаго слоя отверженныхъ и обездоленныхъ, изъ среды которыхъ большинство изъ нихъ вышло [мы должны только исключить тѣхъ политическихъ преступниковъ, о которыхъ говоритъ Достоевскій, такъ какъ ихъ психика совсѣмъ особая]. Передъ нами цѣлое собраніе представителей всевозможныхъ пороковъ и преступленій. Воры, озвѣрѣвшіе люди, истязатели, женоубійцы, отцеубійцы—нравственные калѣки всѣхъ степеней живутъ на нашихъ глазахъ въ условіяхъ какой-то кошмарной жизни, которая, кажется, создана въ соотвѣтствіи съ ихъ кошмарными душами. По крайней мѣрѣ все, что художникъ разсказываетъ о жизни каторжанъ въ острогѣ, свидѣтельствуетъ о томъ, какъ мало устроители и распорядители этого острога подумали о душѣ тѣхъ людей, тѣло которыхъ подлежало наказанію. Для нихъ они были именно преступными тѣлами, и только для художника они сохранили свою цѣнность, какъ души. Его не обманулъ ихъ звѣрскій, угрюмый и завистливый видъ, и отсутствіе въ нихъ раскаянія. Онъ видѣлъ ихъ не только наносящими страданіе, но и страдающими—видѣлъ, какъ ихъ наказывали тѣлесно и какъ издѣвались надъ ними, видѣлъ въ кандалахъ чахоточныхъ и мертвыхъ; видѣлъ сумасшедшихъ, которыхъ истязали; и могъ сказать, что ихъ тѣла заплатили за тѣ мученія, какія они, эти люди, нанесли тѣламъ ближнихъ. И ему хотѣлось, чтобы и ихъ души какъ-нибудь заплатили по своимъ долгамъ, тѣмъ болѣе, что, присматриваясь ближе къ этимъ людямъ, онъ въ ихъ темной душѣ находилъ отблескъ, хоть и слабый, чувствъ, непохожихъ на тѣ, которымъ ихъ душа вольно или невольно подчинялась. Онъ наблюдалъ ихъ, когда они слушали чтеніе Евангелія, и замѣчалъ, „какъ это опроверженіе всей ихъ жизни и всего ихъ міропо-

ниманія заставляло ихъ задумываться; онъ видѣлъ ихъ добродушными въ минуты, когда можно было ожидать отъ нихъ дикой мести". Эти люди, разсуждалъ онъ, можетъ-быть, вовсе не до такой степени хуже тѣхъ остальныхъ, которые остались тамъ, за острогомъ. И вотъ какія слова обронилъ художникъ, вспоминая объ этомъ царствѣ грѣха, преступности и страданія: „я первый готовъ свидѣтельствовать,—говорилъ онъ,—что и въ самой необразованной, самой придавленной средѣ между этими страдальцами я встрѣчалъ черты самаго утонченнаго развитія душевнаго. Въ острогѣ было иногда такъ, что знаешь человѣка нѣсколько лѣтъ и думаешь про него, что это звѣрь, а не человѣкъ и презираешь его. И вдругъ приходитъ случайно минута, въ которую душа его невольнымъ порывомъ открывается наружу, и вы видите въ ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое пониманіе и собственнаго и чужого страданія, что у васъ какъ бы глаза открываются, и въ первую минуту даже не вѣрится тому, что вы сами увидѣли и услышали".

Эти слова относятся, конечно, не ко всѣмъ обитателямъ Мертваго Дома, но общій ихъ смыслъ можно принять за конечный выводъ изъ всѣхъ его наблюденій надъ жизнью каторжанъ. Онъ повторилъ свои слова, прощаясь съ Мертвымъ Домомъ. „И сколько въ этихъ стѣнахъ погребено напрасно молодости,—писалъ онъ,—сколько великихъ силъ погибло здѣсь даромъ. Вѣдь надо ужъ все сказать; вѣдь этотъ народъ необыкновенный былъ народъ. Вѣдь это, можетъ-быть, и есть самый даровитый, самый сильный народъ изъ всего народа нашего. Но погибли даромъ могучія силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноватъ?"

На этотъ вопросъ, кто виноватъ? несмотря на то, что люди надъ нимъ столѣтіями думаютъ—не скоро будетъ данъ такой отвѣтъ, который вполнѣ удовлетворилъ бы ваше чувство справедливости. Но то, что разсказано въ „Мертвомъ Домѣ", помогаетъ рѣшенію этого вопроса и ставитъ его очень широко, такъ какъ, если такое сожалѣніе можетъ вызвать судьба людей преступныхъ, то съ какими же чувствами должны мы отнестись къ судьбѣ тѣхъ людей, которые преступными еще не стали, но живутъ въ условіяхъ, предрасполагающихъ къ грѣху и прѣступленію? А въ такихъ условіяхъ протекаетъ жизнь всѣхъ обездоленныхъ и отверженныхъ.

XVIII.

Поэзія Некрасова.

Правда русской жизни, когда о ней брался говорить художникъ-реалистъ, являлась передъ вами до сихъ поръ обыкновенно въ формѣ болѣе или менѣе длиннаго эпическаго разсказа, позволявшаго писателю давать исчерпывающія характеристики лицъ, съ которыми онъ васъ знакомилъ, и пространныя описанія бытовыхъ особенностей жизни, какой эти люди жили. Казалось, что для задачи, какую себѣ художникъ-реалистъ ставилъ, а именно для ознакомленія читателя съ возможно бо̀льшимъ количествомъ собраннаго имъ бытового матеріала—болѣе удобной формы, чѣмъ форма прозаическаго повѣствованія, подыскать нельзя. Но былъ среди нашихъ художниковъ одинъ, который сумѣлъ въ тѣхъ же цѣляхъ использовать рѣчь стихотворную. Это былъ Некрасовъ.

Онъ несомнѣнно можетъ быть съ полнымъ правомъ причисленъ къ группѣ реалистовъ-бытописателей, занимая, кромѣ того, свое мѣсто въ литературѣ какъ лирикъ. Выступленіе его, какъ поэта-стихотворца, заставившаго свою „музу“ обслуживать литературу „бытописанія“ и правдиваго, а потому часто отнюдь не красиваго „реализма“, было въ нашей словесности явленіемъ настолько необычайнымъ, что многихъ читателей и критиковъ, привыкшихъ къ старому типу „поэтовъ“—пѣвцовъ личныхъ чувствъ и всякихъ возвышенныхъ сюжетовъ—заставило усомниться, можно-ли Некрасова вообще называть поэтомъ, и не слѣдуетъ ли его зачислить въ разрядъ публицистовъ, которые только пользуются стихотворной рѣчью для защиты тѣхъ или другихъ общественныхъ взглядовъ? Въ этомъ мнѣніи многихъ поддерживало еще и то обстоятельство, что Некрасовъ, не довольствуясь общимъ смысломъ или общимъ настроеніемъ, какое въ немъ будило созерцаніе будничныхъ прозаическихъ сторонъ нашей жизни, очень дорожилъ именно детальной точностью при обрисовкѣ невзрачной дѣйствительности. Онъ любилъ эту невзрачность жизни, любилъ людей обездоленныхъ и угнетенныхъ—и то, что въ прозаическомъ изложеніи казалось читателю вполнѣ умѣстнымъ, то въ формѣ стихотворенія казалось почему-то „принижающимъ“ красоту. Правда,—и это надо помнить,—Некрасовъ подчинялъ свое „вдохновеніе“ требованіямъ минуты и, стремясь въ ущербъ поэтическому вымыслу, къ наиболѣе точной правдивости въ изображеніи жизни, часто по-

ступался внѣшней красотой—красотой языка, стиля и стиха. Такія неизбѣжныя для строгаго реалиста погрѣшности во внѣшней отдѣлкѣ стихотвореній сердили пуристовъ, и приговоръ ихъ надъ Некрасовымъ бывалъ часто суровъ и несправедливъ.

Въ Некрасовѣ надо различать двухъ поэтовъ разной технической силы: Некрасова лирика-пѣвца личныхъ чувствъ и Некрасова бытописателя жизни крестьянской, помѣщичьей, чиновной, мѣщанской, жизни людей темныхъ и людей образованныхъ. Ни одинъ изъ нашихъ поэтовъ до него не пользовался такъ широко матеріаломъ, который ему давала окружающая жизнь, никто не вовлекъ въ кругъ своихъ наблюденій такое огромное количество типовъ, взятыхъ изъ жизни всѣхъ сословій нашего общества.

Когда матеріалъ не давитъ художника тяжестью своего разносторонняго смысла и своимъ обиліемъ—когда Некрасовъ остается самимъ собою, когда онъ, какъ пѣвецъ своихъ личныхъ чувствъ, говоритъ о себѣ—онъ истинный художникъ вполнѣ свободный въ выборѣ темы и очень строгій въ ея обработкѣ. Когда онъ становится бытописателемъ, онъ, само собою разумѣется, связанъ матеріаломъ и, такъ какъ по своимъ убѣжденіямъ и по боевому настроенію онъ членъ опредѣленной передовой общественной партіи, то въ художественную обработку сюжета онъ естественно вноситъ извѣстную общественную тенденцію и задоръ публициста. И именно этой тенденціей—необычайно гуманной, не въ общемъ смыслѣ, а примѣнительно къ конкретнымъ явленіямъ русской жизни—поэзія Некрасова отличается отъ пѣсенъ всѣхъ его современниковъ, т.-е. тѣхъ, которые могли бы съ нимъ поспорить какъ художники. Но и кромѣ тенденціи въ поэзіи Некрасова бытового матеріала несомнѣнно больше, чѣмъ у всѣхъ пѣвцовъ его времени. Онъ меньше, чѣмъ они, любилъ уединеніе кабинета и высоты поэтическихъ обобщеній. Шумъ жизни его привлекалъ, и онъ съ любопытствомъ заглядывалъ въ такіе ея уголки, которые другихъ пѣвцовъ отталкивали свой непоэтичной внѣшностью, да и жизнь его сложилась такъ, что онъ къ этимъ уголкамъ имѣлъ случай съ раннихъ лѣтъ присмотрѣться. Между нимъ и простымъ народомъ установилась тѣсная связь съ дѣтства, и такъ какъ дворянская семья, въ которой онъ росъ, была бѣдная, то близость усадьбы и деревни была не случайная, а естественно простая и сердечная. На всю жизнь Некрасовъ сохранилъ эту способность сердцемъ чуять народъ, понимать его нужды и дѣлить его горе. До конца дней своей жизни, впослѣдствіи очень дѣловитой, суетливой и разными столичными соблаз-

нами богатой, онъ не упускалъ случая замѣнить общество писателей, чиновниковъ и дѣльцовъ—средой мужиковъ, деревенскихъ бабъ и дѣтей. Въ писательскій кругъ, гдѣ ему суждено было занять такое видное мѣсто, онъ попалъ совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, терпѣлъ большую нужду и на опытѣ узналъ, что значитъ литературный трудъ въ условіяхъ нищенскаго существованія. Этотъ литературный трудъ поставилъ его много лѣтъ спустя во главѣ самого ходкаго передового журнала, придалъ его слову большой общественный вѣсъ и ввелъ его въ самые разнообразные слои людей власть имущихъ, портреты и силуэты которыхъ онъ занесъ съ большимъ мастерствомъ на страницы своей сатиры. Но прежде, чѣмъ стать такой силой, Некрасовъ прошелъ суровую школу жизни, и въ борьбѣ съ житейскими испытаніями онъ, какъ чуткій и совѣстливый человѣкъ, не всегда оставался собою доволенъ—по крайней мѣрѣ въ его стихахъ вамъ нерѣдко будутъ попадаться мотивы раскаянія и сожалѣнія о грѣхахъ, забыть о которыхъ его совѣсть была не въ силахъ. Не стоило бы упоминать объ этомъ, если бы именно эти стихи не были одними изъ самыхъ художественныхъ въ сборникѣ его стихотвореній.

Со всѣми стихотвореніями Некрасова вы должны ознакомиться полностью—впрочемъ, это сдѣлается само собою, какъ только вы откроете первыя страницы. Смѣшеніе лирическаго настроенія съ описательнымъ элементомъ придаетъ стихамъ Некрасова необычайное внутреннее разнообразіе и держитъ ваше вниманіе насторожѣ. Обиліе темъ въ этихъ стихахъ поразительное, какъ и умѣнье очень яркую картину заключить въ очень маленькую рамку. Наконецъ этотъ стихъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ необычайно музыкальный, съ богатѣйшимъ лексикономъ народныхъ словъ и удивительно пѣвучими риѳмами—самъ врѣзывается въ память читателя. Но не только художественное наслажденіе испытаете вы, знакомясь съ этими стихотвореніями въ ихъ цѣломъ. Знакомство именно со всѣми стихотвореніями Некрасова будетъ имѣть для васъ совсѣмъ особое значеніе. По повѣстямъ и романамъ нашихъ художниковъ-реалистовъ вы ознакомились съ жизнью разныхъ слоевъ русскаго общества. Стихи Некрасова заставятъ васъ вспомнить о всѣхъ этихъ разсказахъ; быть и люди всѣхъ классовъ пройдутъ передъ вашими глазами, и стихи поэта окажутся какъ бы поэтическимъ итогомъ прочитаннаго вами раньше. Краткое стихотвореніе дополнитъ длинный прозаическій разсказъ, и всѣ стихи поэта размѣстятся въ тѣхъ отдѣльныхъ главахъ исторіи русской жизни, надъ которой работали наши художники-

прозаики, и эти стихи окажутъ вамъ помощь какъ конспектъ, но только не сухой, а полный красокъ и движенія.

Старая помѣщичья жизнь встанетъ передъ вами. Мягкихъ нѣжныхъ красокъ вы встрѣтите немного, — гораздо меньше, чѣмъ въ повѣстяхъ и романахъ. Тѣневая сторона подчеркнута рѣзче,—поэтъ становится сатирикомъ, бытописаніе смѣняется критикой и насмѣшкой, въ особенности когда Некрасовъ начинаетъ говорить о переходныхъ временахъ, о крушеніи помѣщичьей власти, о способахъ, какими помѣщики пытались вознаграждать себя за понесенные при освобожденіи убытки, и объ ихъ перерожденіи въ дѣльцовъ и героевъ наживы. Въ сатирѣ Некрасова, направленной противъ этихъ людей, много злобы и горечи, быть-можетъ, потому, что онъ изъ всѣхъ дворянъ помѣщиковъ, писавшихъ о старой жизни, не въ примѣръ другимъ, не пользовался ни однимъ изъ ея преимуществъ.

Относясь суровѣе другихъ писателей къ помѣщику [Некрасовъ имѣлъ въ данномъ случаѣ въ литературѣ одного сильнаго союзника—Щедрина], поэтъ всю свою любовь перенесъ на крестьянина. Эта любовь доставляла ему много страданія, но, конечно, и много радости. Страданія—потому, что онъ, по мѣрѣ того, какъ жизнь отдаляла его отъ деревни и по мѣрѣ того, какъ личное его благополучіе увеличивалось, все никакъ не могъ отдѣлаться отъ мысли, что онъ, этотъ народъ, недостаточно сильно и недостаточно искренне любитъ, что онъ все-таки баринъ, которому народное страданіе близко лишь въ идеѣ, въ поэтическомъ представленіи, и наконецъ, что его выступленіе въ защиту народа въ сущности очень ничтожная помощь ему. Но съ другой стороны его любовь къ народу была для него и утѣшеніемъ, и радостью. Она придавала смыслъ его существованію не какъ человѣка, а именно какъ писателя. Вся Россія отозвалась на его пѣсню. Было время, когда онъ былъ самый популярный изъ всѣхъ нашихъ поэтовъ и когда его словами и интеллигентный и неинтеллигентный человѣкъ отзывался на горе народной жизни. Въ этомъ, конечно, была большая радость для писателя, который чувствовалъ и видѣлъ, что въ дорогомъ для него дѣлѣ онъ исполняетъ совсѣмъ особую работу, плодотворную и нужную, которую никто кромѣ него не можетъ выполнить съ такимъ умѣньемъ и совершенствомъ.

Дѣйствительно, не только въ ряду поэтовъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, но и въ ряду художниковъ-реалистовъ вообще, Некрасовъ, какъ бытописатель народной жизни, занимаетъ исключительное мѣсто. Раздѣляя общую всѣмъ писателямъ вѣру въ силы народнаго ума и чуткость народнаго сердца,

приводя примѣры необычайно тонкихъ движеній и ощущеній народной души, Некрасовъ—какъ никто изъ его современниковъ—обладалъ даромъ изображать народное горе и страданіе. Тема была, конечно, въ его время благодарная, но необычайно трудная. Художникъ, касаясь ее, рисковалъ впасть въ сентиментальную слащавость, въ повышенный пафосъ, въ реторику, декламацію, резонерство, наконецъ въ шаблонъ; онъ какъ многіе печальники горя народнаго, не вышедшіе изъ народной среды, а стремящіеся итти ей навстрѣчу, могъ невольно допустить много трафаретнаго и невѣрнаго въ изображеніи тяжелой жизни крестьянина и его психики и тѣмъ подорвать силу впечатлѣнія всей картины. Но Некрасовъ единственный изъ нашихъ писателей „народолюбцевъ", который, говоря о народѣ, умѣлъ какъ-то заставить читателя забыть о томъ, что съ нимъ говоритъ не крестьянинъ. Его часто упрекали за барскій образъ жизни, но барскаго отношенія къ своей задачѣ — писать о народѣ—въ Некрасовѣ никогда не было, и если были среди нашихъ большихъ писателей художники, слова которыхъ могли показаться самому народу его словами, въ которыхъ народъ узналъ бы свои чувства и мысли, такъ это были—Некрасовъ и Л. Толстой.

Пусть при изображеніи народной жизни и народной души поэтъ не щадилъ мрачныхъ красокъ, но онъ какъ-то такъ умѣлъ пользоваться темными красками, что при всемъ глубоко-печальномъ тонѣ его пѣсни, она не только могла тронуть и разжалобить читателя, но, какъ и вся наша народническая литература, укрѣпить въ немъ вѣру въ народъ и притомъ не только оттѣненіемъ опредѣленныхъ сильныхъ сторонъ народной души, но совсѣмъ особымъ пріемомъ. Поэтъ, не развивая въ деталяхъ своей мысли, давалъ намъ яснѣе другихъ почувствовать, какъ велика соціальная несправедливость, которая на нашихъ глазахъ творится, участниками которой мы до извѣстной степени являемся, и которая вмѣстѣ съ тѣмъ есть не только нашъ грѣхъ, но и источникъ нашей собственной слабости и національнаго униженія.

Читая эти скорбныя и мрачныя страницы, мы начинаемъ отчетливо понимать, что страдаетъ и больна не слабая, а именно самая сильная часть нашего общественнаго организма, что участь наша, участь культурныхъ людей, въ полной зависимости отъ народной массы—не въ матеріальномъ только смыслѣ, а въ смыслѣ очень широкомъ. Въ исторіи нашей поэзіи не было еще примѣра, когда поэтъ, который обычно сторонится отъ мало культурной или совсѣмъ темной толпы, далъ бы намъ такъ почувствовать нашу незримую и почти неопредѣлимую тѣсную связь съ нею, какъ Некрасовъ. И связь

сознательно относился къ переживаемому времени, пѣсня Некрасова будила боевое настроеніе, будила чувство протеста противъ сложившихся условій общественной жизни. Некрасовъ отрицалъ жизнь, неудовлетворяющую чувству соціальной справедливости, и наше общество, въ тѣ времена еще очень инертное, было въ повышеніи энергіи мысли, чувствъ и воли многимъ поэту обязано. Раздавались нерѣдко голоса, которые утверждали, что гражданская пѣсня сама по себѣ, какъ таковая, должна стѣснять и свободу пѣвца и вредно отразиться на красотѣ и законченности поэтическихъ образовъ. На этотъ чисто-эстетическій вопросъ вы можете отвѣтить себѣ сами по своему разумѣнію, но каковъ бы ни былъ нашъ отвѣтъ—вы почувствуете, какъ поэзія Некрасова повыситъ въ васъ нравственныя требованія, которыя вы ставите жизни. А такое повышеніе—большая культурная заслуга художника.

XIX.

Художникъ-реалистъ и интеллигентные круги общества.

Памятники художественной словесности, съ которыми вы ознакомились, могутъ до извѣстной степени замѣнить вамъ одну всѣмъ намъ до сихъ поръ недостающую и очень нужную книгу.

Наша наука довольно подробно разработала исторію нашей жизни. По каждой исторической эпохѣ вы можете найти не мало книгъ, которыя освѣтятъ вамъ данную эпоху съ разныхъ сторонъ. Государственный порядокъ, внѣшнія отношенія, внутреннее строеніе, юридическій и экономическій строй, культура въ широкомъ смыслѣ, теченія научныя и литературныя—всѣ эти отдѣльныя области единой народной жизни могутъ быть изучены вами съ помощью книгъ, иногда очень цѣнныхъ по своему научному значенію. Но одна сторона нашей жизни остается для самаго ревностнаго читателя еще очень мало освѣщенной, почти темной: это — исторія нравовъ и характеровъ тѣхъ людей, которые творили исторію. Бытъ, обычаи, обстановка, картина воспитанія и обученія, внутренность дома, и въ особенности образъ мыслей и строй души нашихъ предковъ, и дальнихъ и болѣе близкихъ, рѣдко привлекали къ себѣ вниманіе нашихъ ученыхъ, и эта область историческаго знанія разработана пока очень скудно. Передъ нами груда матеріаловъ, которые должны быть еще приведены въ систему и на основаніи которыхъ должно быть написано еще несуществующее обобщающее сочиненіе.

Среди этого матеріала памятники изящной словесности занимаютъ первое мѣсто; они могутъ до извѣстной степени замѣнить отсутствующую книгу, и потому-то чтеніе ихъ въ возможно большомъ количествѣ и имѣетъ такое широкое образовательное значеніе. Они одновременно воспитываютъ вашъ эстетическій вкусъ, знакомятъ васъ съ человѣкомъ и, кромѣ того, даютъ вамъ то, что пока ни одна книга вамъ дать не можетъ—даютъ вамъ знаніе быта въ недавнемъ прошломъ и притомъ знаніе не теоретическое и сухое, а наглядное, полное красокъ.

Велика въ данномъ случаѣ заслуга именно художниковъ, реалистовъ второй половины XIX вѣка, тѣхъ писателей, которые настолько сблизили литературу съ жизнью, что писанія ихъ обратились въ историческіе документы не ихъ личной жизни только, а жизни тѣхъ слоевъ и круговъ общества, куда проникалъ ихъ пытливый взглядъ.

Изъ тѣхъ памятниковъ, которые мы разсмотрѣли, у васъ получилось общее понятіе о жизни цѣлаго ряда слоевъ нашего общества. Передъ вашими глазами прошли хоть и отрывочныя, но правдивыя картины быта дворянскаго въ усадьбахъ и столицахъ, быта крестьянскаго въ годы крѣпостного права и годы его отмѣны, быта солдатскаго при старыхъ порядкахъ, быта чиновнаго и купеческаго и быта духовенства; наконецъ, картины жизни людей, отверженныхъ всѣми слоями... Свѣдѣніями, какія даны въ этихъ памятникахъ, вы, конечно, ограничиться не можете и у васъ впослѣдствіи должно найтись время для ихъ пополненія изъ того же источника. Но какъ бы свѣдѣнія, которыми вы уже обладаете, ни были кратки и неполны, они все-таки допускаютъ обобщающія сужденія.

Иногда въ нашей критикѣ и публицистикѣ раздавались голоса, которые обвиняли нашихъ писателей въ пристрастіи къ мрачнымъ краскамъ при изображеніи нашей жизни. Упреки эти врядъ ли справедливы: пристрастія къ изображенію мрачныхъ сторонъ жизни у писателей не было, но что мрачныя краски преобладали надъ свѣтлыми—это вѣрно. Объясняется это прежде всего тѣмъ, что, дѣйствительно, въ тѣхъ темныхъ и полутемныхъ углахъ, куда писатель-реалистъ сталъ заглядывать, мрачнаго было больше, чѣмъ свѣтлаго, а также и тѣмъ, что писатель, признавая себя выразителемъ и глашатаемъ общественной совѣсти, сознавая себя судьей и обличителемъ, естественно долженъ былъ по преимуществу сосредоточивать свое вниманіе на тѣхъ сторонахъ жизни, которыя для обличенія давали удобный предлогъ и богатую пищу. Но, исполнивъ этотъ долгъ судьи и общественной, и иной

морали, писатель-реалистъ на этомъ не останавливался. На какія бы печальныя размышленія ни наводили его отдѣльныя явленія, онъ при обобщеніи ихъ и при окончательномъ судѣ надъ дѣйствительностью, ихъ породившей, былъ далекъ отъ мрачнаго вывода, отъ пессимистической оцѣнки нашей общенародной жизни. Количество грѣха, на этой жизни лежащаго, не затемняло въ его глазахъ ея здоровыхъ началъ и многихъ добрыхъ ея сторонъ. Вы могли это провѣрить по всѣмъ памятникамъ, съ которыми вы ознакомились. Много преступленій и грѣховъ таила въ себѣ помѣщичья жизнь при крѣпостномъ строѣ, но писатель, которому правда была дорога, осуждая и безпощадно бичуя этотъ строй и указывая на него, какъ на источникъ всѣхъ грѣховъ и преступленій—далъ намъ не мало мирныхъ картинъ этой жизни и набросалъ много типовъ и характеровъ людей, которые были по-своему гуманны и благожелательны, при полной возможности быть и жестокими и несправедливыми. Если мы вспомнимъ, какъ значительна была роль нашего дворянства въ дѣлѣ борьбы съ крѣпостнымъ правомъ и въ исторіи его отмѣны, то наличность гуманныхъ чувствъ въ средѣ нашего дворянства станетъ очевидной. Нѣтъ основанія идеализировать представителей нашего высшаго сословія, но отдать имъ должное нужно—какъ это и дѣлали наши писатели-реалисты, избиравшіе дворянскую жизнь излюбленной темой для своихъ разсказовъ [напримѣръ, Толстой и Тургеневъ]. Точно также и въ обрисовкѣ жизни крестьянской писатель не поскупился на мрачныя краски, но онъ же первый и настойчивѣе, чѣмъ кто-либо, твердилъ намъ постоянно о цѣнныхъ качествахъ ума крестьянина, объ его душевныхъ добродѣтеляхъ, о талантливости его натуры... Мракъ крестьянскаго ума и сердца писатель относилъ на счетъ сначала крѣпостного права, а затѣмъ и другихъ тяжелыхъ условій его мнимо свободнаго состоянія. Изъ всѣхъ разсказовъ о крестьянской жизни, какіе намъ дала наша изящная словесность, мы можемъ вывести одинъ общій выводъ—увѣренность въ большой духовной силѣ нашего народа. Когда затѣмъ писатель изображалъ этотъ народъ подъ солдатской шинелью, онъ опять наглядно показалъ намъ, какъ при самыхъ отчаянныхъ условіяхъ существованія простой человѣкъ можетъ подняться на большую высоту нравственнаго самосознанія. Изображая жизнь купечества и духовенства, писатель снова подчеркнулъ тѣ добрыя душевныя качества, которыми сильны были люди этой среды, опять-таки вопреки условіямъ воспитанія и несмотря на большую косность и темноту жизни, какой они жили. Даже для преступниковъ и людей, по собственной

винѣ отверженныхъ обществомъ, писатель нашелъ слова защиты. Въ душѣ этихъ злыхъ и жестокихъ людей онъ подмѣтилъ тусклый свѣтъ какого-то добраго начала... Для однихъ только чиновниковъ, отъ малыхъ до высокопоставленныхъ, писатель сдѣлалъ исключеніе: онъ, дѣйствительно, любилъ говорить объ ихъ порокахъ, ихъ маломъ государственномъ смыслѣ, о всевозможныхъ ихъ привычкахъ и пріемахъ, отъ которыхъ всѣмъ, и ихъ подчиненнымъ, и обывателямъ приходилось такъ жутко и тягостно. Попытокъ создать типъ благомыслящаго чиновника было сдѣлано очень мало, и всѣ они, начиная съ попытки Гоголя во второй части „Мертвыхъ душъ", оказались неудачными. Это не значило, что среди чиновниковъ разныхъ ранговъ не было людей, заслуживающихъ симпатіи и уваженія. Такія лица, конечно, были; но если писатель обходилъ ихъ, то потому, что чиновничество въ его цѣломъ являлось создателемъ, проводникомъ и защитникомъ того именно строя, который такъ затруднялъ во всѣхъ слояхъ общества развитіе тѣхъ добрыхъ началъ, какими писатель дорожилъ всего больше и сохраненію которыхъ въ народной душѣ онъ такъ радовался. Образъ благомыслящаго чиновника долженъ былъ либо обратиться въ ходячую реторическую фразу, стать общимъ мѣстомъ, ничего не говорящимъ, либо такой чиновникъ долженъ былъ вступить въ борьбу съ тѣми порядками, отстаивать которые онъ былъ призванъ по своему положенію, но тогда онъ переставалъ быть „чиновникомъ". Примѣры такой борьбы въ жизни бывали, но они не были типичны, были исключеніемъ, и художникъ-реалистъ прошелъ мимо нихъ.

Итакъ, общій выводъ изъ всѣхъ наблюденій художника надъ русской жизнью въ разныхъ ея слояхъ и разныхъ обнаруженіяхъ былъ не изъ печальныхъ, хотя онъ и опирался на цѣлый рядъ мрачныхъ картинъ. Вопреки мраку и независимо отъ него—душевнаго тепла и свѣта было не мало въ душѣ людей, надъ воспитаніемъ и образованіемъ которыхъ никто не трудился, и которые росли при условіяхъ благопріятныхъ лишь для всѣхъ отрицательныхъ сторонъ ума и сердца. Кромѣ душевнаго тепла и свѣта, художникъ отмѣтилъ въ этихъ людяхъ и силу ума, и большой запасъ энергіи.

Къ очень бодрому общему выводу пришелъ писатель-реалистъ и тогда, когда онъ сталъ слѣдить за жизнью нашихъ образованныхъ круговъ, за жизнью того слоя общества, который принято называть „интеллигенціей".

До сихъ поръ вы имѣли дѣло съ художественными памятниками, въ которыхъ была изображена жизнь разныхъ слоевъ русскаго общества, замкнутыхъ въ извѣстномъ кругѣ

понятій, выросшихъ въ извѣстныхъ традиціяхъ, съ болѣе или менѣе однороднымъ міросозерцаніемъ и складомъ души, при однородныхъ привычкахъ—слоевъ, отличныхъ другъ отъ друга по степени своей образованности, матеріальной обезпеченности и по своему правовому и общественному положенію и значенію.

Въ годы, когда писали наши художники-реалисты, разграниченіе слоевъ было очень замѣтно и рѣзко; къ нашему времени оно значительно сгладилось, и между отдѣльными классами общества установилась гораздо бо̀льшая солидарность. Но и въ тѣ времена, да и значительно раньше, среди всѣхъ этихъ слоевъ образовался особый общественный слой, который былъ какъ бы соединяющимъ звеномъ между ними всѣми. Это былъ слой по количеству единицъ, въ него входившихъ, немногочисленный [въ сравненіи съ остальной общенародной массой], но зато очень разнообразный по своему сословному составу. Это былъ слой людей культурныхъ, болѣе или менѣе образованныхъ, придававшихъ большое значеніе именно культурнымъ богатствамъ жизни, людей, цѣнившихъ науку, искусства, публицистику, критику, вообще всѣ формы проявленія идейныхъ цѣнностей, людей, которые либо сами создавали такія цѣнности, либо усвояли ихъ, слѣдили за ихъ ростомъ и способствовали ихъ распространенію въ кругахъ темныхъ и полутемныхъ. Этотъ слой принято называть интеллигентнымъ. Онъ былъ слоемъ безсословнымъ, и въ его составъ входили лица всѣхъ классовъ и состояній, конечно, не въ одинаковой мѣрѣ. Дворянство помѣстное и военное, чиновничество, купечество, духовенство имѣли въ немъ наибольшее число представителей. Съ шестидесятыхъ годовъ въ интеллигентныхъ кругахъ стали появляться и крестьяне. Общихъ традицій, единства направленія, единаго міросозерцанія въ интеллигентномъ кругу, конечно, быть не могло: онъ дробился на большое количество отдѣльныхъ группъ, иногда довольно многочисленныхъ, иногда малочисленныхъ—группъ, которыя смотрѣли различно и на общіе вопросы жизни и на вопросы, касавшіеся жизни русской, и на требованія текущаго дня. Интеллигенція была идейной силой, которая отмѣчала собою степень культурнаго развитія всей страны. Она не имѣла сначала почти никакого вліянія на самый ходъ нашей жизни, на тотъ внутренній порядокъ, который въ странѣ господствовалъ, и направленіе котораго было всецѣло сосредоточено въ рукахъ правительства. Съ интеллигентной мыслью, съ настроеніемъ, которое царило въ интеллигентныхъ кругахъ, съ журналами и книгами, которые являлись выразителями мнѣній образованнаго слоя общества,

правительство сначала совсѣмъ не считалось; оно покровительствовало той части интеллигенціи, которая держалась правительственныхъ взглядовъ и, значитъ, ничего новаго правительству сказать не могла, и всячески обуздывала ту часть, которая во взглядахъ съ правительствомъ расходилась и составляла, какъ принято говорить, „прогрессивный элементъ“ въ обществѣ. Съ теченіемъ времени сила интеллигентной мысли росла, число образованныхъ людей въ странѣ увеличивалось, прогрессивная передовая мысль крѣпла и расширялась, и правительству пришлось съ интеллигентнымъ общественнымъ мнѣніемъ считаться, дѣлая ему постепенно все бо̀льшія и бо̀льшія уступки. Такіе болѣе частые и серьезные счеты правительства и интеллигенціи, счеты очень недружелюбные, обозначились довольно рѣзко со средины XIX столѣтія, въ годы, когда началась литературная дѣятельность нашихъ художниковъ-реалистовъ.

Слѣдя зорко за жизнью и стремясь согласовать свой вымыселъ съ ея правдой, писатели-реалисты естественно должны были включить въ кругъ своихъ наблюденій исторію развитія идей и настроеній въ интеллигентныхъ кругахъ общества. Продолжая собирать матеріалы по исторіи быта и психикѣ разныхъ сословій, они одновременно старались въ художественныхъ о̀бразахъ дать изображеніе и тѣхъ послѣдовательныхъ теченій, какія господствовали въ образованныхъ слояхъ съ того времени, какъ они, писатели, стали наблюдать ихъ. Картина жизни отдѣльныхъ сословій дополнялась такимъ образомъ изображеніемъ того общественнаго движенія, въ которомъ принимали участіе представители всѣхъ сословій не какъ таковые, а какъ образованные люди.

Иногда художникъ давалъ изображеніе самой жизни интеллигентныхъ круговъ, т.-е. опять-таки быта, среди котораго жилъ образованный человѣкъ его времени, но это рѣдко. Бытовая картина въ данномъ случаѣ не входила въ его замыселъ. Ему хотѣлось передать въ о̀бразахъ движеніе самихъ мыслей и настроеній, какими жили образованные люди, и потому художникъ сталъ сосредоточивать все свое вниманіе на отдѣльныхъ лицахъ, на мужчинахъ и женщинахъ, въ которыхъ онъ видѣлъ типичныхъ представителей того или иного идейнаго теченія. Эти типичные люди, эти „положительные“ или „отрицательные“ типы не были вымышлены писателемъ [онъ, какъ реалистъ, держался строгой правды жизни], они не были портретами, такъ какъ очень трудно найти въ жизни живое лицо, которое совмѣщало бы въ себѣ всѣ характерныя черты цѣлаго идейнаго направле-

нія или общественнаго движенія: они были живые *обобщенія* живыхъ людей съ сохраненіемъ самой правдивой психологической мотивировки ихъ чувствъ, мыслей и поступковъ, правдивой и въ общечеловѣческомъ смыслѣ, и въ смыслѣ историческомъ, примѣнительно къ данной эпохѣ.

Такъ появились въ романахъ и разсказахъ художниковъ-реалистовъ тѣ герои-мужчины и героини-женщины, которые должны были олицетворять собою всю внутреннюю жизнь интеллигентнаго класса. Задача была не изъ легкихъ, и въ выполненіи ея художникъ былъ до извѣстной степени не свободенъ, такъ какъ онъ ставилъ себѣ извѣстную цѣль, писалъ по извѣстной программѣ. Вотъ почему во всѣхъ повѣстяхъ и романахъ съ такимъ идейнымъ направленіемъ всегда была примѣсь условнаго, т.-е. заранѣе придуманнаго, преднамѣренно расположеннаго, умышленно подчеркнутаго, какъ въ характерѣ дѣйствующихъ лицъ, такъ и въ ихъ поступкахъ. Отъ этихъ недостатковъ не были свободны произведенія даже самыхъ крупныхъ нашихъ художниковъ-реалистовъ, но эти недочеты нисколько не мѣшали цѣльности и яркости картины, которая была дана въ этой иллюстрированной исторіи нашей интеллигенціи. Всѣ главнѣйшія смѣны и колебанія въ развитіи идей и настроеній въ образованныхъ кругахъ нашего общества были художникомъ отмѣчены.

Идеалисты „сороковыхъ годовъ“ въ эпоху ихъ расцвѣта и упадка; первое появленіе людей съ практическимъ направленіемъ мысли и воли; быстрое развитіе этого новаго типа интеллигентнаго человѣка, который въ жизни ищетъ прежде всего дѣла, сначала болѣе скромнаго, а затѣмъ и болѣе широкаго и значительнаго по своему общественному смыслу—всѣ эти наиболѣе характерныя лица въ жизни нашей интеллигенціи, съ конца сороковыхъ годовъ до восьмидесятыхъ, явились передъ нами на страницахъ романовъ. Свое вниманіе художникъ сосредоточилъ преимущественно на типахъ прогрессивнаго, передового образа мыслей, и въ нашей изящной литературѣ тѣхъ годовъ эти типы преобладаютъ надъ типами людей, какъ принято говорить, „консервативнаго“ направленія. На это обстоятельство иногда обращала вниманіе наша критика и упрекала писателей въ пристрастіи къ одному направленію въ ущербъ другому. Но такое пристрастіе писателя къ типамъ передового образа мыслей вполнѣ понятно. Не говоря уже о томъ, что многое въ убѣжденіяхъ этихъ лицъ было по душѣ самимъ писателямъ, большинство которыхъ было людьми передовыми—само появленіе такихъ людей съ прогрессивной программой вносило въ жизнь нѣчто новое, т.-е. не позволяло жизни стоять на одномъ мѣстѣ и

двигало ее впередъ. Для художника, который слѣдилъ за *развитіемъ* общественнаго сознанія, люди, вносящіе въ это сознаніе новизну и движеніе, представляли, конечно, наибольшій интересъ.

Когда вы ознакомитесь съ этой галлереей типовъ нашего интеллигентнаго круга 40-хъ—80-хъ годовъ, вы придете къ очень отрадному выводу. На этотъ разъ конечно, никакихъ мрачныхъ картинъ передъ вашими глазами не будетъ, такъ какъ дѣйствіе будетъ разыгрываться въ условіяхъ исключающихъ всякій мракъ умственный и нравственный. Вы встрѣтитесь, можетъ-быть, съ людьми, съ которыми вы не будете согласны во взглядахъ, съ людьми, которыхъ вы, быть-можетъ, не полюбите, но во всѣхъ этихъ геройхъ изъ интеллигентнаго круга васъ остановитъ на себѣ сила мысли, характера и воли, а также тонкость и глубина чувствъ. И вы еще разъ убѣдитесь въ томъ, какими большими духовными силами нашъ народъ обладаетъ—народъ, на этотъ разъ представленный не сѣрой общей массой, а отдѣльными надъ массой возвышающимися личностями.

XX.

Люди сороковыхъ годовъ.

Писатели-реалисты второй половины XIX вѣка, сосредоточивая свое вниманіе на интеллигентномъ кругѣ, продолжали дѣло, надъ которымъ трудились и ихъ предшественники—писатели эпохи Пушкина и Гоголя.

Жуковскій своей стихотворной исповѣдью открылъ намъ душу русскаго интеллигента-сентименталиста, Грибоѣдовъ далъ портретъ молодого энтузіаста, оскорбленнаго косностью и невѣжествомъ старины, Пушкинъ въ „Евгеніи Онѣгинѣ“ набросалъ типъ образованнаго человѣка, умнаго и тонко чувствующаго, но не способнаго найти въ жизни дѣло, которое позволило бы ему использовать свои дарованія на благо себѣ и ближнимъ; Лермонтовъ въ Печоринѣ познакомилъ насъ съ характернымъ образцомъ русскаго романтика, человѣка большого ума и большихъ страстей, ставившаго жизни большія требованія, неудовлетвореннаго этой жизнью и потому самовольно отказавшагося отъ всякаго участія въ ея дѣлахъ и движеніи. Цѣлая группа романистовъ, авторовъ такъ называемыхъ „нравоописательныхъ“ романовъ, пыталась также закрѣпить въ образахъ міросозерцаніе и душевный складъ современныхъ имъ интеллигентныхъ людей изъ разныхъ круговъ общества. Одинъ Гоголь, какъ художникъ, про-

шелъ мимо интеллигента, но зато въ „Перепискѣ съ друзьями" счелъ своимъ долгомъ выяснить интеллигенту его обязанности и долги передъ Богомъ, правительствомъ и народомъ.

Міропониманіе и психологія образованнаго человѣка были, какъ видимъ, темой не новой, и писатель-реалистъ второй половины вѣка зналъ, какъ съ ней обращаться. Исторія жизни интеллигента двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ писателя-реалиста интересовала мало. Темою своихъ повѣстей и романовъ онъ избиралъ почти исключительно современную ему жизнь, и такъ какъ эта жизнь съ конца сороковыхъ годовъ усложнялась очень быстро и непрерывно новыми движеніями мысли, новыми оттѣнками настроенія и новыми типами, то у писателя не было ни времени, ни желанія углубляться въ старину, хотя бы самую близкую. Онъ приступилъ непосредственно къ изученію современности и сталъ работать надъ исторіей своего времени, излагая ее въ формѣ повѣсти или романа.

Повѣсть и въ особенности романъ, иногда очень длинный, стали самой ходкой формой литературнаго произведенія. И, дѣйствительно, эта форма представляла много удобствъ для писателя: онъ могъ рисовать обстоятельныя детальныя картины внѣшняго быта, могъ сразу ввести въ свой разсказъ большое количество дѣйствующихъ лицъ, дать подробныя ихъ характеристики, могъ при случаѣ вдаваться въ публицистику и критику, пояснять свои мысли историческими справками и могъ наконецъ самъ затеряться въ толпѣ своихъ героевъ и придать своему разсказу совершенно объективный характеръ. За весь періодъ художественнаго реализма въ нашей литературѣ—большой романъ удерживалъ свое первенствующее мѣсто, и только со средины восьмидесятыхъ годовъ и до нашего времени форма эта стала мельчать и мало-по-малу исчезала изъ литературнаго обихода.

Но въ пятидесятыхъ и послѣдующихъ годахъ вплоть до восьмидесятыхъ всѣ наши писатели-реалисты не боялись утомить читателя длиннымъ разсказомъ, а нѣкоторые вели настоящую лѣтопись своего времени въ формѣ отдѣльныхъ повѣстей, изъ которыхъ каждая служила какъ бы продолженіемъ предшествующей.

Исторія ингеллигенціи, написанная нашими художниками-реалистами, открывается повѣстями и романами, въ которыхъ были даны портреты такъ называемыхъ „людей сороковыхъ годовъ" во всѣхъ наиболѣе характерныхъ ихъ разновидностяхъ. „Люди сороковыхъ годовъ" —имя собирательное для всѣхъ тѣхъ идеалистовъ-интеллигентовъ, лицъ разныхъ міропониманій, но единаго душевнаго склада, которые приблизи-

тельно съ конца тридцатыхъ годовъ до конца пятидесятыхъ стояли во главѣ нашего и литературнаго и общественнаго движенія. Эти люди имѣли огромныя заслуги передъ родиной, и они долгое время были самой вліятельной культурной передовой группой въ нашемъ обществѣ, не сходясь, однако, другъ съ другомъ въ нѣкоторыхъ взглядахъ на самые существенные вопросы жизни, какъ, напримѣръ, во взглядахъ религіозныхъ и общественныхъ. Была въ этихъ людяхъ большая сила—были въ нихъ и слабости, и создала ихъ и воспитала эпоха императора Николая I.

Чтобы помочь вамъ понять этихъ идеалистовъ надо подыскать какую-нибудь самую общую формулу для характеристики ихъ душевнаго и умственнаго склада, формулу, которая оттѣнила бы отличіе ихъ души отъ психики ихъ предшественниковъ и психики тѣхъ людей, которые смѣнили ихъ въ нашей жизни. Такая формула, конечно, не можетъ быть исчерпывающей, но она можетъ быть проста и наглядна и потому удобна для классификаціи такихъ тонкихъ и сложныхъ явленій какъ міросозерцаніе людей и ихъ настроеніе.

Предшественниками людей сороковыхъ годовъ были уже знакомые вамъ „сентименталисты и романтики“, а смѣнили ихъ люди годовъ шестидесятыхъ, извѣстные подъ разными названіями: „реалистовъ“, „матеріалистовъ“, „критически мыслящихъ личностей“, „радикаловъ“, „революціонеровъ въ области мысли и дѣла“, „народниковъ“ и др.

Сентименталисты и романтики, вы помните, исходили въ оцѣнкѣ жизни изъ тѣхъ мыслей, впечатлѣній и ощущеній, какія будили въ нихъ преимущественно ихъ *чувства*, ихъ сердечныя движенія, ихъ мечты, видѣнія и чаянія. Душевныя движенія сентименталистовъ были въ общемъ очень мирныя, иногда мечтательно-грустныя, иногда благодушно-радостныя. Вѣра въ Бога, вѣра въ благомыслящую земную власть и вѣра въ добрыя начала человѣческой природы вообще были основными положеніями ихъ міросозерцанія и основою ихъ отношенія къ себѣ самимъ, ближнимъ и обществу. „Романтики“ были въ сущности тѣ же сентименталисты, но только съ очень повышенными страстями; благодушная радость доходила въ нихъ до экстаза, до очень бурныхъ порывовъ сердца и ума, а мечтательно-грустное настроеніе переходило въ ихъ душѣ нерѣдко въ глубокую скорбь о несоотвѣтствіи идеаловъ и жизни. Но ихъ отношеніе къ этой жизни и всѣмъ ея вопросамъ диктовалось имъ также преимущественно ихъ чувствомъ.

Люди сороковыхъ годовъ, какъ прямые наслѣдники сентименталистовъ и романтиковъ, отводили нѣжнымъ чувствамъ

и бурнымъ страстямъ большое мѣсто въ жизни, но эти чувства и страсти они стремились подчинить „разумному“ началу. Умъ, разумъ, его логическія операціи, строгое, цѣльное философское міросозерцаніе, охватывающее всю жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ духовныхъ и матеріальныхъ, — вотъ что цѣнили эти люди выше всего. Желаніе осмыслить каждый свой шагъ въ жизни, во всемъ найти разумность, желаніе доказать самому себѣ, что всегда и вездѣ, во всѣхъ своихъ чувствахъ и поступкахъ, человѣкъ долженъ дѣйствовать въ согласіи съ общей идеей, ясно формулированной или угадываемой, идеей, которая согласована со смысломъ всего мірозданія, — это желаніе было господствующимъ въ нихъ. Какъ въ сентименталистахъ и романтикахъ *чувство* было главнымъ факторомъ духовной жизни, такъ въ людяхъ сороковыхъ годовъ этимъ главнымъ двигателемъ была *мысль* почти всегда отвлеченная, но обладавшая властью вызывать въ нихъ большую экзальтацію не только ума, но и сердца.

Люди, которые пришли вслѣдъ за „людьми сороковыхъ годовъ“—такъ называемые „шестидесятники“ разныхъ толковъ и наименованій, — тѣ, отводя чувствамъ и разуму должную роль въ жизни, цѣнили, однако, выше всего акты *воли* и побужденія къ дѣйствію. Это были общественные дѣятели, которые хотѣли видѣть поскорѣй осуществленнымъ въ жизни то, что они считали разумнымъ по доводамъ разсудка и по настоянію чувствъ, какими они были охвачены. Они добивались осуществленія своихъ идеаловъ на землѣ актами очень рѣшительной и смѣлой воли, выступленіями, агитаціей, борьбой, вплоть до борьбы революціонной. И этимъ они отличались отъ людей сороковыхъ годовъ, съ которыми ихъ связывала и соединяла общая гуманная тенденція и общее имъ недовольство многими порядками русской жизни.

Разныя причины, и внутреннія и внѣшнія, вызвали такое характерное явленіе, какимъ была психика „людей сороковыхъ годовъ“, психика съ очень развитой мыслительной способностью при малой напряженности воли. Вы знаете, какъ разнообразенъ и богатъ былъ тотъ запасъ новыхъ для насъ чувствъ, впечатлѣній, настроеній и страстей, съ которыми мы ознакомились послѣ Наполеоновскихъ войнъ, когда мы вступили въ болѣе тѣсное общеніе съ западомъ. Мы были подавлены новизной этихъ впечатлѣній и ихъ обиліемъ; мы были не подготовлены къ нимъ самой жизнью и потому мы ловили ихъ наскоро, откликаясь на нихъ непосредственно нашими чувствами и страстями. Но долженъ же былъ наступить моментъ, когда всю эту массу новыхъ впечатлѣній чувствъ и настроеній

надлежало привести въ извѣстную стройную систему, надлежало осмыслить какой-нибудь общей философской мыслью, для того, чтобы какъ-нибудь разобраться въ этой новизнѣ и установить болѣе или менѣе опредѣленные взгляды на разные вопросы жизни — вопросы религіозные, философскіе, нравственные, эстетическіе, общественные и даже строго политическіе. Единственнымъ надежнымъ руководителемъ въ дѣлѣ такого „осмысленія“ жизни и приведенія въ какую-нибудь систему наскоро накопленныхъ новыхъ идей, чувствъ и настроеній, являлась обобщающая философская мысль, сводящая все разнообразіе явленій жизни и ихъ отраженій въ душѣ человѣка къ какимъ-нибудь общимъ и болѣе или менѣе простымъ формуламъ и положеніямъ. „Люди сороковыхъ годовъ“ и ставили себѣ главной задачей выработать такой общій цѣльный философскій взглядъ на жизнь во всемъ ея цѣломъ и на назначеніе человѣка въ этой жизни—взглядъ, который долженъ былъ выяснить имъ и смыслъ жизни, и указать имъ ихъ мѣсто въ ней. Въ выполненіи этой задачи людямъ сороковыхъ годовъ пришла на помощь западная философская мысль, стоявшая тогда въ полномъ цвѣту, въ особенности въ Германіи. И на западѣ съ еще большей силой сказывалась эта потребность привести въ ясность все пережитое съ конца XVIII вѣка и подвести общій „разумный“ итогъ всему передуманному и перечувствованному. Великіе умы, обладавшіе исключительной силою отвлеченной обобщающей мысли—Фихте, Шеллингъ, Гегель—создали цѣлый рядъ такихъ философскихъ системъ, объясняющихъ весь процессъ міровой жизни съ ея начала до сегодняшняго дня во всѣхъ ея духовныхъ и матеріальныхъ обнаруженіяхъ. Русскіе идеалисты сороковыхъ годовъ приняли эти системы на вѣру, записались въ разныя философскія школы и стали прилагать къ русской жизни формулы иноземной философской мысли. Наше историческое прошлое и настоящее, планы грядущей нашей жизни, религіозный и церковный вопросъ, наше государственное устройство, вопросы общественные, народная психика, психологія классовъ образованныхъ, наша литература и эстетическая ея оцѣнка,—всѣ эти отрасли и стороны единой національной жизни разсматривались и обсуждались съ опредѣленной философской точки зрѣнія, и „люди сороковыхъ годовъ“, прежде чѣмъ намѣтить себѣ какую-нибудь программу дѣйствій, программу работы въ той или иной области жизни, считали для себя обязательнымъ имѣть полное и ясное логическое оправданіе всѣхъ своихъ плановъ и поступковъ. Плановъ было много, но воплотить ихъ въ поступкахъ, въ особенности такихъ, которые требовали большого напря-

женія воли и большого темперамента, было почти невозможно. Режимъ царствованія императора Николая I, строжайшая опека правительства не только надъ всякимъ дѣйствіемъ и выступленіемъ обывателя, но и надъ мыслями и чувствами его, исключалъ всякую возможность проявленія въ людяхъ рѣшительной воли, и эти внѣшнія условія жизни интеллигента съ своей стороны замыкали его въ кругѣ чистой мысли, заставляли его думать и думать, безъ возможности свои думы осуществить на дѣлѣ. И чѣмъ мысль была отвлеченнѣе и спокойнѣе, тѣмъ легче было ей отдаваться: философская мысль имѣла всѣ данныя къ тому, чтобы завладѣть людьми и подчинить себѣ ихъ чувство и волю и наполнить ихъ жизнь. Совсѣмъ оттѣснить „людей сороковыхъ годовъ“ отъ жизни эта философская мысль однако не смогла. Какъ она ихъ ни успокаивала, но общественнаго чувства въ нихъ она не угасила. Оно оставалось въ нихъ живымъ, и къ концу сороковыхъ годовъ оно сбросило съ себя иго отвлеченной спокойной мысли, осудило излишнее увлеченіе ею и толкнуло людей на поиски практическаго дѣла.

Но и въ годы еще полнаго торжества философской идеологіи мысли „людей сороковыхъ годовъ“ по одному вопросу приняли ясный общественный оттѣнокъ. Стремясь согласовать съ общими философскими взглядами на процессъ всей міровой исторической жизни свои сужденія о жизни русской въ ея прошломъ, настоящемъ и въ особенности будущемъ, идеалисты сороковыхъ годовъ, въ лицѣ ихъ наиболѣе сильныхъ представителей, раздѣлились на двѣ группы, на такъ называемыхъ „западниковъ“ и „славянофиловъ“. Это не были политическія партіи, такъ какъ таковыхъ въ то время не существовало, это были просто двѣ группы интеллигентныхъ людей, весьма сходныхъ по своему душевному и умственному складу, но расходившихся лишь въ рѣшеніи нѣкоторыхъ, правда, очень существенныхъ вопросовъ. Западники полагали, что Россіи въ дальнѣйшихъ своихъ судьбахъ предстоитъ пройти черезъ тѣ же формы общественнаго и политическаго строя, черезъ которыя проходилъ западъ; славянофилы думали, что путь нашъ будетъ иной, своеобразный, обусловленный прежде всего вѣковымъ устоемъ нашей жизни—самодержавіемъ царя; западники религіозному чувству отводили въ жизни очень скромное мѣсто, славянофилы признавали за нимъ первенствующую роль и считали, что мы, православные, какъ обладатели истинной вѣры, лучше и полнѣе другихъ сумѣемъ выразить религіозное начало бытія; западники думали, что въ дальнѣйшемъ строительствѣ жизни мы будемъ лишь сотрудниками нашихъ сосѣдей на западѣ; славянофилы полагали, что мы западу при-

несемъ нѣчто новое и скажемъ новое для него слово въ области морали, вѣры и политики. Въ вопросѣ объ участіи народа въ судьбахъ Россіи западники держались того мнѣнія, что этотъ народъ прежде всего нуждается въ руководительствѣ интеллигенціи; славянофилы, признавая значеніе культурнаго слоя въ обществѣ, думали, что интеллигенція сама должна многому научиться у народа, должна стать сотрудникомъ его и даже ученикомъ, а отнюдь не разыгрывать роль воспитателя и руководителя. Въ одномъ и западники и славянофилы совпадали, это—въ признаніи за нашимъ народомъ большой нравственной силы, большого трезваго ума и необычайной выдержки. Обѣ группы одинаково были увѣрены въ томъ, что духовныя силы народа помогутъ имъ—интеллигентамъ—осуществить въ союзѣ съ народомъ тотъ гражданскій и политическій строй жизни, который имъ казался добрымъ и справедливымъ.

Спорами этихъ двухъ лагерей, на которые распались люди сороковыхъ годовъ, были заполнены многія страницы нашихъ журналовъ того времени, но практическаго вліянія на ходъ самой жизни это состязаніе теоретиковъ не имѣло. Дѣйствительно, эти идеалисты были теоретики прежде всего—теоретики, быть-можетъ, поневолѣ, но во всякомъ случаѣ люди, далекіе отъ всякаго практическаго дѣла. Въ этомъ была ихъ слабость, но слабость, въ которой они были повинны лишь какъ сыны своего вѣка.

За этими людьми останется навсегда громадная культурная заслуга. Ихъ кружки были очагами истинной и широкой образованности среди огромной темной и полутемной массы и среди интеллигентнаго общества съ поверхностнымъ показнымъ лоскомъ образованія. „Люди сороковыхъ годовъ“ были наши первые мыслители, ученые, литераторы и публицисты, которые съ большимъ, иногда огромнымъ запасомъ знанія, служили просвѣщенію. Если они больше говорили, чѣмъ дѣлали, то вѣдь ихъ слово по тѣмъ временамъ было равноцѣнно дѣлу, такъ какъ прежде, чѣмъ дѣйствовать, надлежало намѣтить и разъяснить основные взгляды на жизнь, какими можно было бы руководствоваться при поступкахъ. Общая программа жизни, разработанная людьми сороковыхъ годовъ, была одна изъ самыхъ гуманныхъ, и всѣ тѣ свободы, которыя были потомъ завоеваны русскимъ обществомъ и стали реальными цѣнностями, въ сочиненіяхъ и въ рѣчахъ людей сороковыхъ годовъ были уже намѣчены и оправданы, какъ цѣнности идейныя.

XXI.

„Люди сороковыхъ годовъ". Ихъ расцвѣтъ и увяданіе.—„Былое и Думы" Герцена. Романы и повѣсти Тургенева—„Рудинъ", „Дворянское гнѣздо" „Дневникъ лишняго человѣка" и „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда".

Портреты „людей сороковыхъ годовъ" будутъ вамъ попадаться очень часто въ памятникахъ нашей словесности второй половины вѣка. Эти идеалисты, сначала очень въ себѣ увѣренные, затѣмъ грустно настроенные и наконецъ признающіе себя уже отсталыми—были въ сороковыхъ годахъ и началѣ пятидесятыхъ любимыми собесѣдниками нашихъ романистовъ, изъ которыхъ многіе сами принадлежали къ этому поколѣнію и въ 60-тыхъ годахъ и въ позднѣйшіе годы любили вспоминать о недавнемъ прошломъ. По отдѣльнымъ повѣстямъ и романамъ вы можете себѣ составить очень ясное представленіе о всѣхъ перемѣнахъ, какія произошли въ психикѣ этихъ мыслителей, мечтателей и гуманистовъ, для которыхъ размышленіе о жизни было дѣломъ ихъ жизни.

Есть одинъ памятникъ, который можетъ замѣнить вамъ пока еще ненаписанную исторію ихъ поколѣнія. Это—знаменитыя воспоминанія Александра Ивановича Герцена, изданныя имъ въ пятидесятыхъ годахъ за границей подъ заглавіемъ „Былое и Думы". [Первый томъ съ 1812—1847 г.]

Герценъ былъ однимъ изъ типичнѣйшихъ представителей группы людей сороковыхъ годовъ западническаго толка; но онъ былъ среди нихъ все-таки исключеніемъ. Вмѣстѣ съ весьма немногими изъ своихъ сверстниковъ—съ Бѣлинскимъ и Бакунинымъ—онъ принадлежалъ къ числу натуръ, которыя никакъ не могли удовольствоваться лишь мечтами и разсужденіями о жизни, а искали въ ней дѣла активнаго, которое сблизило бы ихъ мысли и мечты съ дѣйствительностью. Желаніе дѣйствовать въ концѣ концовъ пересилило въ Герценѣ всѣ остальныя его духовныя склонности, и онъ на исходѣ сороковыхъ годовъ покинулъ Россію, такъ какъ условія русской жизни, исключавшія возможность свободнаго и смѣлаго вліянія личности на ходъ событій, стали ему въ нестерпимую тягость. За границей Герценъ принялъ очень активное участіе въ революціонныхъ движеніяхъ во Франціи и Италіи, основалъ въ Лондонѣ вольную русскую типографію и, насколько могъ, вліялъ изъ-за границы на ходъ либеральнаго, радикальнаго и революціоннаго движенія въ Россіи. За границей онъ написалъ и свои воспоминанія.

Этотъ памятникъ принадлежитъ несомнѣнно къ числу произведеній изящной словесности. Герценъ, публицистъ по

темпераменту и по всему складу своего ума, былъ вмѣстѣ съ тѣмъ большимъ художникомъ и удивительнымъ портретистомъ. Вы почувствуете эту силу таланта съ первыхъ же страницъ его повѣсти о своей жизни. Но это не только повѣсть объ его жизни,—кстати сказать, жизни богатой необычайно яркими эпизодами,—это исторія въ лицахъ всего поколѣнія людей сороковыхъ годовъ, всѣхъ наиболѣе сильныхъ и типичныхъ его представителей, какъ западническаго лагеря, такъ и славянофильскаго. Только большой художникъ могъ въ такой сжатой и красочной картинѣ дать всю исторію внутренней жизни цѣлаго поколѣнія, не вводя въ разсказъ никакихъ теоретическихъ разсужденій, а только развертывая передъ читателемъ картину за картиной и знакомя его съ живыми, на его глазахъ движущимися фигурами.

Многія главы „Былого и Думъ“ дополнятъ то, что уже дано вамъ въ разсказахъ другихъ художниковъ-реалистовъ о жизни дворянъ и чиновниковъ. Но эти картины быта вплетены Герценомъ въ художественный разсказъ о жизни интеллигентнаго класса, и этотъ классъ въ свою очередь представленъ не въ одинъ какой-нибудь данный моментъ своего состоянія, а въ нѣсколько послѣдовательныхъ эпохъ своего развитія. „Былое и Думы“ могутъ очень наглядно пояснить вамъ смѣну различныхъ міросозерцаній и настроеній въ нашихъ интеллигентныхъ кругахъ, и самъ Герценъ, какъ онъ изображенъ въ этой автобіографіи, представляетъ собой разительный примѣръ послѣдовательнаго проявленія въ русскомъ образованномъ человѣкѣ тѣхъ двухъ формъ міропониманія и настроенія, которыя предшествовали философскому идеализму „сороковыхъ годовъ“. Читая эту книгу, вы вмѣстѣ съ ея авторомъ переживете сентиментальныя и романтическія движенія души, которыя онъ переживалъ съ такой силой и искренностью, и вы поймете, какъ естественъ и простъ былъ для людей сороковыхъ годовъ переходъ отъ чувства и страстей къ обобщающему и успокаивающему мышленію.

Какъ бы продолженіемъ „Былого и Думъ“ является цѣлый рядъ романовъ и разсказовъ Ивана Сергѣевича Тургенева. На долю Тургенева выпала эта трудная задача дать намъ въ художественныхъ образахъ картину душевныхъ переживаній человѣка сороковыхъ годовъ въ эпоху его увяданія. Повѣсти и романы Тургенева—это самая искренняя исповѣдь человѣка сороковыхъ годовъ и притомъ самая полная исповѣдь, такъ какъ Тургеневъ былъ уже вполнѣ сложившимся и установившимся писателемъ, когда онъ сталъ излагать исторію души людей его времени, людей богатыхъ столькими

духовными силами, но скоро почувствовавшихъ, что жизнь ихъ обгоняетъ и потому поневолѣ грустныхъ.

Писатель по призванію, любящій свободу въ жизни и въ творчествѣ, большой поклонникъ западной культуры, Тургеневъ прожилъ бо́льшую часть своей жизни за границей. Жизнь эта никакими особенно драматическими эпизодами не блистала, она была интимной писательской жизнью и очень часто далекой отъ той русской жизни, которую писатель брался изображать. Обрисовка русской дѣйствительности во всемъ ея разнообразіи не всегда удавалась художнику [наибольшимъ мастеромъ былъ онъ въ описаніи помѣщичьяго и крестьянскаго быта], но въ одномъ онъ былъ неподражаемо силенъ, это—въ возсозданіи міросозерцанія и души идеалиста сороковыхъ годовъ на склонѣ его дѣятельности.

Въ тѣхъ романахъ Тургенева, въ которыхъ эта печальная страница жизни идеалистовъ разсказана, васъ поразитъ очень мягкій, нѣжный колоритъ разсказа и почти полное отсутствіе какой-либо страсти.

Въ Тургеневѣ было вообще много благодушія, много довѣрія къ человѣку, много нѣжныхъ и поэтическихъ чувствъ, которыя мѣшали всякому рѣзкому выступленію, поддерживали въ его душѣ мирное настроеніе и всегда склоняли читателя къ миролюбивымъ рѣшеніямъ. А между тѣмъ именно Тургеневъ поставилъ себѣ задачей слѣдить за повышеніемъ общественнаго настроенія въ нашихъ интеллигентныхъ кругахъ и за нарастаніемъ той общественной и политической волны, которая начала такъ быстро подниматься съ середины прошлаго вѣка. Въ своихъ большихъ романахъ Тургеневъ бралъ на себя роль историка и судьи очень сложной и тревожной жизни. Поставленный между своимъ поколѣніемъ и новыми подраставшими поколѣніями, между стариной, которая его вскормила, и новизной, которая неизвѣстно что сулила, онъ естественно не упускалъ случая отмѣтить въ этой старинѣ все, что уживалось съ любовью, гуманизмомъ, доброжелательствомъ и всѣми чувствами правдивой и благородной души. Вотъ почему въ его разсказахъ о дореформенномъ времени такъ мало мрачныхъ красокъ, такъ мало обличающаго и негодующаго настроенія; вотъ почему въ романахъ, въ которыхъ онъ вскрываетъ душу людей своего поколѣнія, такъ много нѣжности и состраданія къ героямъ и героинямъ и вотъ почему въ другихъ романахъ, въ которыхъ онъ пытается дать характеристику эпохи смѣнившей собою эпоху сороковыхъ годовъ, художнику измѣняетъ иногда и ясность и законченность образовъ и вѣрность сужденія и искренность настроенія. Романъ, въ которыхъ Тургеневъ говоритъ о своемъ поколѣніи—„Р

динъ, „Дворянское гнѣздо“ и разсказы о „лишнихъ“ людяхъ въ художественномъ отношеніи выше тѣхъ романовъ, герои которыхъ взяты изъ „новыхъ“ людей, шедшихъ на смѣну людямъ сороковыхъ годовъ—каковы напримѣръ дѣйствующія лица „Наканунѣ“ „Отцовъ и дѣтей“ и „Нови“. Старѣющему идеалисту сороковыхъ годовъ эти „новые“ люди были менѣе понятны, чѣмъ его сверстники.

„Рудинъ“ возбудилъ при своемъ появленіи въ печати очень большіе толки. Молодое поколѣніе конца пятидесятыхъ годовъ, признавая всѣ литературныя достоинства романа, увидало въ героѣ лишь человѣка слова и осудило его за то, что ни къ одному дѣлу онъ не могъ пристроиться, что даже въ дѣлѣ личнаго счастья онъ оказался такъ безволенъ и не энергиченъ. Молодые люди новой формаціи—а къ концу пятидесятыхъ годовъ это новое поколѣніе уже вступило въ жизнь—были, конечно, по-своему правы: они уже научились цѣнить въ жизни энергію, проявленіе воли и „дѣло“. Для нихъ такой типичный представитель сороковыхъ годовъ, какъ Рудинъ, казался человѣкомъ отсталымъ. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ онъ былъ скорѣе воспоминаніемъ, чѣмъ живой силой. Но не такъ давно, въ сороковыхъ годахъ, онъ былъ несомнѣнно силой общественной и силой прогрессивной, на службѣ очень культурной задачи, и его слово было дѣломъ, притомъ добрымъ и разумнымъ. Да и въ самомъ романѣ, который въ сущности повѣствуетъ о неудачахъ и просчетахъ Рудина, отмѣчено не мало его побѣдъ. Среди нихъ самая блестящая, это—его способность во всѣхъ людяхъ, съ которыми онъ сталкивается, будить широкую мысль, благородные порывы души, способность возносить людей надъ мелочами жизни, настраивать ихъ патетично, вообще заставлять ихъ искать въ жизни какого-то подвига и какого-то большого дѣла. Самъ Рудинъ никакого подвига не свершилъ и для себя не нашелъ дѣла, но это не должно ставить ему въ упрекъ. Онъ привыкъ въ широкимъ обобщеніямъ и къ большимъ планамъ, а русская жизнь его времени, конечно, не могла ему указать ни одного дѣла, соотвѣтствующаго тому героическому пониманію жизни, которое вытекало изъ его философскаго міросозерцанія. Что онъ умеръ на баррикадахъ въ Парижѣ, сражаясь за свободу чуждаго ему народа, это также ставили ему въ вину какъ театральный жестъ русскаго безпочвеннаго интеллигента. Но эту заключительную сцену романа надо понимать не буквально, а какъ аллегорическую картину борьбы идеалиста за самый принципъ свободы, а не за политическую программу чужой ему націи. А Рудинъ несомнѣнно боролся за свободу, понимаемую не въ узко политическомъ смыслѣ,

а въ самомъ широкомъ смыслѣ свободы духа, которая за собой какъ естественное дополненіе должна вести—хотя и не всегда ведетъ—свободу въ кругѣ личной и гражданской жизни. Какъ истинный сынъ поколѣнія сороковыхъ годовъ Рудинъ цѣнилъ выше всего ясность пониманія самаго жизненнаго процесса и ясность въ опредѣленіи назначенія человѣка въ этомъ процессѣ.

Быть-можетъ, его личное міросозерцаніе было не полно и на многіе вопросы текущей жизни онъ не имѣлъ ясныхъ отвѣтовъ, а другіе обходилъ совсѣмъ, предпочитая говорить лишь о самыхъ общихъ, но несомнѣнно, что онъ много работалъ надъ цѣльностью своего міропониманія и былъ даже деспотиченъ въ навязываніи его людямъ, которые подпадали подъ его вліяніе или которыхъ онъ стремился подчинить себѣ. Онъ могъ вскружить голову слабымъ, могъ сбить съ толку людей простыхъ, могъ наобѣщать гораздо больше, чѣмъ дать, но всегда стремленія и образъ мысли этого человѣка были благородны, не говоря уже о томъ, какъ хорошо былъ вышколенъ его умъ и какъ богато снабженъ знаніями. Одного только нельзя было отъ этого человѣка требовать,—чтобы онъ, покидая высоты размышленія, приложилъ свои силы къ какому-нибудь практическому дѣлу. Онъ пробовалъ пристроить себя къ разнымъ дѣламъ, но ни ему, ни этимъ дѣламъ отъ этого никакой пользы не было. Можно спросить однако, нуженъ ли былъ такой человѣкъ при дѣлахъ, которыя требовали совсѣмъ особой подготовки? и которыя къ тому же были Рудину навязаны нуждой, т.-е. къ которымъ сердце его не лежало? Быть-можетъ, при наличности другого дѣла, болѣе соотвѣтствующаго его высокимъ понятіямъ о жизни, онъ и нашелъ бы на что тратить свои силы. Но въ Россіи того времени отыскать такое дѣло было, дѣйствительно, почти что невозможно. Что же касается поведенія Рудина съ Наталіей, то оно свидѣтельствуетъ только о благородствѣ его души, а отнюдь не объ его трусости. Онъ не желалъ заставить другого человѣка разсчитаться цѣлой жизнью за минуту счастья. Рудинъ былъ несомнѣнно героемъ слова, но несомнѣнно также, что на всѣхъ, кто съ нимъ встрѣчался, его слово вліяло благотворно и облагораживающе. Жаль, что авторъ больше обратилъ вниманія на слабую волю и на непрактичность ума этого человѣка, чѣмъ на силу его умственнаго и сердечнаго идеализма. Хоть Рудинъ и передаетъ вѣрно психику людей сороковыхъ годовъ, но все таки это психика человѣка уже отстающаго отъ жизни, а не ведущаго ее за собой, какъ ее вели въ тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ наши идеалисты типа Бѣлинскаго, Станкевича, Грановскаго, Аксакова и ихъ

друзей. На этихъ людей въ романѣ Тургенева имѣются только намеки.

Такимъ же отстающимъ отъ жизни человѣкомъ былъ и Лаврецкій, герой „Дворянскаго гнѣзда“. Ни одно произведеніе Тургеневъ не писалъ съ такой любовью и грустью, какъ этотъ разсказъ о добрыхъ старыхъ временахъ, навсегда уходящихъ. Времена, мы знаемъ сами по себѣ, были недобрыя, но что и тогда жили добрые люди и при несправедливомъ укладѣ жизни могли дѣлать добро,—это несомнѣнно. Авторъ отнесся съ такой симпатіей къ обитателямъ этого мирнаго дворянскаго гнѣзда, что многіе читателя заподозрѣли его въ желаніи обѣлить старину и защитить ее противъ обвиненій со стороны „нового“ времени. Въ романѣ не было, однако, ни тѣни консервативнаго образа мыслей, но о нѣкоторыхъ устояхъ старой жизни художникъ говорилъ, дѣйствительно, съ большой симпатіей. Онъ, несомнѣнный западникъ, нашелъ много краснорѣчивыхъ и искреннихъ словъ въ защиту славянофильства или вѣрнѣе гуманнаго, уважающаго себя національнизма; онъ въ образѣ Лизы напоминалъ о завѣтахъ Пушкинской Татьяны и въ годы, когда много говорилось объ эмансипаціи женщины, объ ея правахъ въ семьѣ и въ обществѣ, онъ говорилъ объ ея смиреніи, объ обузданіи самаго законнаго эгоизма, объ уваженіи къ старымъ традиціямъ и о покорности волѣ Божіей; онъ, человѣкъ въ сущности мало религіозный, сумѣлъ съ большой любовью передать религіозное настроеніе, царящее въ нѣдрахъ старой дворянской семьи. Все это были поэтическія воспоминанія о минувшемъ, художественно выполненныя отступленія отъ главной темы романа. Тема была, какъ въ „Рудинѣ“—вполнѣ современная: художникъ рисовалъ типъ человѣка сороковыхъ годовъ, міросозерцаніе и настроеніе котораго начали расходиться съ требованіями жизни или, вѣрнѣе, обезоружили его передъ нею, не давъ ему использовать своихъ духовныхъ силъ на благо себѣ и ближнимъ. Оставляя въ сторонѣ личную сердечную исторію Лаврецкаго, которой отведено въ романѣ такое первенствующее мѣсто и которая въ сущности не связана ни съ какой исторической эпохой, а представляетъ интересъ общечеловѣческій, зададимъ себѣ вопросъ—какъ же распорядился этотъ идеалистъ своими силами, весьма недюжинными? Силъ было много—начать съ той демократической здоровой закваски, которую Лаврецкій по наслѣдству получилъ отъ матери. Въ разрядъ изнѣженныхъ дворянъ Лаврецкій зачисленъ быть не можетъ, и казалось бы, что для успѣшной житейской работы въ немъ задатковъ больше, чѣмъ въ иныхъ питомцахъ дворянскихъ гнѣздъ. А между тѣмъ веденіе хозяйства — и притомъ веденіе спустя

рукава и почти что по принужденію—единственное дѣло, которымъ онъ занятъ. Во всемъ остальномъ онъ является почти что безучастнымъ созерцателемъ. Онъ дилетантъ во всѣхъ занятіяхъ, и человѣкъ, въ полномъ расцвѣтѣ физическихъ и духовныхъ силъ, онъ самъ признаетъ себя старикомъ, осужденнымъ на догораніе. Повѣсть производитъ впечатлѣніе необычайно грустное, и опять, какъ въ „Рудинѣ", мы видимъ, что то, что составляло соль и силу людей сороковыхъ годовъ, въ Лаврецкомъ отсутствуетъ. Доза бодраго идеализма сохранилась еще въ душѣ того пріятеля юности, который пріѣзжаетъ къ Лаврецкому въ деревню и на одну ночь какъ бы воскрешаетъ его, но все-таки мы чувствуемъ ясно, что передъ нами люди уходящіе. Типъ нѣкогда сильный и для жизни нужный—сталъ вывѣтриваться и костенѣть.

Въ воспоминаніяхъ Герцена изображена героическая эпоха жизни этого типа, въ Рудинѣ онъ еще силенъ недавнимъ блескомъ своего ума и своими возвышенными чувствами, въ Лаврецкомъ эти дары духа уже подернуты туманомъ безпомощной грусти и ослаблены, и наконецъ, въ двухъ повѣстяхъ, въ которыхъ Тургеневъ касается той же темы—въ „Дневникѣ лишняго человѣка" и въ „Гамлетѣ Щигровскаго уѣзда" — „человѣкъ сороковыхъ годовъ" доведенъ до сознанія, что онъ сталъ окончательно „лишнимъ" въ жизни. „Дневникъ лишняго человѣка"—психологическій этюдъ на общечеловѣческую тему. Въ разсказѣ почти нѣтъ намековъ на ту эпоху русской жизни, когда онъ написанъ, но исповѣдь „лишняго" человѣка сама по себѣ весьма характерна, какъ очень тонкій анализъ чувствъ и настроеній человѣка, который по какимъ бы то ни было причинамъ сознаетъ, что онъ неудачникъ въ жизни. Чувство оторванности от всего, что кругомъ творится—передано въ этомъ разсказѣ съ большимъ мастерствомъ, и это мастерство показываетъ, какъ такое ощущеніе одиночества и ненужности было глубоко перечувствовано самимъ художникомъ и людьми того времени, которымъ эта повѣсть очень нравилась.

Въ повѣсти „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда" историческій фонъ, на которомъ такія ощущенія проступали, вырисованъ уже очень тщательно. Этотъ разсказъ имѣетъ цѣнность настоящаго историческаго документа. Разсказъ не спокойный, а злобный и ироническій. „Человѣкъ сороковыхъ годовъ", вспоминая, какъ много силъ онъ отдалъ выработкѣ философскаго міросозерцанія, которое должно было облегчить ему пониманіе смысла жизни и помочь ему найти себѣ въ ней мѣсто—съ безпощаднымъ сарказмомъ глумится надъ этимъ прошлымъ, обвиняетъ себя въ томъ, что, увлекаясь чистой

мыслью, логическими схемами и выкладками, онъ отнялъ у себя всякую способность понимать жизнь и всякую сноровку какъ-нибудь къ ней приспособиться и приписаться къ какому-либо дѣлу. Его рѣчь звучитъ надгробнымъ словомъ всему его поколѣнію.

Но вы не должны принимать слова этого Гамлета за окончательный, самой исторіей оправданный приговоръ надъ людьми сороковыхъ годовъ. Мнѣніе Гамлета Щигровскаго уѣзда—мнѣніе частное, мнѣніе единичнаго лица, которое вѣрно передаетъ непосредственныя личныя ощущенія, быть-можетъ, многими раздѣляемыя—но отнюдь не безпристрастная оцѣнка культурной роли цѣлаго поколѣнія.

Велика была культурная заслуга этихъ людей сороковыхъ годовъ — и тотъ фактъ, что эпигоны этого поколѣнія и притомъ отнюдь не сильные духомъ не нашли себѣ дѣла, нисколько не умаляетъ той огромной работы идейной, которая была продѣлана ихъ поколѣніемъ для установленія широкой программы грядущихъ дѣлъ. Но несомнѣнно, что эпоха чисто теоретическихъ размышленій о жизни кончалась, и приближались годы, когда надо было переходить къ практическому труду надъ неотложными запросами дѣйствительности. Что въ это переходное время многіе люди не сумѣли стать у какого-либо дѣла, почувствовали себя „лишними“ и отдались грустному чувству, а подчасъ и злобному, это вполнѣ естественно и понятно

XXII.

Первые практики жизни и ихъ побѣда надъ „людьми сороковыхъ годовъ“. „Обыкновенная исторія“ Гончарова.

Съ общимъ идеалистическимъ взглядомъ на жизнь, какого держались люди сороковыхъ годовъ, можно было примириться, пока этотъ взглядъ способствовалъ повышенію умственнаго и нравственнаго уровня человѣка, пока онъ въ сферѣ мысли и фантазіи давалъ богатые плоды. Но чтобы быть такимъ „идеалистомъ“ въ возвышенномъ смыслѣ слова, надо было обладать особенно талантливой натурой, натурой творческой; оставаться же „идеалистомъ“ средняго разбора, непригоднымъ къ дѣлу въ виду полной непрактичности ума и характера—значило оставаться въ положеніи очень неловкомъ, иногда тяжеломъ.

Художникъ-реалистъ первый заговорилъ о безплодности такихъ мечтаній и размышленій, несвязанныхъ съ дѣломъ, и рѣшился хоть въ мечтахъ противопоставить бездѣятельному и безвольному человѣку—образецъ человѣка дѣятельнаго, съ

трезвымъ разсчетливымъ умомъ, человѣка, неподдающагося власти слишкомъ разукрашенной мечты и живущаго себѣ въ удовольствіе и радость, а ближнимъ и обществу на пользу. Набросать такой образъ практичнаго и вполнѣ уравновѣшеннаго человѣка было не трудно, но это не значило еще найти такового въ самой жизни,—и художникъ при всемъ своемъ реализмѣ легко могъ принять желаемое за уже наступившее и создать литературный типъ, который жизнью пока не покрывался. Но все-таки одно уже созданіе типа такихъ практичныхъ людей говорило объ извѣстномъ поворотѣ общественной мысли, ищущей новой программы жизни и требующей отъ человѣка сознательнаго и энергичнаго вмѣшательства въ ея ходъ, хотя бы пока въ интересахъ чисто-практическаго довольно узкаго дѣла.

Въ сочиненіяхъ Гончарова этотъ поворотъ общественной мысли сказался всего отчетливѣе: художникъ далъ намъ безсмертный художественный типъ Обломова, безвольнаго мечтателя старой формаціи, который доживалъ свои дни, и противопоставилъ ему типъ дѣльца, — человѣка практики, а не мечты и разсужденія, дѣльца, пока съ очень узкимъ общественнымъ кругозоромъ, но требующаго дѣла и дѣйствія прежде всего. Пора приниматься за дѣло, хотя бы самое прозаическое и мелкое, — говорилъ этотъ обличитель ослабѣвшихъ и опустившихся „идеалистовъ“,—пора начать работать, а тамъ сама жизнь расширитъ рамки работы, и малое дѣло преобразится въ большое.

Въ двухъ романахъ—въ „Обыкновенной исторіи“, которая теперь уже значительно устарѣла, и въ „Обломовѣ“, который и до сего дня остался живымъ памятникомъ души человѣческой—выразилъ Гончаровъ эту мысль съ большой силой художественнаго письма.

Художникъ самъ былъ очень сдержаннымъ, уравновѣшеннымъ человѣкомъ съ юности; острыхъ и бурныхъ порывовъ чувствъ и фантазіи онъ не зналъ и самой природой былъ созданъ для того, чтобы прочитать наставленіе всѣмъ неуравновѣшеннымъ мечтателямъ и людямъ, въ которыхъ размышленіе и фантазія губятъ или останавливаютъ всякіе порывы воли къ дѣйствію и къ будничной работѣ. Проведшій почти всю жизнь на службѣ, чиновникъ, Гончаровъ зналъ, что такое практика жизни. На литературномъ поприщѣ онъ выступалъ рѣдко съ большими передышками, и всякій разъ такое выступленіе было большимъ событіемъ.

Имя Гончарова связано съ тремя большими романами: „Обыкновенная исторія“, „Обломовъ“ и „Обрывъ“. Эти романы вышли въ свѣтъ на протяженіи 22 лѣтъ, а задуманы

они были всѣ приблизительно въ одно время, въ концѣ сороковыхъ годовъ, и при большомъ отличіи въ сюжетахъ и въ характерѣ дѣйствующихъ лицъ, они всѣ объединены одной мыслью. Это та самая мысль, о который мы только-что говорили, мысль о разумности и полезности повседневнаго труда и объ опасномъ вліяніи, какое на характеръ человѣка могутъ имѣть мечта и раздумье, предоставленные себѣ самимъ безъ связи съ какимъ-нибудь опредѣленнымъ дѣломъ. Гончаровъ обладалъ большимъ даромъ наблюдательности, большимъ чутьемъ жизни и, несмотря на то, что онъ самъ всегда какъ будто сторонился отъ людей и общественнаго движенія, онъ уловилъ основное настроеніе своего времени—то глухое недовольство самимъ собою, какое испытывалъ образованный человѣкъ тѣхъ годовъ, когда онъ спрашивалъ себя, а что же имъ сдѣлано полезнаго и нужнаго для жизни своей и ближняго? Что достигнуто при большой работѣ ума и огромномъ напряженіи мечты и фантазіи? Этотъ вопросъ сталъ передъ Гончаровымъ въ концѣ сороковыхъ годовъ, въ годы, когда интеллигентъ самъ для себя выдумалъ кличку „лишняго человѣка“, и тогда же художникъ задумалъ изобразить въ лицахъ столкновеніе двухъ характеровъ — одного характера вялаго, разрыхленнаго мечтой и блуждающей мыслью, и другого—характера трезваго и дѣлового.

Въ „Обыкновенной исторіи“ Гончаровъ далъ портретъ юноши, которому жизнь представляется, какъ поэтическое видѣніе и сентиментальная мечта, оскорбленная всякимъ представленіемъ о практической, дѣловой сторонѣ жизни. Этого юнца художникъ отдалъ въ выучку чиновнику-дѣльцу; затѣмъ въ „Обломовѣ“ писатель изобразилъ уже взрослаго сложившагося человѣка, которому такая практическая школа въ прокъ не пошла, который, въ виду матеріальнаго обезпеченія, имѣлъ возможность ничего не дѣлать и погубилъ всѣ свои способности и свой безспорно недюжинный умъ; наконецъ въ „Обрывѣ“ Гончаровъ изобразилъ того же мечтателя и сентименталиста, но уже при нѣкоторомъ опредѣленномъ дѣлѣ, какъ служителя искусства, который, однако, въ этомъ царствѣ мечты не сумѣлъ стать хозяиномъ, изъ искусства дѣла себѣ не создалъ и ко всѣмъ житейскимъ вопросамъ сталъ въ какое-то неловкое, натянутое положеніе. Этимъ тремъ отжившимъ теперь типамъ художникъ противопоставилъ три другихъ типа, въ которыхъ должны были воплотиться назрѣвающія потребности времени и нужное для общественнаго развитія направленіе. Такъ какъ эти новые типы еще не сложились и не закруглились въ жизни, то образы ихъ [Штольца и Тушина] вышли не яркими, маложизненными, надуманными,

даже подъ перомъ такого большого художника, какимъ былъ Гончаровъ. Яснымъ и цѣльнымъ вышелъ только чиновникъ [Адуевъ-дядя] потому, что жизнь давно уже этотъ типъ выработала, но и въ Адуевѣ-дядѣ „дѣловая“ практическая сторона—не строго-чиновная — оттѣнена слабо именно потому, что такіе дѣльцы-чиновники только-что стали тогда нарождаться.

Критикамъ иногда казалось, что Гончаровъ, при всей своей убѣжденности въ томъ, что люди практическаго направленія весьма полезны и желательны, на самомъ дѣлѣ однако продолжалъ любить больше людей уходящихъ, чѣмъ ихъ желанныхъ замѣстителей.

Въ художникѣ было, дѣйствительно, много симпатіи и къ Адуеву-племяннику, и къ Обломову, и къ Райскому. Онъ, говоря о нихъ, выступалъ не какъ обличитель, а скорѣе какъ спокойный историкъ, который предугадывалъ совершающуюся въ самой жизни перемѣну. Прошлое и настоящее онъ зналъ и чувствовалъ, какъ художникъ, лучше, чѣмъ то, что должно было еще народиться, и потому въ своихъ художественныхъ картинахъ и въ созданіи типовъ людей уходящихъ онъ обнаружилъ большую силу любви къ создаваемому образу и большую силу проникновенія въ его ему хорошо знакомую душу. Отсюда и получилось такое впечатлѣніе, словно художникъ, ратуя за новое, какъ будто жалѣлъ о старинѣ.

Итакъ, времена мѣнялись; въ обществѣ начинала чувствоваться потребность „дѣла“, которое отозвалось бы на самомъ ходѣ жизни болѣе непосредственно и болѣе ощутимо, чѣмъ та работа мысли и мечты, которая составляла всю сущность дѣятельности „идеалистовъ“ сороковыхъ годовъ. Гончарова часто обвиняли въ томъ, что онъ очень упростилъ и сузилъ идеалы всѣхъ трезвыхъ людей, пришествіе которыхъ онъ возвѣщалъ. Противъ широкихъ замысловъ поколѣнія разсудочнаго и возвышенно мечтательнаго онъ выдвигалъ такихъ практиковъ, такихъ людей самаго будничнаго дѣла, которыхъ вполнѣ можно было назвать эгоистами, преслѣдующими личную выгоду. Идеалъ всѣхъ „трезвыхъ“ чиновниковъ и дѣльцовъ былъ несомнѣнно очень узокъ, но надо считаться съ тѣмъ, что никогда бо́льшое и широкое дѣло, имѣющее общественную цѣну, не можетъ возникнуть сразу, что никогда люди, непривыкшіе къ дѣйствію, люди, которые могли только разсуждать о жизни или строить планы—никогда они не могутъ сразу стать дѣятелями при какомъ-нибудь значительномъ общественномъ дѣлѣ, опереться твердой ногой на дѣйствительность такъ, чтобы изъ этого дѣла вышелъ сразу большой прокъ для общества. Всему этому надо учиться, къ

большимъ дѣламъ надо готовиться. Надо прежде всего пріучить себя къ труду вообще и къ тому, чтобы соразмѣрять свои силы съ дѣломъ, за которое берешься. Гончаровъ, въ сущности, своими „трезвыми“ героями и не хотѣлъ сказать большаго: повседневный трудъ надъ мелочами, изъ которыхъ складывается жизнь, выдержка и соразмѣрность дѣла со способностями человѣка—вотъ о чемъ онъ хотѣлъ напомнить людямъ, тяготящимся прозой жизни. Художникъ намѣчалъ только первую ступень къ настоящему большому дѣлу, могущему имѣть широкое общественное значеніе.

И, дѣйствительно, на узко-практической дѣятельности новый герой не остановился. Понятіе о дѣлѣ онъ постепенно расширялъ и углублялъ; оно въ его глазахъ послѣдовательно разрасталось; личная выгода и личная польза стала отходить на второй планъ, и скоро народилось новое поколѣніе, которое стало требовать отъ людей большого труда и осуществимыхъ полезныхъ для всего общества дѣлъ; и это поколѣніе такъ рѣшительно повысило свои требованія, что заставило Гончарова въ нѣкоторомъ испугѣ вздохнуть о старинѣ.

Исторія нарожденія и развитія человѣка практики или, вѣрнѣе, планъ его первоначальнаго воспитанія разсказанъ въ романахъ Гончарова очень обстоятельно. Романы длинные, написанные съ привлеченіемъ огромнаго бытового матеріала и значительнаго количества дѣйствующихъ лицъ,—они имѣютъ свою большую литературную цѣну [за исключеніемъ первой части „Обрыва“] и свою цѣну историческую, помимо основного вопроса, который въ нихъ поднятъ. Велико въ нихъ и мастерство письма,—этотъ стиль ясный, простой, образный и мѣткій. Пожалуй, въ наше время бытовыя черты и гончаровскій стиль—единственная приманка этихъ романовъ, такъ какъ единоборство мечтателя съ практикомъ теперь стало уже для насъ глухимъ историческимъ воспоминаніемъ.

Но именно описаніе этого единоборства и составляло въ свое время общественную заслугу Гончарова.

Положеніе, въ какое ставились спорящіе и борющіеся люди во всѣхъ трехъ романахъ, было разное. Въ „Обыкновенной исторіи“ мечтатель и сентименталистъ Адуевъ-племянникъ пытался бороться съ болѣе сильнымъ, чѣмъ онъ, практикомъ, съ дядей, который на старости лѣтъ сумѣлъ какъ-то оградить себя отъ всякого сентиментализма и романтизма, несмотря на то, что его молодость и зрѣлые годы протекли тогда, когда размышленіе и мечта были господствующими чертами ума и характера огромного большинства образованныхъ лицъ его круга. Эта борьба племянника съ дядей кончилась тѣмъ, что романтикъ-племянникъ подчи-

нился старшему и отступилъ, хотя и медленно, отъ всѣхъ замашекъ и идеаловъ своей юности. Нѣжность и наивность души, вынесенные имъ изъ деревни, въ столицѣ огрубѣли; мечты, которыми онъ жилъ и которыя были смысломъ и отрадой его жизни, разлетѣлись; попытки закрѣпить ихъ въ стихахъ и прозѣ кончились неудачей; сентиментальная любовь стала предметомъ насмѣшки ближнихъ, пока наконецъ не показалось смѣшной ему самому; широкіе горизонты жизни замѣнилъ департаментъ; одно время романтикъ опять погнался за мечтой, но на этотъ разъ засѣлъ за повѣсть „реальнаго“ направленія; когда онъ затѣмъ во второй разъ влюбился, его любовь пріобрѣла уже нѣкоторый прозаическій оттѣнокъ. Онъ мало-по-малу испыталъ на себѣ всѣ тягостныя ощущенія сближенія съ шумной дѣловой жизнью; онъ рѣшилъ бѣжать отъ этой жизни въ деревню, туда, гдѣ протекло его дѣтство, но старые сны не вернулись; ему было хорошо на лонѣ природы, но скучно безъ дѣла; онъ принялся за сельское хозяйство и наконецъ опять вернулся въ столицу, гдѣ выгодно женился и вошелъ, что называется, въ общую колею жизни, дѣловой и сѣрой. Такова была судьба героя „Обыкновенной исторіи“. Это несомнѣнно исторія „обыкновенная“, т.-е. со многими людьми она при тѣхъ или другихъ условіяхъ жизни случается. Каждому суждено испытать такъ или иначе это болѣзненное ощущеніе, какое выносишь, когда видишь, какъ мечта не сходится съ жизнью, какъ горизонты жизни становятся все уже и уже, какъ мелкія житейскія повседневныя дѣла поглощаютъ и умъ, и сердце. Послѣ прочтенія романа Гончарова остается какое-то смутное чувство въ душѣ читателя: сердишься на этого дядюшку-практика и въ большой степени эгоиста и жаль отъ всей души племянника, которому пришлось дѣлать такія уступки жизни. Всѣ симпатіи на сторонѣ этого романтика и мечтателя—и вмѣстѣ съ тѣмъ сознаешь, что настоящая жизнь при постоянномъ увеличеніи своихъ запросовъ и при ростѣ общественнаго труда рѣшительно не могла бы использовать ни на какое дѣло такихъ сентиментадистовъ-мечтателей и „мыслителей“, какимъ былъ Адуевъ-племянникъ. Какъ отдѣльныя личности, они очень симпатичны и въ домашнемъ быту очень пріятны, но, какъ сотрудники въ общественыхъ дѣлахъ, они по меньшей мѣрѣ безполезны.

Эту безполезность людей среднихъ способностей, не умѣющихъ использовать мечту и размышленіе въ интересахъ жизни, и имѣлъ въ виду художникъ, когда мечтателя заставилъ склониться передъ прозаикомъ. Будь это, дѣйствительно, настоящій мыслитель и мечтатель высокой пробы — какими

были наши первые идеалисты сороковыхъ годовъ—конечно, никакой дядюшка не могъ бы навязать ему своего міросозерцанія, но когда весь идеализмъ человѣка сводился къ тому, чтобы не умѣть приноровиться ни къ какому дѣлу, безъ котораго жизнь немыслима,—то такой идеализмъ могъ, конечно, въ художникѣ-реалистѣ вызвать лишь рядъ опасеній. Гончаровъ, повидимому, допустилъ только одну ошибку,—онъ дядюшку Адуева не приставилъ ни къ какому большому общественному дѣлу, а заставилъ его тянуть чиновничью лямку и быть дѣльцомъ самой средней руки. Но на это можно возразить, что въ годы, когда романъ былъ написанъ—въ концѣ сороковыхъ годовъ—чиновная служба одна давала возможность вершить хоть какое-нибудь практическое общественное дѣло: другіе пути проявить инціативу кромѣ такой, которая была бы направлена на чисто-личныя дѣла, были закрыты. Эту инціативу надо было создать, а для этого надо было побороть мечтательную, сентиментальную вялость души. На такую душу и былъ направленъ ударъ художника.

XXIII.

Романы Гончарова „Обломовъ“ и „Обрывъ“.

Состязаніе сентиментальнаго мечтателя съ человѣкомъ практическаго смысла и дѣла продолжалось и на страницахъ того романа, который создалъ литературную славу Гончарову. „Обломовъ“ надѣлалъ много шуму при своемъ появленіи въ 1856 году, наканунѣ новой эры нашей общественной жизни, когда всѣмъ стало ясно, что старые порядки должны кончиться, и общественная жизнь должна вступить въ новый періодъ своего развитія. Большинствомъ читателей, а также и критикой, романъ былъ понятъ, какъ косвенный обвинительный актъ противъ дореформеннаго строя, какъ символическая картина гибели стараго порядка жизни. Жизнь и смерть Ильи Ильича Обломова должны были знаменовать собою жизнь и смерть старой Россіи, т.-е. прежде всего Россіи дворянской, помѣщичьей, выросшей на крѣпостномъ трудѣ. Конечно, крѣпостная Россія въ созданіи такихъ типовъ, какъ Обломовъ, имѣла свою, и большую, долю участія. Много мелочей, именно мелочей, въ жизни Обломова объясняются наличностью крѣпостного строя, въ условіяхъ котораго этотъ недюжинный, но совсѣмъ безвольный человѣкъ выросъ. Но видѣть въ „Обломовѣ“ символъ, поэтическое обобщеніе крѣпостного строя нѣтъ основанія уже потому, что тотъ же строй создалъ цѣлый рядъ

типичныхъ людей, съ Обломовымъ совершенно несходныхъ, людей діаметрально ему противоположныхъ по характеру, жизнь которыхъ совсѣмъ не была похожа на его прозябаніе и медленное умираніе. Представителемъ цѣлаго историческаго поколѣнія, а тѣмъ болѣе цѣлаго историческаго періода въ нашей жизни Обломовъ не былъ. Въ немъ очень умѣло и тонко были сплетены два типа: одинъ типъ общечеловѣческій, лѣнивца вообще, другой типъ русскій, связанный съ извѣстной исторической эпохой нашей жизни, но отнюдь не самый характерный типъ этой эпохи, не типъ господствующій.

Общеміровой типъ безвольнаго лѣниваго человѣка, нарисованный Гончаровымъ,—одинъ изъ самыхъ совершенныхъ и цѣльныхъ типовъ, когда-либо всемірной литературой созданныхъ. Онъ принадлежитъ не Россіи, а человѣчеству вообще, и все, что случилось съ Ильей Ильичемъ, все, что онъ передумалъ и перечувствовалъ, могло съ нимъ случиться и могло быть имъ пережито, гдѣ угодно, при какой угодно обстановкѣ, въ любой странѣ и въ любое время. Несомнѣнно, что все это могло случиться и въ Россіи и несомнѣнно также, что такіе типы въ русскомъ обществѣ попадались нерѣдко, даже часто и, конечно, не въ одномъ только дворянскомъ кругу и не только при крѣпостномъ строѣ. Но помимо такого общечеловѣческаго универсальнаго смысла типъ Обломова, какъ историческій типъ русской жизни, связанный съ однимъ опредѣленнымъ моментомъ ея исторіи, имѣетъ особое значеніе... Это—одна изъ разновидностей того общаго типа мечтателей и „мыслителей“ средней силы, романтиковъ, покрывавшихся постепенно пылью и плѣсенью, людей „лишнихъ“, на которыхъ въ концѣ сороковыхъ годовъ образованные люди начинали коситься и которымъ въ видѣ примѣра и укора стали противопоставлять людей трезвыхъ, практическихъ и уравновѣшенныхъ. Весь планъ романа Гончарова согласованъ съ такимъ противопоставленіемъ двухъ натуръ, изъ которыхъ одна осуждена на смерть, другая на долгую плодотворную жизнь. Симпатія художника, какъ это ни странно, была все-таки на сторонѣ умирающаго, и только трезвый разсудокъ диктовалъ ему тѣ похвалы, которыя онъ расточалъ его наслѣднику. Съ исключительной любовью и нѣжностью нарисовалъ Гончаровъ картину жизни въ мирной Обломовкѣ [„Сонъ Обломова“ — лучшая въ художественномъ отношеніи глава романа] и съ большой грустью и сердечной печалью говорилъ онъ о медленномъ духовномъ умираніи героя. Обличать его онъ не хотѣлъ, не хотѣлъ онъ обличать даже и тѣхъ порядковъ, при которыхъ праздная жизнь въ Обломовкѣ была возможна. Онъ такъ мягко говорилъ о крѣпостномъ строѣ; ни

одной печальной, не только жестокой страницы этой дворянской лѣтописи не развернулъ онъ. Въ судѣ надъ крѣпостнымъ строемъ романъ былъ показаніемъ очень мягкаго свидѣтеля, который молчалъ о томъ, о чемъ ему говорить не хотѣлось и, никого не выгораживая, стремился спасти только одно—нравственную чистоту своего героя. Художникъ сдѣлалъ все, чтобы расположить насъ въ пользу Обломова, онъ надѣлилъ его умомъ, чуткимъ сердцемъ, деликатностью, безукоризненной порядочностью. Онъ призналъ за нимъ знанія, хотя и разрозненныя; онъ увѣрялъ насъ, что у Обломова были широкіе планы и высокіе помыслы. Они несомнѣнно были, какъ были даже общественныя стремленія, которыя побуждали Обломова долго и упорно думать о своихъ крестьянахъ. Обломовъ даже серьезныя книги читалъ и чего-то ждалъ отъ науки. Но къ чему были всѣ эти достоинства, когда ни одно изъ нихъ не могло быть использовано? Илья Ильичъ медленно умиралъ и умиралъ отъ какой-то тайной внутренней болѣзни, такъ какъ сама жизнь, какъ таковая, рѣшительно не мѣшала ему ничѣмъ проявлять свои таланты. Что главнымъ источникомъ болѣзни была прирожденная лѣнь—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія, но кромѣ лѣни было еще одно обстоятельство, которымъ именно эта лѣнь и воспользовалась, чтобы погубить человѣка. Илья Ильичъ, какъ многіе, очень многіе русскіе люди его круга, могъ, не лишая себя никакихъ удобствъ, ровно ничего не дѣлать. Въ этомъ, и только въ этомъ отношеніи, онъ былъ типичнымъ представителемъ одной части русскаго дворянства дореформеннаго типа. Наконецъ Илья Ильичъ былъ также сыномъ своего вѣка въ томъ смыслѣ, что предпочиталъ раздумывать надъ разными дѣлами вмѣсто того, чтобы дѣлать ихъ, и любилъ помечтать, опережая жизнь въ воображеніи и опять-таки не разграничивая мечты и акта воли. И погибъ онъ жертвой всѣхъ этихъ особенностей русскаго интеллигента конца сороковыхъ годовъ, не пристроившагося ни къ какому дѣлу въ столицѣ и оторваннаго отъ усадьбы. Этому уходящему человѣку художникъ противопоставилъ двухъ лицъ—выразителей желанныхъ стремленій грядущаго. Одно изъ нихъ была женщина, которая дѣлала все, что могла, для спасенія Ильи Ильича, но воскресить его своей любовью и жертвой она была не въ силахъ. По своему уму, душевнымъ качествамъ и общественнымъ стремленіямъ эта женщина опередила на нѣсколько десятилѣтій свое поколѣніе и предвѣщала ту русскую женщину 60-хъ и 70-хъ годовъ, которая оставила такой яркій слѣдъ на страницахъ нашей общественной жизни. Жила ли на самомъ дѣлѣ Ольга Ильинская въ сороковыхъ годахъ, когда жилъ Обломовъ, это большой вопросъ;

вѣрнѣе, что она приснилась художнику, но такъ какъ сны художника бываютъ пророческіе, то въ данномъ случаѣ поэтъ предсказалъ то, что должно было случиться. Ближайшій товарищъ, а затѣмъ и супругъ Ольги—нѣмецъ Штольцъ тоже врядъ ли жилъ въ тѣ годы. Самъ художникъ признался, что этотъ нѣмецъ—прообразъ многихъ русскихъ, которые должны за нимъ послѣдовать. Психика этого наслѣдника Обломовыхъ крайне проста и несложна. Обузданіе мечты и соглашеніе раздумья съ житейскими потребностями—вотъ основы его міропониманія, а жизнь, какъ арена труда, практическаго, для себя выгоднаго и ближнимъ полезнаго,—вотъ его программа. Во всемъ и всегда онъ одерживаетъ побѣды; всѣ дѣла ему удаются, всегда его рѣчи разумны и доводы вѣски—онъ очень скученъ и въ немъ нѣтъ почти ничего, что трогало бы наше сердце, но мы должны признать, что такіе люди нужны для жизни, нужны даже не какъ добавленіе къ Обломовымъ, а какъ типъ господствующій и дающій жизни направленіе. Пусть Штольцъ пока служитъ мелкимъ дѣламъ, но вѣдь за мелкими должны послѣдовать дѣла большія.

Противопоставленіе безвольнаго мечтателя и практическаго дѣятеля не давало покоя художнику-реалисту. Ему показалось, что въ „Обломовѣ“ вопросъ имъ не исчерпанъ, и прежде всего ему становилось жаль того человѣка, съ которымъ онъ прожилъ всю свою юность, и который такъ безславно умиралъ на его глазахъ. Художникъ думалъ, что онъ этого представителя старины какъ будто умышленно обездолилъ, не давъ ни одному изъ его талантовъ развиться. И Гончаровъ рѣшилъ тогда же [въ концѣ сороковыхъ годовъ] одновременно съ работой надъ „Обломовымъ“ заняться жизнеописаніемъ другого героя, представителя того же поколѣнія, что̀ и Обломовъ, но человѣка, про котораго можно было бы сказать, что онъ все-таки къ какому-то дѣлу приставленъ. Конечно, это не могло быть практическое дѣло. Писатель задумалъ довѣрить идеалы своего поколѣнія художнику-живописцу, большому эстету, начитанному образованному человѣку, не чуждому литературныхъ интересовъ и не потерявшему вкуса къ жизни. Это былъ Райскій, герой романа „Обрывъ“.

Романъ былъ задуманъ въ концѣ сороковыхъ годовъ, но только спустя двадцать лѣтъ въ концѣ 60-хъ годовъ Гончаровъ рѣшился, и то послѣ долгихъ и тягостныхъ колебаній, окончить романъ и его напечатать. Такая отсрочка отозвалась на художественномъ произведеніи очень вредно. То, что̀ въ концѣ сороковыхъ годовъ было злобой дня, стало спустя двадцать лѣтъ историческимъ воспоминаніемъ.

Въ сравненіи съ Адуевымъ-племянникомъ и съ Обломовымъ Райскій былъ натура богатая, талантливая и разносторонняя. Многимъ чувствамъ и стремленіямъ былъ онъ доступенъ; лѣнь, апатія и раздумье, которое парализуетъ всякую волю, были приданы ему въ небольшихъ дозахъ. Онъ былъ артистъ вездѣ и всегда искалъ въ жизни красоты и наслажденія ею, хотѣлъ, чтобы и въ другихъ эстетическое чувство было сильно развито, умѣлъ до извѣстной степени оправдать свое эстетическое міросозерцаніе философской мыслью: однимъ словомъ, онъ былъ какъ бы сильнымъ типичнымъ человѣкомъ сороковыхъ годовъ, а вовсе не слабымъ и не выродившимся представителемъ этого поколѣнія. Но при всѣхъ такихъ достоинствахъ Райскій оставался тѣмъ самымъ мечтателемъ, котораго еще въ концѣ сороковыхъ годовъ художникъ призналъ безполезнымъ для жизни: въ самомъ дѣлѣ, артистомъ, настоящимъ творцомъ, Райскій не сталъ, всѣ его попытки творить красоту не шли дальше опытовъ, обѣщавшихъ нѣчто и не оправдавшихъ обѣщанія; въ жизни онъ не нашелъ себѣ никакого дѣла, и опять защитой ему служила одна только дворянская обезпеченность. Личнаго счастія онъ также не завоевалъ себѣ, хотя имѣлъ сердце нѣжное и могъ бы согрѣть любимаго человѣка. Влюблялся онъ часто, но никогда эта любовь не давала ни ему, ни женщинѣ ни тѣни настоящаго счастія. Умный, добрый, талантливый человѣкъ, обходительный, образованный, чуткій, безукоризненно порядочный—онъ всегда и вездѣ былъ не на мѣстѣ, кончалъ всегда тѣмъ, что самъ чувствовалъ себя неловко и другихъ ставилъ въ неловкое положеніе. Такъ и прошелъ онъ мимо всѣхъ дѣйствующихъ лицъ романа, оставивъ по себѣ у всѣхъ добрую память, но рѣшительно ни на кого изъ нихъ не оказавъ вліянія.

Онъ не могъ отвѣтить на вопросъ, какъ надо жить и что надо дѣлать. На этотъ вопросъ отвѣтъ былъ данъ другимъ лицомъ романа—Тушинымъ. Этотъ Тушинъ близкій родственникъ Штольца и прямой наслѣдникъ его житейской программы — расчетливый человѣкъ, благожелательный, разсудительный и спокойный; онъ отличный сельскій хозяинъ и практикъ, который призванъ мирно разрѣшить всю ту путаницу, которую натворили Райскій, Вѣра, бабушка и въ особенности Маркъ Волоховъ.

Если бы Гончаровъ ограничился только противопоставленіемъ Райскаго и Тушина и заставилъ Вѣру послѣ неудачной, мечтательной и надуманной любви успокоиться въ кругу тихаго семейнаго счастья съ человѣкомъ трезво на жизнь смотрящимъ, то романъ былъ бы очень ясенъ и близокъ къ житейской правдѣ и (не вызвалъ бы въ читателяхъ

того недоумѣнія, какое онъ вызвалъ, когда появился въ концѣ 60-хъ годовъ. Недоумѣнье это произошло вотъ почему.

За двадцать лѣтъ, которыя протекли съ того времени, какъ романъ былъ задуманъ до года его выхода въ свѣтъ, типъ „практическаго" человѣка, поклонника непосредственнаго дѣла успѣлъ испытать много видоизмѣненій и отклонился совершенно отъ того понятія о „дѣлѣ", которое такъ нравилось Гончарову въ концѣ сороковыхъ годовъ. Это понятіе о „дѣлѣ", о практическомъ служеніи жизни разрослось въ представленіяхъ и стремленіяхъ образованнаго класса до очень широкой общественной программы, и необычайно смѣлой въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ. Для осуществленія такой широкой программы нужна была, конечно, извѣстная гражданская и политическая свобода, и такъ какъ таковой не существовало, то очень скоро передовой части интеллигенціи пришлось вступить съ правительствомъ въ борьбу, сначала открытую, въ границахъ закона, а потомъ и тайную, вплоть до революціонной агитаціи. Мы увидимъ въ дальнѣйшемъ, какъ эта борьба развивалась,—а пока отмѣтимъ, что къ тому времени, когда Гончаровъ рѣшилъ напечатать „Обрывъ"—этотъ типъ новаго „практика", требующаго осуществленія самой широкой программы разныхъ общественныхъ „дѣлъ"—обозначился въ нашей жизни очень отчетливо. Художникъ, который поставилъ своей задачей противопоставленіе мечтателя и практика—не могъ въ концѣ 60-хъ годовъ обойти молчаніемъ этотъ новый типъ людей „практическихъ", съ самыми широкими общественными замыслами. Вотъ почему въ романѣ, задуманномъ въ концѣ сороковыхъ годовъ, вдругъ неожиданно появился Маркъ Волоховъ—шестидесятникъ.

Появленіе его вызывало въ умахъ читателей большое недоумѣніе и сбило съ толку самого автора. Во-первыхъ, Гончаровъ этихъ „новыхъ" людей совсѣмъ не зналъ, по своему образу мыслей и по своему характеру былъ имъ совсѣмъ чуждъ и ихъ не понималъ, и кромѣ того ихъ не любилъ, даже враждебно относился къ нимъ за ихъ революціонную программу. Вмѣсто образа живого человѣка Маркъ Волоховъ оказался карикатурой, символомъ голаго отрицанія, нахальства, грубости, неделикатности и даже непорядочности. Можетъ-быть, среди „новыхъ" людей практиковъ такіе люди и были, но во всякомъ случаѣ характернымъ представителемъ новаго направленія въ жизни Маркъ служить не могъ. У него не было иного „дѣла" кромѣ отрицанія и разрушенія. Положимъ, и это было дѣломъ, но крайняя форма, въ какой это дѣло имъ проводилось, раздражала и сердила самого писателя. Но

разъ Маркъ попалъ въ дѣйствующія лица романа—съ нимъ приходилось считаться. Кого можно было ему противопоставить, чтобы не начать опять хвалить разныхъ „мечтателей"? Райскій, столкнувшись съ Маркомъ, проигралъ свою партію. Авторъ хотѣлъ противопоставить Марку Тушина, но понялъ, что въ глазахъ Марка Тушинъ тотъ же Штольцъ—дѣлецъ-практикъ, на котораго могли съ полнымъ пренебреженіемъ смотрѣть люди нового большого дѣла. И явилась Гончарову мысль всѣмъ этимъ „новымъ" людямъ, такъ далеко ушедшимъ въ своей любви къ „дѣлу", этимъ разрушителямъ и революціонерамъ противопоставить крѣпкіе, старые, нравственные устои русской семейной и общественной жизни, устои, которые могутъ дѣлать нѣкоторыя уступки новой жизни, но упразднить себя не дадутъ. Эту крѣпкую старину, крѣпкую своими религіозными и нравственными взглядами на жизнь Гончаровъ хотѣлъ воплотить въ образѣ бабушки, т.-е. онъ хотѣлъ въ этомъ смыслѣ истолковать ея роль въ романѣ. Конечно, это можно было сдѣлать только съ натяжкой, такъ какъ идеалы и взгляды бабушки были въ конечномъ итогѣ очень неопредѣленны, а, главное, не включали въ себѣ вовно никакого нового практическаго дѣла, за которое такъ ратовалъ Гончаровъ. И получилась въ итогѣ романа большая путаница: „мечтатель" Райскій былъ развѣнчанъ; Тушинъ для читателей конца 60-хъ годовъ былъ безцвѣтенъ и ничего не говорилъ тѣмъ, кто жаждалъ обновленія жизни; Маркъ проповѣдывалъ одно лишь разрушеніе и предлагалъ такую программу дѣла, которая могла быть осуществлена лишь въ очень далекомъ будущемъ. И оставалась одна бабушка—символъ добраго стараго времени, которая ничего новаго не предлагала, а просила только со стариной обращаться осторожно.

Когда на смѣну мечтателей въ сороковыхъ годахъ появился практикъ съ мирной и узкой программой, Гончаровъ его привѣтствовалъ, когда этотъ практикъ расширилъ программу и началъ требовать рѣшительной перемѣны всѣхъ порядковъ, Гончаровъ испугался и сталъ на защиту старины.

И мы сейчасъ увидимъ, что и другой художникъ-реалистъ, который заговорилъ объ этихъ практикахъ на службѣ большихъ и рѣшительныхъ дѣлъ—отнесся къ нимъ также не очень дружелюбно.

XXIV.

Расширеніе практической программы. Практики новой формаціи. Романы Тургенева „Наканунѣ“ „Отцы и дѣти“ и „Новь“.

Понять тѣхъ новыхъ людей, для которыхъ служеніе практическимъ нуждамъ дѣйствительности стало дороже, чѣмъ разсужденіе о смыслѣ и цѣляхъ жизни вообще, людей, которые, начиная съ шестидесятыхъ годовъ, все опредѣленнѣе и громче начинали говорить о своихъ требованіяхъ и партійныхъ общественныхъ программахъ и очень быстро отъ словесныхъ заявленій и выступленій перешли къ революціонной агитаціи—понять этихъ людей и передать вѣрно ихъ психику старшему поколѣнію сороковыхъ годовъ было очень трудно. Никому изъ художниковъ-реалистовъ старшаго поколѣнія типы „новыхъ“ людей-практиковъ не удавались. Не удавались они и тѣмъ писателямъ младшаго поколѣнія, которые съ этими новыми людьми были однихъ убѣжденій, и ставили себѣ задачей проповѣдь этихъ убѣжденій на страницахъ литературы: наконецъ, не удались эти типы и тѣмъ писателямъ, которые съ убѣжденіями передовой молодежи согласны не были, которые, какъ умѣренные люди или какъ консерваторы, съ ними спорили и стремились обличать ихъ.

Такимъ образомъ многіе участники и участницы нашего общественнаго движенія со средины пятидесятыхъ годовъ до восьмидесятыхъ—всѣ рѣзкіе либералы, радикалы, народники, революціонеры и террористы настоящихъ типичныхъ представителей въ нашей художественной словесности не нашли. Портреты, которые съ нихъ были написаны художниками поколѣнія сороковыхъ годовъ, были скорѣе эскизами и набросками, чѣмъ портретами; герои, въ которыхъ сами шестидесятники и семидесятники хотѣли обрисовать себя—выходили не жизненны и смахивали на теорію и публицистику въ лицахъ, а дѣйствующія лица тѣхъ романовъ, въ которыхъ враги новыхъ вѣяній стремились развѣнчать молодое поколѣніе, сбивались почти всегда на карикатуру или умышленное искаженіе. Вся эта характерная и полная глубокаго смысла полоса нашей общественной жизни въ литературѣ оказалась плохо представленной.

Чтобы получить самое общее понятіе объ основныхъ моментахъ въ исторіи этого передового общественнаго движенія съ пятидесятыхъ до восьмидесятыхъ годовъ, вы можете остановиться на трехъ повѣстяхъ Тургенева, которыя, конечно, не замѣнятъ вамъ настоящей исторической картины, но передадутъ вѣрно нѣкоторыя настроенія и идейныя теченія, до-

статочно распространенныя въ передовомъ обществѣ того времени.

Повѣсть „Наканунѣ“ своимъ заглавіемъ указываетъ на затаенный въ ней смыслъ. Она должна была передать то настроеніе, какимъ наше интеллигентное общество было охвачено „наканунѣ“ новой эры, наступившей съ новымъ царствованіемъ. Художникъ понималъ, что перемѣна въ жизни неизбѣжна, и онъ угадывалъ, въ чемъ будетъ заключаться перемѣна. Вѣкъ раздумья и мечты отходилъ въ прошлое; наступало время, когда „дѣло“, „осуществленное“ дѣло должно было стать лозунгомъ минуты. О такомъ дѣлѣ, практическомъ по существу, думали, какъ вы знаете, еще и тѣ люди сороковыхъ годовъ, которыхъ перестала удовлетворять чисто-идейная, отвлеченная постановка вопросовъ жизни и для которыхъ стало ясно, что безъ активнаго вмѣшательства въ жизнь—всѣ разсужденія о цѣляхъ этой жизни грозятъ остаться одними словами. Съ новымъ царствованіемъ открывались широкіе горизонты такой практической дѣятельности, и понятіе о „дѣлѣ“ должно было расширяться въ умахъ всѣхъ, въ особенности молодыхъ людей, которые стояли на порогѣ жизни и ждали отъ нея осуществленія завѣтныхъ и дорогихъ имъ общественныхъ идеаловъ. Это понятіе о дѣлѣ, о большой работѣ на пользу общества, о „подвигѣ“, который съ такой работой связанъ, принимало все болѣе и болѣе поэтическій и героическій оттѣнокъ, превращалось въ красивую грезу, которая не отдаляла людей отъ жизни, какъ въ былыя времена греза романтическая, а сближала ихъ съ нею. Романъ „Наканунѣ“ долженъ былъ отразить въ себѣ это повышенное настроеніе людей, ищущихъ большого дѣла въ жизни, долженъ былъ передать это возбужденіе, пока еще не столько ума, сколько сердца, полнаго поэтической мечты о „подвигѣ“. Тургеневъ вѣрно уловилъ и образно передалъ это настроеніе, но одна большая трудность возникла передъ нимъ, когда онъ приступилъ къ выполненію своего художественнаго плана. Надо было найти живого героя, которому можно было бы поручить великое дѣло, и надо было точно опредѣлить, въ чемъ такое дѣло должно заключаться—если художникъ, дѣйствительно, желалъ остаться реалистомъ, а не теряться въ мечтахъ и видѣніяхъ. Такого героя на службѣ большого общественнаго дѣла въ Россіи, въ тѣ годы, когда романъ Тургенева былъ написанъ, еще не не существовало, да и само „дѣло“—большое, требующее подвига,—еще не опредѣлилось, если, конечно, не считать разныхъ мелкихъ дѣлъ, которыя не могли вдохновить художника. Вотъ почему въ реальномъ романѣ появились фигуры нѣсколько условныя. Таковъ Инсаровъ. Если онъ и списанъ

съ живого лица, котораго авторъ зналъ лично, то въ романѣ это живое лицо видимо приближается къ символу. Инсаровъ не русскій. Дѣло, которому онъ отдалъ свою жизнь—освобожденіе родины отъ иноземнаго ига—также дѣло не русское, но если понимать слово „освобожденіе“ не въ прямомъ патріотическомъ смыслѣ, то объ „освобожденіи“ думали вѣдь всѣ, кто чувствовалъ себя „наканунѣ“ новой эры. Такимъ образомъ символъ національнаго героя, живущаго лишь одной мыслью о спасеніи родины—пріобрѣталъ для русскаго читателя особое значеніе и вполнѣ отражалъ его повышенное настроеніе. Авторъ это отлично понималъ, почему и заставилъ русскую дѣвушку увлечься бездомнымъ болгариномъ, героемъ безъ особыхъ преимуществъ духовныхъ, кромѣ одного—любви къ великому дѣлу.

Елена—тоже скорѣе символъ, чѣмъ живое лицо, хотя художникъ необычайно умѣло и тонко сочеталъ въ ней черты характера дѣвицы романтической эпохи и эпохи сороковыхъ годовъ съ темпераментомъ и убѣжденіями дѣвицы новой эры. Великое дѣло и подвигъ грезятся ей и наполняютъ всѣ ея помыслы—вѣрнѣе, ея воображеніе, такъ какъ отчетливаго понятія о томъ, какой сейчасъ нуженъ подвигъ, у нея нѣтъ. Она понимаетъ только, что по-старому жить нельзя и что идейныя цѣнности, стоявшія въ недавнее время столь высоко, теперь свою стоимость утратили. Сердце ея не откликается на любовь тѣхъ двухъ людей, которые въ романѣ представляютъ собой цвѣтъ тогдашней интеллигенціи: ни философъ, ни эстетикъ не имѣютъ надъ ней власти; ее покоряетъ человѣкъ дѣла и великаго подвига—она бредитъ подвигомъ и, конечно, такимъ, который пошелъ бы на пользу ея родинѣ. Придумать, въ чемъ такой подвигъ долженъ заключаться, она, однако, не можетъ, такъ какъ въ тѣ годы, когда она увлекалась этой мечтой, никакое общественное дѣло въ тѣхъ размѣрахъ, въ какихъ оно ей рисовалось, не было возможно. И потому понятіе о реальномъ подвигѣ переходитъ въ романтическое представленіе о немъ. Въ Инсаровѣ Елена полюбила свою мечту, ради него бросила семью и родину, т.-е. принесла наи большую жертву, и какъ-то исчезла изъ виду у всѣхъ послѣ такого жертвоприношенія. При всемъ реализмѣ, съ какимъ вырисована фигура Елены, въ ней хочется видѣть символическій обликъ самой Россіи, Россіи, мечтающей о великомъ подвигѣ, еще не знающей, въ чемъ онъ долженъ заключаться, но готовой ради него на всѣ жертвы.

Настроеніе, какимъ было охвачено молодое поколѣніе въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, было въ повѣсти уловлено вѣрно,—и художникъ. отмѣтивъ его

перешелъ къ обрисовкѣ тѣхъ идейныхъ теченій, какими такое настроеніе сопровождалось. Онъ сдѣлалъ это въ романѣ „Отцы и дѣти".

Споръ двухъ поколѣній и притомъ споръ идейный долженъ былъ стать основной темой романа. Характеристика старшаго поколѣнія, людей сороковыхъ годовъ—какъ близкихъ родственниковъ автора по духу—художнику удалась вполнѣ, но обликъ „новаго" человѣка, Базарова, совсѣмъ не удовлетворилъ молодыхъ читателей. И они были правы въ своемъ недовольствѣ имъ. Базаровъ долженъ былъ явиться носителемъ новаго міросозерцанія—того практическаго міросозерцанія на широкихъ философскихъ и нравственныхъ началахъ, которое соотвѣтствовало бы назрѣвшимъ нуждамъ новаго времени. Художнику надлежало дать очеркъ новаго образа мыслей, при которыхъ человѣкъ могъ бы сблизиться съ окружающей жизнью больше, чѣмъ онъ сближался съ ней раньше, когда, какъ философъ, мечтатель и эстетикъ, онъ созерцалъ ее съ высоты и мало вникалъ въ ея повседневныя насущныя потребности. Времена измѣнились; со всѣхъ сторонъ надвигалась неотложная работа. И молодое поколѣніе ревностно взялось за выработку новаго міросозерцанія. Это новое міросозерцаніе прежде всего предполагало отрицаніе міросозерцанія стараго, и молодые люди въ такомъ отрицаніи были очень прямолинейны. Въ этомъ смыслѣ Базаровъ долженъ былъ вполнѣ удовлетворить ихъ. Онъ типичный отрицатель, „нигилистъ", какъ тогда выражались. О религіозныхъ основахъ жизни онъ молчитъ—конечно, поневолѣ—но изъ всего видно, что онъ либо просто не считается съ ними, либо относится къ нимъ враждебно. Ученіе о нравственныхъ началахъ жизни онъ упрощаетъ до-нельзя, сводя нравственность къ разумному эгоизму, границы котораго опредѣлить, конечно, очень трудно; въ вопросахъ философскихъ онъ ярый противникъ всякой „метафизики", отрицаемой имъ огульно, и наконецъ въ оцѣнкѣ красоты онъ не то полный индифферентъ, не то насмѣшникъ, относящійся съ нескрываемымъ презрѣніемъ къ той красотѣ, которая создана не природой, а вдохновеніемъ и мечтой человѣка. Если бы дѣло шло лишь объ отрицаніи міросозерцанія людей сороковыхъ годовъ, то болѣе типичнаго выразителя такой вражды къ прошлому, чѣмъ Базаровъ—найти было бы трудно. Но вѣдь молодое поколѣніе, отрицая, не отказывалось отъ созиданія, и прежнія отвлеченныя начала жизни стремилось замѣнить новыми. Эти новыя начала совсѣмъ обойдены Базаровымъ. Изъ всѣхъ его разговоровъ не видно, чѣмъ онъ намѣренъ замѣнить то, что отрицаетъ. Ни теорія разумнаго эгоизма, ни матеріалистическое ученіе въ молодыхъ

кругахъ тогда уже пришедшее на смѣну „метафизикѣ“, не развиты Базаровымъ болѣе или менѣе подробно, даже не изложены въ самой общей формѣ. Образъ мыслей его остается читателю неизвѣстенъ; мы знаемъ лишь то, съ чѣмъ онъ не согласенъ. По такому отрицательному отношенію къ главнѣйшимъ вопросамъ жизни нельзя, конечно, судить о силѣ убѣжденія человѣка. Но помимо неясности и недоговоренности въ убѣжденіяхъ Базаровъ грѣшитъ еще и неимѣніемъ какой-либо опредѣленной программы дѣйствія. Какое дѣло, кромѣ словеснаго отрицанія, считаетъ онъ нужнымъ и неотложнымъ для данной минуты? Правда, онъ медикъ, но къ своей профессіи онъ относится очень холодно. Онъ большой демократъ, но сближенія съ народомъ онъ не ищетъ, иногда смѣется надъ мужикомъ и во всякомъ случаѣ не похожъ на настоящаго народолюбца. Объ общественныхъ вопросахъ и политическихъ онъ молчитъ. Въ оправданіе Базарова можно сказать только, что въ годы, когда онъ появился въ романѣ Тургенева, программа практической работы новыхъ людей еще не опредѣлилась, и наша общественная жизнь пока еще своего внѣшняго русла не мѣняла. Но Базаровъ могъ, не приступая къ самому дѣлу, все-таки намѣтить для себя таковое и начать готовиться къ нему, хотя бы мечтать о немъ. Но онъ и этого не дѣлалъ. Такимъ образомъ онъ остался выразителемъ не какого-нибудь опредѣленнаго міросозерцанія, а лишь самой потребности въ таковомъ міросозерцаніи.

Какъ Елена выражала собой мечту о великомъ общественномъ подвигѣ, такъ Базаровъ всѣми своими словами и своимъ поведеніемъ доказывалъ необходимость новыхъ взглядовъ на міръ и человѣка и новой программы служенія родинѣ, но какихъ взглядовъ и какой программы онъ не выяснилъ ни тѣмъ, съ кѣмъ говорилъ, ни себѣ самому. Базаровъ долженъ былъ случайно умереть, чтобы уступить мѣсто другимъ людямъ, знающимъ лучше него, что надлежитъ дѣлать.

Дѣйствительно, эти люди не замедлили заявить о себѣ очень скоро. Уже съ самаго начала шестидесятыхъ годовъ программа ихъ дѣйствій опредѣлилась, какъ опредѣлились и общія начала ихъ новаго міровоззрѣнія. Эти начала привели непосредственно къ установленію строгаго принципіально проводимаго демократическаго взгляда на потребности переживаемаго момента. Философы, моралисты, публицисты, художники, большинство молодежи мужской и женской, поставили задачей своей жизни служеніе народной массѣ, въ „эмансипаціи“ которой, какъ тогда говорилось, эмансипаціи духовной и матеріальной, заключалось, по ихъ убѣжденіямъ, и

спасеніе, и благо Россіи. Придерживаясь въ вопросахъ теоретическихъ матеріализма, утилитаризма и соціализма, пока еще въ достаточной мѣрѣ утопическаго, молодые люди шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ въ своей практической программѣ стали „народниками“ въ разныхъ смыслахъ и съ разными оттѣнками. Въ чемъ была суть народничества—вамъ уже извѣстно, и вы помните, какъ различно понималась сторонниками этого движенія поставленная ими задача. Но въ одномъ всѣ сходились—въ убѣжденіи, что обновить Россію можно только при тѣсномъ союзѣ передовыхъ слоевъ общества съ народной массой. Интеллигентъ новой формаціи долженъ былъ во что бы то ни стало сблизиться съ этой массой, по возможности слиться съ ней, самому учиться у нея, но и ей помочь своими знаніями. Вмѣстѣ съ ней, окрѣпшей и духовно, и экономически, надлежало установить въ Россіи новый гражданскій и политическій строй на самыхъ широкихъ демократическихъ началахъ.

Такова была практическая программа, въ ея самыхъ общихъ очертаніяхъ, принятая передовыми группами нашего общества въ короткій промежутокъ времени, чуть ли не на другой день послѣ освобожденія крестьянъ. Само собой разумѣется, правительство съ такой программой передовой интеллигенціи помириться не могло и приняло всѣ отъ него зависящія, къ сожалѣнію, исключительно карательныя, мѣры для борьбы съ нею. Наступили долгіе годы войны, открытой и тайной, между представителями офиціальнаго порядка и всѣми тѣми людьми, которые стремились этотъ порядокъ или измѣнить, или низвергнуть. „Народники“ мало-по-малу превратились въ революціонеровъ, а затѣмъ и въ террористовъ.

Этотъ знаменательный поворотъ въ убѣжденіяхъ нашей передовой интеллигенціи и въ программѣ ея выступленій долженъ былъ найти, конечно, свой отзвукъ въ литературѣ, насколько это позволяли цензурныя условія. Всего яснѣе этотъ процессъ общественнаго развитія отразился на критикѣ и публицистикѣ прогрессивныхъ журналовъ, но его отмѣтила также и изящная словесность. Много было написано повѣстей и романовъ, въ которыхъ была обрисована борьба передового интеллигента съ сложившимся порядкомъ жизни, со старыми традиціями и съ охранительной политикой правительства. Много было нарисовано или, вѣрнѣе, скомпоновано типовъ мужскихъ и женскихъ, которые являлись выразителями самыхъ новыхъ передовыхъ идей и настроеній. Всѣ такіе романы, написанные на тему дня или предвосхищавшіе ближайшее будущее, при всемъ умѣ и благородствѣ чувствъ, которыя были въ нихъ вложены, художественными красотами совсѣмъ не

блистали, за исключеніемъ лишь „Нови“ Тургенева и „Бѣсовъ“ Достоевскаго.

„Новь“ была послѣднимъ „программнымъ“ романомъ Тургенева. Романъ успѣха не имѣлъ, такъ какъ художникъ не могъ понять и почувствовать тѣхъ людей, которыхъ онъ изображалъ. Тургеневу вполнѣ удались портреты тѣхъ лицъ, которыя были принципіально враждебны революціонному движенію; тѣ же, которые его создавали, тѣ „практики“ новѣйшей формаціи, которые пошли въ народъ, были какъ нарочно подобраны художникомъ изъ самыхъ слабыхъ и нетипичныхъ представителей революціоннаго движенія. Главный герой — натура очень мягкая, съ большой примѣсью сентиментализма и романтизма, типичный неврастеникъ, никакъ не можетъ приспособиться къ дѣлу, которымъ онъ увлеченъ, но которое въ сущности ему не по нутру; и онъ кончаетъ самоубійствомъ, въ которомъ личный романъ къ тому же играетъ большую роль. Его невѣста,—та крѣпче нервами, чѣмъ онъ; въ самое дѣло вѣритъ больше и въ борьбѣ съ обстоятельствами упорнѣе своего жениха. Но что можетъ она — дѣвушка, совершенно не подготовленная къ политической агитаціи? Ей самой нужна опора, и она находитъ ее въ человѣкѣ, дѣйствительно, стойкомъ и спокойномъ, но не ея партіи, а партіи будущаго, той, которая у насъ въ Россіи сложилась позже, тогда, когда появился въ нашей жизни „рабочій“ вопросъ и движеніе на фабрикахъ. Образъ такого грядущаго дѣятеля долженъ былъ выйти туманнымъ. Всѣ остальныя дѣйствующія лица „Нови“, т.-е. тѣ, которыя стоятъ при новомъ дѣлѣ—изображены съ нѣкоторымъ, иногда очень яснымъ оттѣнкомъ комизма. Тургеневъ, вообще къ сатирѣ не склонный, на этотъ разъ разрѣшилъ себѣ такія нападки. Да и вообще все дѣло „хожденія въ народъ“ представлено въ романѣ, какъ нѣчто очень легкомысленное и смѣшное. Если симпатіи автора не были на сторонѣ движенія,—а онъ не былъ его сторонникомъ,—то, какъ художникъ-реалистъ, онъ все-таки обязанъ былъ соблюсти правду жизни. Въ этомъ романѣ Тургеневъ ее въ первый разъ нарушилъ.

Хожденіе въ народъ въ цѣляхъ осуществленія извѣстной практической программы очень глубоко захватило наше передовое общество; долгіе годы люди очень умные вѣрили въ его цѣлесообразность и разумность, отдавали ему много силъ, шли на большія жертвы, платили за свои увлеченія тюрьмой, каторгой, ссылкой... Такое знаменательное общественное движеніе не должно было подъ перомъ художника-реалиста казаться эпизодомъ случайнымъ и наполовину смѣшнымъ.

Но не надо быть очень строгимъ къ художнику и не надо недочеты романа объяснять его злой волей. Трудно было въ самомъ разгарѣ событій закрѣплять ихъ въ художественныхъ образахъ. Слишкомъ много страстей будили эти событія, слишкомъ быстрымъ темпомъ они развивались, и спокойное отношеніе къ нимъ, необходимое для созданія художественныхъ образовъ, было исключено.

XXV.

Борьба общественныхъ направленій и ея отраженія въ тенденціозныхъ романахъ.

Въ тѣхъ памятникахъ, съ которыми вы теперь ознакомились, данъ, какъ вы могли видѣть, связный очеркъ развитія цѣлаго ряда идей и настроеній, господствовавшихъ въ нашемъ образованномъ обществѣ съ конца сороковыхъ годовъ до восьмидесятыхъ. Передъ вашими глазами прошли сначала люди съ очень развитой способностью размышленія и большой силой мечты, но съ очень слабо развитой волей и безъ способности и желанія энергичнаго вмѣшательства въ самый ходъ жизни. На смѣну этимъ людямъ шли другіе, которые къ излишку раздумья и къ мечтѣ относились съ недовѣріемъ, даже съ отрицаніемъ, и требовали отъ образованнаго человѣка, чтобы онъ намѣтилъ себѣ въ жизни какое-нибудь практическое дѣло и, не разбрасывая своихъ силъ по разнымъ направленіямъ, пріучилъ бы себя къ тихому методичному труду, труду незамѣтному, не бросающемуся въ глаза, но полезному для него и для общества. Практикъ долженъ былъ итти на смѣну человѣку теоріи. Понятіе о практической работѣ на пользу общества, понятіе, сначала очень простое и очень узкое, съ теченіемъ времени стало расширяться и выросло въ цѣлую программу широкой общественной дѣятельности, которая имѣла въ виду произвести коренное обновленіе всей нашей гражданской жизни. Увѣренность людей въ разумности и необходимости такой дѣятельности была поддержана въ нихъ тѣмъ направленіемъ, какое взяла наша жизнь со средины пятидесятыхъ годовъ, когда правительство приступило къ цѣлому ряду реформъ огромнаго общественнаго значенія. Стремленіе къ практическому осуществленію своихъ идеаловъ росло въ образованномъ обществѣ необычайно быстро и очень скоро встрѣтило со стороны правительства сначала недовѣрчивое къ себѣ отношеніе, а затѣмъ и рѣшительное противодѣйствіе. Всѣмъ интеллигентнымъ людямъ передового образа мыслей пришлось сдѣлать выборъ—либо отказаться отъ мысли о широкой общественной

работѣ и предоставить правительству установить границы таковой, либо какъ-нибудь, насколько возможно, продолжать свою работу, дѣлая уступки и искусно обходя правительственныя ограниченія, либо, наконецъ, вступить съ правительствомъ въ тайную или открытую революціонную борьбу. Борьба эта требовала большой смѣлости и большого напряженія воли, каковую и проявилъ нашъ интеллигентный человѣкъ, не такъ давно страдавшій отсутствіемъ этой воли и полнымъ недостаткомъ общественной смѣлости. Въ короткій срокъ въ психикѣ интеллигента передового образа мыслей совершилась такая перемѣна. Отъ художника-реалиста она не ускользнула, и онъ ее отмѣтилъ въ цѣломъ рядѣ образовъ и типовъ мужскихъ и женскихъ.

Но эти теченія общественной мысли и настроенія не въ одинаковой степени поддавались художественной обработкѣ. Тѣ типы, которые вполнѣ сложились и уже отходили въ прошлое, какъ, напримѣръ, типы разныхъ идеалистовъ сороковыхъ годовъ, вѣрующихъ въ себя или уже сознающихъ себя „лишними“ — допускали наиболѣе цѣльное и законченное воплощеніе въ художественномъ образѣ; разнообразные же типы практиковъ и служителей широкаго общественнаго дѣла, типы, которые нарождались и притомъ съ необыкновенной быстротой—они, конечно, не могли быть воссозданы художникомъ съ полной художественной правдой: въ ихъ изображеніи должна была очутиться нѣкоторая примѣсь условнаго, неяснаго, незаконченнаго... Передача въ искусствѣ нарождающагося явленія представляетъ для художника всегда наибольшую трудность. И вы могли видѣть, что даже большіе художники не могли побороть этой трудности, и чѣмъ выводимый ими типъ интеллигентнаго человѣка былъ болѣе передовымъ по образу своихъ мыслей и по своей практической программѣ, чѣмъ онъ по времени былъ ближе къ художнику, тѣмъ труднѣе давалась писателю его характеристика [Штольцъ, Базаровъ, Волоховъ, Неждановъ].

Въ еще болѣе трудное положеніе попадалъ художникъ, когда онъ хотѣлъ въ какомъ-нибудь литературномъ типѣ выразить не то, что онъ имѣлъ передъ своими глазами, а то, что ему хотѣлось видѣть, т.-е. когда людей, нарожденіе которыхъ въ русскомъ обществѣ онъ ожидалъ или о появленіи которыхъ онъ мечталъ, когда этихъ, еще не появившихся на свѣтъ героевъ, онъ выводилъ въ повѣстяхъ и романахъ. Такихъ повѣстей и романовъ было написано очень много въ годы, когда въ нашемъ передовомъ обществѣ стало сильно сказываться радикальное теченіе мыслей. Нѣкоторые писатели, увлеченные живостью своей фантазіи, пожелали въ

лицахъ изобразить то грядущее время, когда желанный имъ герой выступитъ какъ общественный дѣятель. Перенося это будущее въ настоящее и отожествляя мечту съ дѣйствительностью, писатель не могъ дать портреты живыхъ людей и излагалъ лишь извѣстныя теоріи въ лицахъ. Всѣ такіе романы и повѣсти художественностью не блистали и къ памятникамъ изящной словесности причислены быть не могутъ. Но если вы со временемъ заинтересуетесь вопросомъ о томъ, какъ русскимъ передовымъ людямъ рисовалось новое общественное и семейное положеніе въ будущемъ, то эти повѣсти и романы дадутъ вамъ много свѣдѣній. Только не думайте, что герои и героини этихъ романовъ, дѣйствительно, были героями дня: въ нашемъ образованномъ обществѣ 60-хъ и 70-хъ годовъ встрѣчались молодые люди, которые хотѣли жить такъ, какъ жили эти герои, и иногда дѣлали попытку провести въ жизнь ихъ программу, но всѣ такія попытки были единичными и общественнаго теченія не создали.

Изъ числа этихъ романовъ наиболѣе цѣнными по замыслу и по полнотѣ предлагаемой программы были: „Что дѣлать?“ Чернышевскаго, „Свѣтловъ“ Омулевскаго, „Трудное время“ Слѣпцова, и „Знаменіе времени“ Мордовцева.

Когда въ нашемъ интеллигентномъ обществѣ обозначилось это радикальное теченіе, которое стремилось существующія формы семейныхъ и общественныхъ отношеній замѣнить новыми, не считаясь съ традиціями старины, то, само собою разумѣется, что такое направленіе мыслей не могло не встрѣтить себѣ отпора въ тѣхъ группахъ образованнаго общества, которыя придерживались старыхъ взглядовъ и всю такую радикальную новизну считали очень опасной и для государства, и для общества, и для семьи. Среди лицъ этого консервативнаго образа мыслей нашлись также писатели, которые стремились новымъ вѣяніямъ противопоставить старые идеалы и попутно изобразить проповѣдниковъ новой жизни въ мало привлекательнымъ свѣтѣ, а иногда и въ свѣтѣ очень дурномъ. Какъ тѣ романы, которые прославляли грядущій желанный строй жизни, такъ и эти романы, которые защищали старину и нападали на новаторовъ—были одинаково тенденціозны и въ той же мѣрѣ нехудожественны... Для полноты картины тѣхъ споровъ, которые волновали тогда нашу интеллигенцію, вамъ, при желаніи, придется ознакомиться и съ этими романами, обслуживавшими консервативный лагерь. При чтеніи ихъ имѣйте только въ виду, что они написаны съ опредѣленной полемической цѣлью и освѣщаютъ затронутые вопросы лишь съ одной стороны, не заботясь объ исчерпывающей правдѣ. Сказать, что все въ этихъ романахъ есть злой вы-

мыселъ—нельзя, многое въ нихъ списано съ натуры, но многое и придумано нарочно, а, главное, почти все утрировано, преувеличено либо въ смѣшную, либо въ злобную сторону. Самыми характерными изъ этихъ романовъ были „Взбаломученное море“ Писемскаго, „Марево“ Клюшникова, „Некуда“ и „На ножахъ“ Лѣскова, цѣлый циклъ романовъ Маркевича и, наконецъ, знаменитый романъ Достоевскаго „Бѣсы“, единственный изъ нихъ всѣхъ, въ которомъ тенденціозность соединена съ художественностью.

Въ числѣ тѣхъ вопросовъ, которые очень волновали наше образованное общество второй половины XIX вѣка и служили темой раздора между партіями, прогрессивной и консервативной, а потому чаще всего поднимались и въ художественныхъ и тенденціозныхъ романахъ—былъ и такъ называемый „женскій вопросъ“, т.-е. вопросъ о томъ, какова должна быть роль женщины въ семьѣ и въ общественной жизни, какъ женщина должна быть воспитана и образована, чтобы это ея роль плодотворно отозвалась на развитіи семьи и общества, и каковы должны быть ея отношенія къ товарищу ея жизни, отношенія, достойныя свободнаго и равноправнаго съ нимъ человѣка. У насъ въ Россіи этотъ вопросъ былъ опредѣленно и ясно поставленъ приблизительно къ началу 60-хъ годовъ, и до сего дня—когда рѣшеніе его такъ подвинулось впередъ и женщина уравнена съ нами во всѣхъ правахъ—онъ не переставалъ возбуждать живѣйшаго интереса въ нашемъ образованномъ обществѣ. Наша общественная жизнь за послѣднее полстолѣтіе обогатилась многими яркими женскими типами на всѣхъ поприщахъ—педагогическомъ, литературномъ, общественномъ и даже политическомъ. Конечно, художникъ-реалистъ не могъ упустить изъ виду такого крупнаго общественнаго явленія, какъ свободное и самостоятельное выступленіе женщины въ роли общественнаго дѣятеля, онъ не могъ также не отмѣтить тѣхъ разговоровъ и тѣхъ споровъ, какіе велись въ образованномъ обществѣ по поводу разныхъ взглядовъ на эту роль. Но въ данномъ случаѣ литература отъ жизни отстала. Конечно, въ любомъ изъ безчисленныхъ романовъ, въ которыхъ наша жизнь послѣдняго полстолѣтія описывается, вы найдете сколько угодно женскихъ типовъ, которые выражаютъ тотъ или иной взглядъ на призваніе женщины въ семьѣ и обществѣ, но эти типы художественными названы быть не могутъ; въ нихъ нѣтъ той яркой широкой типичности, нѣтъ той глубокой психологической правды, которая свойственна художественному типу. Нашимъ писателямъ удавались художественные типы тѣхъ женщинъ, у которыхъ не было общественныхъ стремленій, и не удава-

лись типы лицъ, у которыхъ они были. Лучшее, что было создано нашими писателями-реалистами въ данномъ направленіи, это нѣсколько поэтичныхъ женскихъ образовъ, въ которыхъ даны не обобщенные портреты живыхъ лицъ, а высказаны пожеланія, мечты, идеалы самихъ писателей. Со многими изъ такихъ образовъ вы уже встрѣчались со средины 50-хъ годовъ, когда женскій вопросъ только-что становился на очередь, когда въ самомъ обществѣ роль женщины была еще очень блѣдна и незначительна. Гончаровъ въ Ольгѣ далъ намъ образъ такой „желательной" женщины, которая могла бы пробудить Обломовыхъ отъ спячки. Тургеневъ набрасалъ образъ Елены—героини и борца за свободу тогда, когда кругомъ и помину о такихъ женщинахъ не было. Гончаровъ въ Вѣрѣ какъ будто подошелъ на болѣе близкое разстояніе къ дѣйствительности, но испугался и заставилъ свою героиню послѣ рѣшительнаго шага повернуть назадъ въ тихую пристань, чего въ жизни она въ большинствѣ случаевъ не дѣлала, но что, по мнѣнію и желанію автора, ей слѣдовало бы сдѣлать. И Маріанна у Тургенева не столько живое лицо, сколько олицетворенная программа [Машурина болѣе живой портретъ, но мало характерный]. Во всѣхъ этихъ типахъ, да и во многихъ другихъ, которыми очень увлекались читатели, авторской мечты было больше, чѣмъ точности наблюденій.

Мечта художника въ тѣ годы, когда женскій вопросъ былъ только-что поставленъ, опередила жизнь; затѣмъ, когда этотъ вопросъ быстро двинулся впередъ, она начала отставать отъ жизни, и вокругъ насъ теперь—женщинъ типичныхъ, съ своеобразнымъ умомъ, большимъ темпераментомъ и стойкой волей гораздо больше, чѣмъ на страницахъ романовъ.

Какъ въ характеристикѣ героевъ, въ которыхъ должны были отразиться общественныя движенія, такъ и въ характеристикѣ женщинъ, которыя раздѣляли судьбу этихъ героевъ, наши писатели разбились на два лагеря—передовой и консервативный. Въ длинной серіи романовъ и повѣстей одни писатели говорили о возможно большемъ расширеніи правъ женщинъ въ семьѣ и обществѣ, о возможно широкомъ женскомъ образованіи и о своемъ желаніи, чтобы женщина усвоила себѣ наиболѣе передовой образъ мыслей. Противники этого направленія въ своихъ романахъ не только стремились противопоставить этимъ передовымъ женщинамъ типы женщинъ скромныхъ въ мысляхъ и поступкахъ, религіозныхъ, не ищущихъ иной дѣятельности, кромѣ узко-семейной, женщинъ сильныхъ только терпѣніемъ—но стремились также о передовой женщинѣ разсказать какъ можно больше некрасиваго, дискредитировать всѣ ея стремленія и изобра-

зить ее самоё несчастной и обманутой въ своихъ идеалахъ. Конечно, и эти отрицательные типы, набросанные съ умысломъ, жизненными не были и ни въ одинъ художественный образъ не вылились.

Итакъ, въ творчествѣ нашихъ художниковъ-реалистовъ второй половины вѣка намъ дана широкая по замыслу и по выполненію картина нашей жизни. Насколько позволяли писателю силы и обстоятельства, въ которыхъ ему пришлось работать, онъ въ своихъ повѣстяхъ собралъ огромный матеріалъ, освѣщающій жизнь всѣхъ слоевъ и классовъ нашего общества. Его предшественниками въ этомъ направленіи было сдѣлано не много. Картины быта всѣхъ слоевъ общества отъ самыхъ низкихъ до высшихъ развернулись передъ читателемъ, и если сама жизнь была гораздо богаче, разнообразнѣе и сложнѣе, чѣмъ то, что изъ ея наличности попадало въ литературу, то все-таки наблюденія, собранныя писателемъ, впервые дали нашему образованному обществу наглядное понятіе о томъ, что̀ такое наша жизнь въ ея цѣломъ. Наконецъ, въ произведеніяхъ художника-реалиста и само образованное общество могло прочитать исторію своей жизни за много десятилѣтій. Зоркій взглядъ художника не упустилъ, какъ вы могли видѣть, ни одной болѣе или менѣе значительной перемѣны въ общественныхъ взглядахъ и настроеніяхъ, не отмѣтивъ таковой.

Всѣ общественныя теченія, волновавшія наше культурное общество съ конца сороковыхъ годовъ до 80-тыхъ, и до сихъ поръ даютъ себя чувствовать—вотъ почему изученіе сочиненій нашихъ художниковъ-реалистовъ и въ наше время можетъ служить хорошимъ пособіемъ при наблюденіи надъ современной намъ жизнью. Конечно, за тридцать лѣтъ, которыя протекли съ тѣхъ поръ, какъ ушли изъ жизни эти писатели, многое во внѣшнемъ обликѣ нашей жизни измѣнилось, но многое изъ того, надъ чѣмъ думали и чѣмъ волновались наши отцы, осталось и по сей день предметомъ нашихъ размышленій. Крѣпостной строй исчезъ, но запутанныя отношенія между усадьбой и деревней остались; простой народъ теперь не тотъ, какимъ онъ былъ лѣтъ пятьдесятъ тому назадъ, но многое въ его настоящемъ становится понятнымъ лишь при хорошемъ знаніи его прошлаго. Психологія чиновника—она совсѣмъ почти не измѣнилась, и въ жизни духовенства также почти никакихъ перемѣнъ не произошло; жизнь купечества измѣнилась сильно, но въ его новой жизни не мало еще отзвуковъ жизни старой; большія перемѣны произошли въ мысляхъ и настроеніяхъ образован-

наго общества, но почти всѣ основные общественные вопросы, которые волновали культурныхъ русскихъ людей въ годы, о которыхъ мы говорили, и теперь не утратили своего значенія. Борьба волевыхъ импульсовъ съ обломовской косностью въ отдѣльныхъ людяхъ или цѣлыхъ общественныхъ группахъ, столкновенія традицій старины съ запросами впередъ идущей жизни, споръ о русскихъ началахъ и „соблазнахъ", идущихъ съ запада, столкновеніе умовъ и характеровъ со склонностью къ идеологіи и къ отвлеченному рѣшенію вопросовъ жизни, и умовъ и характеровъ съ практическимъ смысломъ и направленіемъ, быстрый ростъ этого практическаго взгляда на жизнь, требующій все большей и большей новизны въ установленіи гражданскаго и политическаго порядка жизни, столкновеніе передового общества съ государственнымъ порядкомъ—всѣ эти мысли и стремленія, какія были отмѣчены нашими художниками-реалистами въ сороковыхъ—восьмидесятыхъ годахъ, до сихъ поръ сохраняютъ свою силу, и картины прошлаго служатъ поясненіемъ того, что вокругъ насъ творится.

Но этимъ роль писателя 40-хъ—80-хъ годовъ не исчерпывается; нѣкоторые изъ этихъ писателей не пожелали ограничиться лишь художественной передачей того, что они вокругъ себя видѣли. Продолжая, какъ настоящіе реалисты, строго и внимательно слѣдить за окружающей ихъ жизнью, не украшая ее, не искажая ее невольно, а подбирая тщательно и безпристрастно собранный матеріалъ, они свои наблюденія свели къ самымъ общимъ выводамъ. Приводя эти выводы въ связь со своими личными религіозными, философскими и нравственными взглядами на міръ и человѣка, они высказали свой судъ надъ русской дѣйствительностью и вмѣстѣ съ тѣмъ начертали планъ новой жизни вообще,—жизни, по ихъ мнѣнію, единственно разумной и доброй передъ лицомъ Бога и людей.

Этимъ писателямъ — Достоевскому и Льву Толстому—наша изящная словесность обязана своей міровой славой.

XXVI.

Художникъ-реалистъ, какъ истолкователь религіознаго и нравственнаго смысла жизни.

Художникъ-реалистъ, какъ вы могли убѣдиться, исполнилъ очень добросовѣстно свою роль историка нашей жизни. За время своей творческой работы писатель успѣлъ накопить огромный историческій матеріалъ, который освѣтилъ дотолѣ намъ мало извѣстную жизнь разныхъ слоевъ на-

шего общества отъ низшихъ до высшихъ. Художникъ помогъ намъ также разобраться и въ сложной исторіи развитія общественныхъ идей и настроеній въ нашихъ интеллигентныхъ кругахъ. Оставаясь художникомъ по преимуществу и цѣня въ своей работѣ прежде всего ея художественное совершенство, писатель, однако, никогда не отказывался отъ своего права и не отрицалъ своей обязанности выступать какъ судья тѣхъ явленій жизни, которыя онъ возсоздавалъ какъ художникъ. Онъ имѣлъ свой взглядъ на эти явленія, помимо взгляда эстетическаго, и совокупность этихъ взглядовъ составляла то, что принято называть „общественными убѣжденіями" писателя. Эти убѣжденія у разныхъ писателей были разныя. Проявлялись они въ большинствѣ случаевъ не въ видѣ крайнихъ направленій косно-консервативныхъ или рѣзко-радикальныхъ, а въ формѣ болѣе умѣренныхъ взглядовъ прогрессивно-либеральныхъ или консервативно-сентиментальныхъ. Истинные художники-реалисты, т.-е. тѣ, которые обрабатываемый матеріалъ подчиняли искусству, а не наоборотъ—искусство матеріалу, какъ бы они ни расходились въ своихъ общественныхъ и политическихъ взглядахъ, были въ томъ, что они писали, очень сдержанны. Крайности разныхъ взглядовъ проступали наружу лишь у тѣхъ писателей, которые были одновременно публицистами, и которые стремились отстоять и проповѣдывать свою общественную программу, пользуясь разными формами искусства лишь какъ удобнымъ средствомъ для борьбы. Всѣ такіе „тенденціозные" писатели лѣваго или праваго направленія, при всемъ иногда недюжинномъ литературномъ талантѣ ихъ, для русскаго художественнаго слова сдѣлали мало, и сочиненія ихъ въ данномъ случаѣ выходятъ изъ поля нашего зрѣнія.

Однако, какъ бы писатель ни оберегалъ себя отъ „общественной тенденціи" въ своихъ истинно-художественныхъ произведеніяхъ, онъ—и это вполнѣ понятно—не могъ отказаться отъ суда надъ той дѣйствительностью, которую описывалъ. Только разсказывать и описывать, умалчивая о томъ, какъ самъ относишься къ разсказанному, было для него невозможно. Во-первыхъ, потому, что онъ былъ человѣкъ со склонностями, симпатіями и антипатіями, съ убѣжденіями и принципами жизни, а также и потому, что въ русской общественной жизни онъ занималъ издавна совершенно исключительное положеніе. Жизнь сложилась такъ, что именно онъ—писатель-художникъ—сталъ наиболѣе виднымъ и наиболѣе „гласнымъ" выразителемъ общественнаго самосознанія и совѣсти. Онъ всегда сознавалъ и чувствовалъ отвѣтственность такой роли, и тяжесть такого сознанія съ годами возрастала.

Среди всей огромной массы людей некультурныхъ и полукультурныхъ даже въ образованномъ слоѣ общества, писатель, а тѣмъ болѣе истинный художникъ, всегда былъ проявленіемъ силы личнаго начала, силы, которая тревожила общество своимъ присутствіемъ, толкала его, будила его умъ и душу иногда гораздо больше, чѣмъ многія дѣла, которыя вершились людьми, стоящими у власти. Литература сама была властью, и носители этой власти не могли не чувствовать отвѣтственности, которая на нихъ лежала, и съ каждымъ годомъ они все серьезнѣе и совѣстливѣе относились къ своей миссіи. Положеніе писателей-художниковъ кромѣ того было трудное; имъ пришлось работать сначала совсѣмъ безъ союзниковъ. Въ дореформенное время публицистической критики еще не существовало; писателей-спеціалистовъ по разнымъ вопросамъ общественной жизни налицо не имѣлось; людей науки было очень мало, да и многія науки, имѣющія прямое отношеніе къ общественнымъ вопросамъ, находились еще въ зародышѣ; журналы были совсѣмъ бѣдны общественнымъ настроеніемъ, газеты безсодержательны, и единственнымъ человѣкомъ, который могъ говорить о томъ, что на душѣ людей лежало, былъ именно писатель, — писатель-разсказчикъ и поэтъ. Съ половины XIX вѣка это положеніе измѣнилось и на помощь писателю пришли надежные союзники. Программы общественно-литературныхъ журналовъ расширялись и углублялись; стали появляться въ наукѣ и публицистикѣ люди знающіе и компетентные, которые подѣлили съ писателемъ трудъ общественной работы и даже взяли на себя бо́льшую долю этого труда. Писатель имѣлъ помощниковъ, но онъ не сходилъ со своего поста, а, наоборотъ, все тѣснѣе сближался съ жизнью и все рѣшительнѣе оттѣнялъ свою общественную мысль. Силы его росли, но отвѣтственность передъ жизнью не уменьшалась, а возрастала, такъ какъ съ каждымъ годомъ его связь съ нею становилась болѣе крѣпкой. Въ старину, когда писатель былъ сентименталистомъ и проповѣдникомъ несложныхъ нравственныхъ правилъ, и когда онъ почти совсѣмъ не зналъ русской жизни, онъ былъ въ общемъ спокоенъ и доволенъ: онъ считалъ свое дѣло сдѣланнымъ, разъ добрыя слова были имъ сказаны. Когда затѣмъ онъ былъ романтикомъ и любилъ съ далекой неприступной высоты смотрѣть на жалкую дѣйствительность, онъ, правда, страдалъ немало, какъ художникъ, но успокаивался въ мірѣ своихъ свѣтлыхъ призраковъ и возвышенныхъ помысловъ. Когда наконецъ онъ сталъ реалистомъ, то какъ бы онъ ни былъ доволенъ собой, какъ художникомъ, онъ не могъ не страдать отъ всего того, что онъ узнавалъ отъ самой жизни и,

конечно, не могъ не стать судьей того общественнаго положенія, о которомъ говорилъ. Художникъ сталкивался лицомъ къ лицу съ будничной, повседневной злобой и скорбью дня, сохраняя всю остроту ощущенія жизни и всегда мучась вопросомъ — какъ ему помочь этому горю бытія? Мысль о своемъ призваніи, какъ художника, не избавляла его отъ мысли о какомъ-то большомъ долгѣ, который лежалъ на немъ, какъ на человѣкѣ. Теперь, когда истина жизни ему, реалисту, открылась, онъ былъ возмущенъ нравственнымъ несовершенствомъ того, что онъ увидалъ такъ близко. Страданія его, какъ писателя, принимали новый и своеобразный оттѣнокъ. Это была уже не та общая грусть о человѣческомъ несовершенствѣ, сентиментальная грусть; это не была возвышенная поэтическая печаль романтика; это была острая печаль ежеминутно ощущаемаго несчастья и несправедливости, которые требовали немедленной помощи. И одновременно съ ростомъ такой печали въ душѣ художника для него увеличивались и трудности открытой и свободной борьбы съ общественнымъ зломъ. Писателю приходилось постоянно лавировать между волнами растущаго общественнаго мнѣнія и волнами правительственнаго подозрѣнія. Бывали времена, когда цензурная опека переходила за черту всякой строгости и становилась жестокостью. Писателю самой жизнью навязывалась роль все болѣе и болѣе боевая. Къ существующему порядку жизни онъ становился все болѣе и болѣе въ оппозиціонное положеніе, даже тогда, когда былъ умѣренъ въ своихъ общественныхъ взглядахъ. Далеко не всѣ наши художники-реалисты были, какъ принято говорить, „либералами“ [съ либералами ничего общаго не имѣютъ ни Достоевскій, ни Писемскій, ни Островскій, ни Гончаровъ], но всѣ они были обличителями того общественнаго строя, который былъ у нихъ передъ глазами, и въ существованіи котораго было повинно, конечно, не одно только общество, но въ большой мѣрѣ и правительство. Писатель былъ несогласенъ съ порядками личной, семейной, общественной и политической жизни; и въ борьбѣ съ этими порядками онъ располагалъ только однимъ оружіемъ—словомъ и однимъ союзникомъ—читателемъ. Когда его слово бывало сковано и читатель ему измѣнялъ, положеніе писателя становилось глубоко трагичнымъ, и большая печаль переполняла тогда его душу. А его душа и безъ того была печальна, такъ какъ въ ней никогда не было удовлетворено чувство національной гордости, и художникъ всегда страдалъ отъ необходимости неустанно говорить о грѣхахъ людей, которыхъ онъ любилъ и среди которыхъ не находилъ праведниковъ.

Если вы хотите получить наглядное понятіе о томъ, до какихъ степеней могли доходить всяческія писательскія тревоги и страданія, то художественную передачу такого тяжелаго настроенія вы найдете въ разсказѣ Салтыкова-Щедрина „Имя рекъ“. Кое-что въ этомъ разсказѣ надо поставить на счетъ желчной и болѣзненной психики художника, но въ общемъ этотъ громкій стонъ писателя передаетъ вѣрно тѣ молчаливыя жалобы, съ какими художникъ-реалистъ обращался къ себѣ самому и къ окружающимъ его читателямъ.

Итакъ, оставаясь художественнымъ и правдиво воспроизводя дѣйствительность, произведеніе писателя не могло не отразить его личныхъ взглядовъ на тотъ или другой вопросъ жизни. Вторженіемъ такого личнаго элемента художественность произведенія, однако, не нарушалась, въ чемъ вы могли убѣдиться на цѣломъ рядѣ памятниковъ изящной словесности, въ которыхъ личность автора, повидимому, совсѣмъ была заслонена дѣйствующими лицами, но общая оцѣнка положенія, какую давалъ онъ, оставалась ясной и опредѣленной. Въ той мѣрѣ, въ каковой эта оцѣнка расширялась и углублялась, она конечно яснѣе и чаще просвѣчивала въ творчествѣ художника. Все зависѣло отъ того, насколько глубоко въ писателѣ коренилось желаніе оказать своимъ художественнымъ творчествомъ непосредственное вліяніе не столько на эстетическое чувство читателя, сколько на его чувство моральное. А это желаніе въ свою очередь зависѣло отъ степени убѣжденности писателя въ правотѣ своихъ взглядовъ на жизнь и отъ силы его стремленія непремѣнно убѣдить другихъ людей въ томъ, что на его сторонѣ правда.

Среди нашихъ писателей-реалистовъ было два, въ душѣ которыхъ это желаніе особенно глубоко коренилось и стало цѣлью и смысломъ всей ихъ жизни и всего ихъ творчества

Съ нѣкоторыми произведеніями Льва Толстого и Достоевскаго [о нихъ идетъ рѣчь] вы уже знакомы и вы могли видѣть, какъ въ этихъ реальныхъ картинахъ, въ которыхъ все строго согласно съ правдой жизни, личность писателя даетъ себя сильно чувствовать. Сохраняя всю видимость художественно спокойнаго, безпристрастнаго изображенія разныхъ слоевъ нашей жизни, и Достоевскій и Толстой наводятъ васъ на тѣ основныя нравственныя и религіозныя мысли, которыя лежатъ въ основаніи ихъ собственнаго міросозерцанія. [Вы могли это подмѣтить въ „Казакахъ“, „Севастопольскихъ разсказахъ“, „Юности“, „Власти тьмы“ и „Запискахъ изъ Мертваго дома“]. Оба писателя иногда обличаютъ откровенно то, съ чѣмъ они въ жизни не согласны, но чаще стремятся изображать житейскія явленія такъ чтобы читатель самъ могъ

догадаться о томъ, что для нихъ—художниковъ—въ жизни самое цѣнное и дорогое. Никакихъ строго-опредѣленныхъ общественныхъ взглядовъ они въ своихъ романахъ не высказываютъ, но зато они очень ясно оттѣняютъ свои взгляды нравственные и религіозные, взгляды, правда, самаго общаго характера, но по которымъ, однако, не трудно опредѣлить, какіе были бы въ томъ или иномъ частномъ случаѣ ихъ сужденія объ общественныхъ и политическихъ вопросахъ текущаго дня или даннаго положенія.

И Толстой и Достоевскій—несомнѣнные художники-реалисты, но они реалисты особаго типа. Обстановка, въ которой развертываются ихъ разсказы, самая обыденная, дѣйствующія лица—люди живые и современники писателей; затронутые вопросы жизни—либо общечеловѣческіе, либо также современные. Психологія дѣйствующихъ лицъ строжайшимъ образомъ мотивирована, вполнѣ естественна и проста у Толстого и исключительна по сложности у Достоевскаго. Реализмъ въ подборѣ лицъ, въ ихъ размѣщеніи на сценѣ, въ ихъ чувствахъ и мысляхъ—полный и строгій, но вмѣстѣ съ тѣмъ для читателя совершенно ясно, что всѣ эти реальныя картины скомпонованы такъ, что они должны служить доказательствомъ и разъясненіемъ какого-то общаго взгляда на жизнь и человѣка, взгляда лично принадлежащаго писателю и ему чрезвычайно дорогого.

Процессъ творчества, какимъ создавались произведенія Достоевскаго и Толстого, былъ приблизительно слѣдующій: художникъ имѣлъ что сказать о религіозномъ и нравственномъ смыслѣ жизни и о призваніи человѣка; онъ наблюдалъ при отчасти уже готовомъ, сложившемся міросозерцаніи окружающую его жизнь и выбиралъ изъ этой жизни положенія и людей, которые ему были нужны для подтвержденія своихъ взглядовъ. Ради такого подтвержденія художникъ, однако, ничего не выдумывалъ, не искажалъ ни обстановки, ни психики дѣйствующихъ лицъ въ своихъ разсказахъ и старался всегда быть во всемъ вѣрнымъ правдѣ жизни. Но одновременно съ этимъ онъ оставался вѣренъ и тѣмъ лично имъ выработаннымъ общимъ взглядамъ на жизнь и человѣка, съ какими онъ приступалъ къ своимъ наблюденіямъ. Пріемы творчества, какъ видите, были не совсѣмъ тѣ, какіе примѣнялись другими реалистами. Обыкновенно писатель подходилъ къ жизни съ однимъ лишь желаніемъ узнать отъ нея что-нибудь для себя новое, присмотрѣться къ новой обстановкѣ, изучить новыхъ людей. Въ разныхъ областяхъ и слояхъ русской жизни онъ производилъ такія изысканія и наблюденія и затѣмъ уже изъ этихъ наблюденій дѣлалъ выводъ, который приводилъ его къ

оцѣнкѣ тѣхъ или иныхъ частныхъ явленій русской жизни или явленій. болѣе общаго характера. Заранѣе составленныхъ общихъ взглядовъ на жизнь человѣческую въ ея цѣломъ и на нравственное призваніе въ ней человѣка у большинства художниковъ-реалистовъ не было, или, если они были, то на композицію его произведеній они не вліяли. Онъ описывалъ жизнь, какъ она есть, но не съ тѣмъ, чтобы говорить о томъ, какой она должна быть.

Толстой и Достоевскій, оставаясь реалистами, не мало думали, конечно, о томъ, какова жизнь на самомъ дѣлѣ, но еще больше думали о томъ, какой ей слѣдовало бы быть, чтобы удовлетворить высшимъ идеаламъ нравственнаго и религіознаго человѣка.

Поступали же Толстой и Достоевскій такъ потому, что они самой природой были созданы не только геніями-художниками, но и моралистами большой сердечной глубины. Для нихъ служеніе красотѣ было одновременно служеніемъ добру, но не только служеніемъ какому-нибудь доброму дѣлу, какъ бы оно значительно для нашей русской текущей жизни ни было, но служеніемъ тому великому началу всякаго добра въ мірѣ, таинственному началу любви и справедливости, изъ котораго вытекаетъ все временное добро въ нашей жизни и съ которымъ тѣснѣйшимъ образомъ связано понятіе о Богѣ. Толстого и Достоевскаго нерѣдко называютъ „пророками“, и такой эпитетъ не только поэтическая метафора. Въ этихъ писателяхъ несомнѣнно живъ духъ пророческій, духъ людей, осуждающихъ весь укладъ той жизни, которую они вокругъ себя видятъ, призывающихъ людей къ покаянію и иному образу жизни, напоминающихъ имъ о Богѣ, Его любви и Его гнѣвѣ.

Этотъ пророческій духъ Толстого и Достоевскаго покорилъ умы и сердца не только ихъ соотечественниковъ, но и всего культурнаго міра, для котораго творенія этихъ русскихъ геніевъ были отвѣтомъ на запросы общечеловѣческой души. Изъ всѣхъ нашихъ писателей именно эти два создали намъ міровую славу. И тотъ и другой, не какъ художники только, а именно какъ возвѣстители религіозныхъ и нравственныхъ истинъ, продолжали то дѣло, надъ которымъ на западѣ трудились всѣ „апостолы человѣчества“, всѣ идеалисты, призывавшіе людей къ пересмотру и измѣненію началъ, на которыхъ они строили свою духовную и матеріальную жизнь.

Всѣ религіозныя и нравственныя ученія, а потому и всѣ ученія общественно-политическія, какими живетъ западъ, должны были найти въ сочиненіяхъ Толстого и Достоевскаго нѣчто, даже многое, съ чѣмъ они не могли не считаться. И,

дѣйствительно, культурный міръ считался съ ихъ словами и, конечно, будетъ съ ними считаться еще долго.

Помимо общечеловѣческаго смысла и значенія, слова Толстого и Достоевскаго имѣютъ для насъ русскихъ и свою особую національную цѣну, такъ какъ въ установленіи общихъ взглядовъ на міръ и человѣка эти писатели пользовались тѣми данными, какія имъ были даны нашей жизнью. По этой жизни изучали они грѣхи людскіе, и въ этой же жизни [въ особенности Достоевскій] нашли залогъ для грядущаго разумнаго, справедливаго и добраго людского существованія на землѣ. Наконецъ со всѣми русскими писателями раздѣляли они и всѣ тревоги, сомнѣнія, мученія совѣсти, надежды и упованія. Мысль о нравственномъ долгѣ передъ родиной, о служеніи ей, мысль, которая такъ часто затрудняла художнику-реалисту его творческую работу, была выстрадана Толстымъ и Достоевскимъ не менѣе, если не болѣе глубоко, чѣмъ ихъ собратіями по перу.

Вамъ предстоитъ теперь ознакомиться съ міросозерцаніемъ этихъ наиболѣе сильныхъ нашихъ художниковъ и съ главнѣйшими изъ ихъ произведеній. То, что мы успѣемъ о нихъ сказать, это—самая ничтожная часть того, что можетъ быть о нихъ сказано,—такъ глубоко и широко содержаніе ихъ твореній. Объ ихъ творчествѣ написаны сотни книгъ на всѣхъ языкахъ, и долго еще такія книги будутъ слѣдовать одна за другой. Для каждаго образованнаго русскаго человѣка знаніе всего, что писано Толстымъ и Достоевскимъ—обязательно; и много пройдетъ времени прежде чѣмъ вы овладѣете этимъ знаніемъ, такъ какъ изученіе именно этихъ писателей требуетъ особой сосредоточенной работы и неоднократнаго чтенія. Всякій разъ, когда въ продолженіе всей вашей жизни, въ разные возрасты, вы будете брать въ руки какъ будто знакомыя вамъ книги, вы въ нихъ всегда найдете много новаго, и всегда раздумье надъ ними будетъ расширять вашъ умственный кругозоръ и будить живыя чувства. Въ школѣ вы успѣете схватить развѣ только самый общій смыслъ ихъ творчества, который потомъ при повторныхъ чтеніяхъ будетъ проясняться и углубляться. Въ школѣ вамъ удастся прочитать лишь незначительную часть того, что ими написано, и уже потомъ вы станете провѣрять, дополнять и, конечно, видоизмѣнять ваши сужденія, вызванныя первымъ чтеніемъ. Но и это первое чтеніе главнѣйшихъ сочиненій Толстого и Достоевскаго должно быть чтеніемъ очень сосредоточеннымъ и медленнымъ.

XXVII.

Основныя религіозно-нравственныя положенія въ міросозерцаніи Достоевскаго. Взгляды Достоевскаго на міровое призваніе русскаго народа.

Трудно, почти невозможно, дать исчерпывающій очеркъ міросозерцанія Достоевскаго и въ такомъ очеркѣ указать точно мѣсто каждаго изъ его большихъ произведеній, въ которыхъ это міропониманіе намѣчалось, излагалось и дополнялось. Достоевскій въ рѣшеніи многихъ основныхъ вопросовъ жизни принадлежалъ къ такъ называемымъ „искателямъ“ истины, т.-е. онъ могъ остановиться на какомъ-нибудь рѣшеніи даннаго вопроса, могъ съ большой убѣжденностью защищать его и проповѣдывать, но въ немъ никогда не смолкала аналитическая и критическая работа мысли, которая дѣлала сама себѣ возраженія и была такъ же безпощадна въ сомнѣніи, какъ раньше была тверда въ утвержденіи. Всю свою долгую жизнь Достоевскій пересматривалъ тѣ краеугольные вопросы бытія, на которыхъ онъ остановился въ началѣ своей литературной дѣятельности. Въ этомъ пересмотрѣ рѣзкихъ колебаній, правда, не было, но не было и того окончательнаго рѣшенія, которое подъ самый конецъ жизни художникъ надѣялся обнародовать въ романѣ „Братья Карамазовы“, но не обнародовалъ, такъ какъ смерть помѣшала ему окончить это геніальное произведеніе. Все идейное значеніе романовъ Достоевскаго заключено въ самой постановкѣ вопросовъ религіозныхъ, нравственныхъ и общественно-политическихъ, въ тѣхъ спорахъ о нихъ, которые авторъ ведетъ самъ съ собою, распредѣляя роли спорщиковъ между отдѣльными вымышленными имъ лицами. Огромную пользу извлечете вы изъ этого разговора художника со своими оппонентами, которымъ, замѣтьте, онъ всегда безпристрастно уступаетъ на время всю силу своей логики, свои знанія и свое краснорѣчіе. По вопросамъ, которые передъ вами поставитъ Достоевскій, вамъ, въ ваши юные годы, самостоятельно высказаться будетъ очень трудно; нѣкоторые изъ нихъ вамъ даже покажутся очень туманными и мало интересными, но заставьте себя надъ ними думать— въ особенности надъ тѣми, которые говорятъ о нашей національной жизни, о нашемъ народѣ, объ его умѣ и сердцѣ, его міросозерцаніи, религіозномъ сознаніи, о формѣ нашего минувшаго государственнаго строя. Со временемъ при самостоятельной оцѣнкѣ окружающей васъ жизни и въ особенности жизни прошлой, эти разсужденія моралиста и философа помогутъ вамъ выяснить себѣ достаточно распространенное въ недавнемъ прошломъ консервативно націоналистическое на-

правленіе особаго гуманно-религіознаго типа. Во всякомъ случаѣ настоящую оцѣнку роли Достоевскаго въ исторіи нашей русской культуры, равно какъ и оцѣнку его какъ проповѣдника нравственности и мыслителя вообще вы произведете значительно позже, когда сама жизнь, а не книга, натолкнетъ васъ на тѣ вопросы, которые писателя такъ мучили.

Изъ цѣлаго ряда такихъ „мучительныхъ“ вопросовъ, частью нерѣшенныхъ вообще, а частью рѣшаемыхъ всегда подъ угрозой сильнаго сомнѣнія, мы выдѣлимъ пока два, въ рѣшеніи которыхъ Достоевскій обнаружилъ наибольшую ясность и устойчивость мысли. Эти вопросы въ его міросозерцаніи занимаютъ центральное мѣсто; одинъ изъ нихъ ставится на очередь во всѣхъ его главныхъ художественныхъ произведеніяхъ, другой служитъ постоянной темой его публицистическихъ очерковъ.

Первый вопросъ чисто-нравственнаго характера, и онъ можетъ быть сведенъ приблизительно къ такимъ мыслямъ. Міръ есть арена борьбы добра и зла. Слово борьба заключаетъ въ себѣ всегда понятіе извѣстнаго насилія... Допустимо ли насиліе со стороны добра, какъ бы святы, справедливы и добры ни были тѣ цѣли, къ которымъ добро въ жизни стремится? Вопросъ этотъ, которымъ послѣ смерти Достоевскаго продолжалъ такъ мучиться Толстой и который привелъ Толстого къ знаменитому ученію о непротивленіи злу зломъ—былъ Достоевскимъ поставленъ необычайно широко и тѣсно сплетенъ съ другимъ вопросомъ о мистическомъ значеніи вообще страданія въ жизни. Всѣ большіе романы Достоевскаго—помимо, конечно, огромнаго количества иныхъ менѣе общихъ проблемъ, которыя они затрагиваютъ—въ основной своей мысли сводятся къ разсужденіямъ о борьбѣ „сильнаго“ человѣка, неизбѣжно такъ или иначе насилующаго ближняго, съ человѣкомъ „слабымъ“, но слабымъ совсѣмъ въ особомъ смыслѣ, и къ психологическому анализу испытываемаго „слабыми“ людьми страданія, которое въ концѣ концовъ оказывается сильнѣе всякой силы и единственно надежнымъ залогомъ торжества добра.

Слова „слабый“ и „сильный“ примѣнительно къ героямъ Достоевскаго надо понимать не въ обычномъ смыслѣ, какой этимъ словамъ придается. „Сильный“ человѣкъ—въ пониманіи Достоевскаго—обладаетъ обыкновенно лишь видимостью силы, которая можетъ торжествовать побѣду временно, хотя и на долгій срокъ, но въ концѣ концовъ эта сила сама себя уничтожитъ; „слабый“ человѣкъ—тотъ бываетъ слабъ также лишь видимо, на дѣлѣ онъ страшно силенъ духомъ, и если ему въ жизни всегда приходится уступать и сильный его оскорбляетъ и

унижаетъ, если онъ даже минутами становится смѣшнымъ своей беззащитной наивностью, онъ все-таки въ концѣ концовъ одерживаетъ верхъ, такъ какъ злая сила не можетъ сломить его, не можетъ потому, что онъ не противопоставляетъ ей съ своей стороны никакой силы, которая могла бы быть сломлена, а является для всѣхъ ударовъ неуязвимымъ и недоступнымъ. Къ тому же страданіе, которому подвергается въ жизни „слабый“ человѣкъ, имѣетъ особое мистическое, религіозное значеніе и обладаетъ огромнымъ нравственнымъ вліяніемъ, передъ которымъ торжествующая сила зла должна склониться.

Въ основѣ своей это ученіе опирается на евангельскую проповѣдь, а затѣмъ на цѣлый рядъ соціалистическихъ ученій мирнаго утопическаго направленія, которыя были въ большомъ ходу въ первыя десятилѣтія XIX вѣка въ Европѣ. Съ этими ученіями, которыя продолжали евангельскую проповѣдь любви и соціальнаго мира, Достоевскій ознакомился еще совсѣмъ молодымъ человѣкомъ, сталъ ихъ ревностнымъ послѣдователемъ и за это въ 1849 году—какъ вы знаете—чуть-чуть не поплатился жизнью на плахѣ и былъ сосланъ въ Сибирь, на каторгу. Соціалистическія теоріи начала прошлаго вѣка имѣли въ виду привести человѣка къ отказу отъ всякаго эгоизма и всякой попытки *навязать* ближнему свою волю, т.-е. отъ всякаго насилія, въ чемъ бы оно ни выражалось. Утописты-соціалисты вѣрили въ возможность установленія такой жизни, въ которой не будетъ мѣста насилію и давленію одного человѣка на другого, даже духовнаго *давленія*, не говоря уже о физическомъ. Человѣкъ долженъ перестать быть эгоистомъ, и тогда соціальный міръ будетъ установленъ.

Эти самыя общія мысли христіанства и западнаго утопическаго соціализма были усвоены Достоевскимъ, и онъ отдалъ всѣ свои помыслы на отысканіе вѣрнѣйшаго способа, какимъ можно было бы бороться съ человѣческимъ эгоизмомъ. Онъ былъ увѣренъ, что рѣшеніе этой труднѣйшей нравственной задачи дано полностью въ Христовомъ ученіи, если смягчить въ этомъ ученіи ту его часть, которая говоритъ о земныхъ дѣлахъ, какъ о чемъ-то незаслуживающемъ вниманія, какъ о преходящемъ, за которымъ послѣдуетъ истинное и вѣчное. Какъ послѣдователь утопическаго соціализма, Достоевскій не могъ, конечно, жертвовать земными дѣлами ради царства Божія на небесахъ и думалъ, что, и при установленіи чисто-земныхъ порядковъ, проповѣдь Христа о безпредѣльной любви, терпѣніи, добровольномъ страданіи, проповѣдь о поцѣлуѣ мира въ отвѣтъ на всѣ удары, однимъ

словомъ, проповѣдь борьбы со злымъ началомъ путемъ жертвы и смиренія—единственная программа, обѣщающая успѣхъ и побѣду. Зло нельзя побѣдить какимъ-нибудь насиліемъ или активнымъ сопротивленіемъ, принужденіемъ или наказаніемъ. Его можно сокрушить только добровольнымъ принятіемъ на себя всѣхъ его ударовъ и непоколебимымъ спокойнымъ примѣромъ святости, которая тѣмъ упорнѣе въ своемъ утвержденіи, чѣмъ больше жестокости и несправедливости обнаруживаютъ по отношенію къ ней злые люди. Всякая активная самооборона добра вызоветъ новое напряженіе зла и усилитъ его; а примѣръ терпѣливой и страдающей святости въ концѣ концовъ можетъ, обезоружить зло или во всякомъ случаѣ дать огромную нравственную поддержку всѣмъ добрымъ людямъ и увеличить ихъ силу. „Сильный" человѣкъ, т.-е. тотъ, который торжествуетъ въ жизни, который умѣетъ къ чему-нибудь другихъ принудить, представитель эгоизма, въ какомъ угодно смыслѣ, хищникъ, злой человѣкъ или подпадающій соблазну стать злымъ—онъ въ концѣ концовъ будетъ обезороженъ человѣкомъ „слабымъ", который съ виду беззащитенъ, угнетаемъ, загнанъ, осужденъ страдать и терпѣть, а на самомъ дѣлѣ сильнѣе сильнаго, такъ какъ именно онъ истинно и единственно сильный человѣкъ въ мірѣ, и конечная побѣда принадлежитъ ему и его идеаламъ.

Этотъ своеобразный взглядъ на нравственную силу добра, которая сильна тогда, когда страдаетъ и терпитъ униженія, и на силу зла, которая немощна при всемъ своемъ торжествѣ, Достоевскій излагалъ почти во всѣхъ своихъ большихъ романахъ, выдержанныхъ въ реальномъ стилѣ и приноровленныхъ къ самымъ обыденнымъ явленіямъ нашей русской жизни.

Съ перваго взгляда эти романы покажутся вамъ не совсѣмъ похожими на обычныя „реальныя" картины жизни. Интрига въ нѣкоторыхъ изъ нихъ невѣроятно сложна и запутана, характеры почти всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ эксцентричны, съ очень повышенными чувствами и очень страстной мыслью, иногда съ несомнѣнными признаками душевнаго разстройства. Манера письма Достоевскаго безспорно своеобразна, очень отлична отъ пріемовъ обычнаго реализма, но тѣмъ не менѣе это несомнѣнный художественный реализмъ. Бытъ воспроизведенъ въ точнѣйшемъ согласіи съ дѣйствительностью, дѣйствующія лица хоть и необыденны, но они не символы, а живые люди, и, главное, всѣ душевныя движенія этихъ лицъ, ихъ переживанія, ихъ поступки строжайше мотивированы художникомъ и психологически разъяснены съ удивительнымъ знаніемъ не только мужской, но и женской

души. Можетъ возникнуть у читателя только одинъ вопросъ—зачѣмъ понадобилось автору такую широкую общечеловѣческую тему, религіозную, нравственную и философскую, развивать и разъяснять въ самой обыденной обстановкѣ и притомъ въ обстановкѣ русской, съ привлеченіемъ къ ея рѣшенію русскихъ людей, и къ тому же людей, не отличающихся какими-нибудь особенными дарами духа. А всѣ дѣйствующія лица романовъ Достоевскаго—какъ вы убѣдитесь—хоть они и очень своеобразны, но въ сущности выдающимися по уму и дарованіямъ назваться не могутъ [за исключеніемъ развѣ только Ивана Карамазова]. Если ужъ говорить о міровомъ вопросѣ борьбы добра и зла, то обстановка, какая дана въ романахъ Достоевскаго, какъ будто не покрываетъ всей глубины и широты основной идеи... Но Достоевскій, перенося дѣйствіе своихъ разсказовъ въ русскую среду и распредѣляя его между людьми болѣе или менѣе обыденными, имѣлъ къ тому особыя основанія. Онъ думалъ, что душа русскаго человѣка, и по возможности самобытно русскаго, т.-е. возможно менѣе затронутаго соблазнами и блескомъ западно-европейской цивилизаціи, всего сильнѣе способна отзываться на нравственные вопросы и болѣть ими. И кромѣ того онъ вѣрилъ, что русскій человѣкъ—носитель какой-то особой нравственной миссіи, миссіи, которая должна быть осуществлена имъ не только въ предѣлахъ его родины, но и явлена всему міру.

Эта мысль о міровомъ призваніи русскаго человѣка, о какой-то особой нравственно-религіозной тайнѣ, которую русская душа и русская культура имѣютъ открыть сосѣдямъ, такъ долго и такъ безплодно ищущимъ Божьей правды на землѣ, была центральной мыслью, на которой Достоевскій построилъ всѣ свои публицистическія статьи. Религіозно-нравственная въ своей основѣ, эта мысль была Достоевскимъ развита и дополнена иными мыслями общественно-политическаго характера, которыя заключали въ себѣ оправданіе и защиту нашего гражданскаго и политическаго строя, съ самодержавнымъ царемъ во главѣ, съ православной вѣрой, какъ носительницей истинныхъ завѣтовъ Христа, и съ тѣмъ культомъ народнаго ума и въ особенности души, который былъ характерной стороной міросозерцанія всѣхъ „народолюбцевъ“ его времени. Въ стройную законченную систему эти взгляды у Достоевскаго не вылились, и въ нихъ не мало неясностей, но они въ скрытыхъ или ясныхъ формулахъ проникаютъ собой всѣ его публицистическія статьи, знакомство съ которыми, какъ съ проявленіемъ типично русской самобытной мысли для васъ впослѣдствіи станетъ обязательнымъ.

Въ художественныхъ произведеніяхъ Достоевскаго эти публицистическія мысли встрѣчаются въ розницу, и отмѣтить ихъ нужно, не столько, впрочемъ, какъ дополненіе основной нравственной темы, которую художникъ развиваетъ въ своихъ романахъ, сколько для объясненія тѣхъ рѣчей, съ какими иногда невзначай выступаютъ въ этихъ романахъ нѣкоторыя дѣйствующія лица, прерывая общую нить повѣствованія.

Изъ этихъ публицистическихъ мыслей, связанныхъ съ основной нравственной идеей—о борьбѣ праведнаго героя съ торжествующимъ зломъ—всего чаще художникъ останавливается на двухъ мысляхъ: на мысли о духовной силѣ русскаго народа и на мысли о культурномъ міровомъ призваніи Россіи.

Въ оцѣнкѣ духовныхъ силъ русскаго народа Достоевскій—образецъ самаго послѣдовательнаго и убѣжденнаго „народолюбца". Для него простой народъ—главная сила нашей національной жизни и единственно здоровая сила. „Наше несчастье въ томъ, что мы разобщены съ народомъ... И намъ ли обучать его?.. У него намъ надо учиться, какъ жить, и, быть-можетъ, лишь онъ одинъ способенъ разрѣшить вѣковую загадку—почему на землѣ нѣтъ до сихъ поръ ни свободы, ни равенства, ни братства. Миролюбіе души — основная черта нашего народа. Русскій духъ былъ всегда шире всякой сословной вражды. Въ то время какъ идея общечеловѣчности на западѣ тускнѣетъ, наши народныя черты всепримиримости и всечеловѣчности крѣпнутъ. И въ этомъ направленіи намъ надлежитъ работать совмѣстно съ народомъ. До сихъ поръ народъ не считалъ насъ за своего, потому что мы, т.-е. образованные классы, отклонились отъ вѣры въ справедливость и правду,—вѣры, которой живетъ нашъ народъ. Заслужимъ же его довѣріе и будемъ работать вмѣстѣ съ нимъ... Народу обидно, что мы считаемъ его совсѣмъ маленькимъ и хотимъ быть его учителями. Онъ—нашъ учитель, онъ—хранитель истины христіанской идеи, онъ спасетъ и себя, и насъ. Народъ искони носилъ Христа въ своемъ сердцѣ; онъ—народъ православный, а въ православіи вся правда. Народъ любитъ правду не для красы, а только для правды; народъ принялъ въ свою суть Христа... Не судите о народѣ по мерзостямъ, а по святымъ вещамъ, о которыхъ онъ вздыхаетъ въ мерзости. Онъ не святой, конечно, но только онъ одинъ способенъ явить истинную святость. Только онъ одинъ знаетъ, что значитъ быть истинно-религіознымъ. А религія—громадная сила въ нашей жизни, и наша національная задача—это обнаруженіе русскаго Христа, а Христосъ сохранился только въ православіи. Торжествующая цивилизація — это развратъ, и

создать новое общество можно только на христіанскихъ началахъ. Одинъ Христосъ — истинное и твердое начало для общественной жизни; Онъ одинъ провѣрка нашихъ убѣжденій, такъ какъ людей можно соединить для гражданскихъ цѣлей только идеей нравственнаго и личнаго самоусовершенствованія. Задатки къ такому совершенствованію въ русскомъ человѣкѣ имѣются, да и вообще вся наша жизнь, поскольку она согласна съ народными началами, обѣщаетъ міру великое откровеніе. Уже одно то, что въ насъ въ русскихъ сильнѣе, чѣмъ въ какомъ-либо народѣ потребность страданія, предрасполагаетъ насъ къ великому нравственному подвигу. Цивилизація до сихъ поръ требовала жестокости, и да будетъ она за это проклята. Можетъ-быть, намъ удастся создать такую цивилизацію, которая никакихъ жестокостей не потребуетъ. Россія всегда жила для другихъ, всегда была апостоломъ дѣятельной любви, и она создана для спасенія народовъ; мы истинные представители свободы и братства и мы идемъ за Христомъ и будемъ страдать за Него, потому что безъ страданій любить невозможно, но зато Россія безъ крови разрѣшитъ роковой вопросъ о низшей братіи. Европейскій либерализмъ—тотъ утратилъ Христа и врядъ ли что способенъ дать міру. Всѣ идеи, которыя такъ разъединяютъ нашихъ сосѣдей, они должны быть соглашены нами, мы таимъ разрѣшеніе всѣхъ загадокъ, надъ которыми западъ ломаетъ голову, потому мы для запада пока сфинксъ: но этотъ сфинксъ согласитъ всѣ противорѣчія и установитъ всеобщій соціальный міръ. Любовь наша всеобъемлюща, мы легче, чѣмъ другіе, можемъ стать братьями, а когда на свѣтѣ будутъ братья, тогда и братство воцарится. Внести миръ въ міръ разлада и вражды—въ этомъ наше русское міровое призваніе. Православіе даетъ намъ истинную вѣру, а наше политическое устройство съ царемъ во главѣ поможетъ намъ осуществить эту задачу. Царь—отецъ народа, а потому онъ не можетъ не раздѣлять его идеаловъ".

Это ученіе Достоевскаго, какъ видите, — поэтическая греза, а не историческое изслѣдованіе и обобщеніе. Событія пока не оправдали надеждъ писателя и его лирической импровизаціи.....

Но съ этой лирикой поэта и публициста вы должны считаться, такъ какъ она объяснитъ вамъ, почему герои Достоевскаго бываютъ такъ страстны въ своихъ рѣчахъ, такъ похожи иногда на пророчествующихъ, болѣзненно экзальтированныхъ людей.

Нравственная идея, которая легла въ основаніе всего міросозерцанія Достоевскаго, и которую онъ неизмѣнно раз-

вивалъ въ своихъ большихъ романахъ,—она была для него не простой нравственной темой, которую можно было спокойно ставить и обсуждать. Она была такъ тѣсно связана съ его религіозными взглядами, съ его искреннимъ христіанскимъ чувствомъ, съ его православнымъ исповѣданіемъ, съ его культомъ русскаго народа, съ надеждой на міровую миссію этого народа, съ его любовью къ царю, вообще со всѣми мыслями и чувствами „русскаго" человѣка, какъ его понималъ Достоевскій, что вы, конечно, не удивитесь, если эта нравственная идея о вѣрнѣйшемъ способѣ борьбы съ міровымъ зломъ составляла для него и радость и мученіе всей его жизни, если онъ въ каждомъ новомъ своемъ произведеніи стремился осилить неимовѣрную трудность ея окончательного выясненія и рѣшенія.

XXVIII.

„Слабый" человѣкъ въ его побѣдоносной борьбѣ съ „сильнымъ". „Преступленіе и наказаніе" и „Идіотъ".

Основная нравственная идея, къ которой сводился для Достоевскаго весь смыслъ земной жизни, была имъ впервые полностью выражена и очень подробно развита въ романѣ „Преступленіе и наказаніе". Въ созданіяхъ художника этотъ романъ занимаетъ очень видное мѣсто и по силѣ, сосредоточенной на основномъ вопросѣ мысли, и по необычайной тонкости и правдивости въ изображеніи психическихъ движеній главныхъ дѣйствующихъ лицъ. Романъ составилъ славу Достоевскаго какъ въ Россіи, такъ и за границей, гдѣ онъ до сихъ поръ одинъ изъ наиболѣе читаемыхъ русскихъ романовъ. Интересъ, какой обнаружилъ западъ къ этому художественному произведенію, вполнѣ понятенъ, такъ какъ нравственный вопросъ, въ немъ поднятый,—общемірової, и онъ на западѣ былъ поставленъ рѣзче и болѣе остро, чѣмъ у насъ. Въ послѣднюю четверть XIX вѣка на западѣ онъ вызвалъ даже цѣлое идейное движеніе и большіе споры, когда, въ необычайно красивой формѣ, съ рѣдкимъ паѳосомъ острой и безпощадной мысли и съ истиннымъ поэтическимъ вдохновеніемъ, онъ—этотъ вопросъ о правахъ и призваніи сильной личности и о роли въ мірѣ людей „слабыхъ"—былъ необычайно смѣло и парадоксально рѣшенъ извѣстнымъ моралистомъ Фридрихомъ Ницше. Но первенство въ самой постановкѣ вопроса осталось за Достоевскимъ.

Рѣчь идетъ о двухъ характерахъ и типахъ, къ которымъ всѣ живущіе на землѣ люди болѣе или менѣе приближаются. Есть такіе люди, которые обладаютъ извѣстной умствен-

ной и душевной силой, способной дать жизни то или иное направленіе, и другіе, которые представляютъ собою болѣе или менѣе инертную массу, на которую опираются или которой пользуются люди, умѣющіе другихъ подчинить своему вліянію. Чтобы имѣть вліяніе и вообще чтобы быть сильнымъ, надо экономить свои силы, не раздроблять ихъ, не тратить ихъ непроизводительно, а беречь ихъ и беречь прежде всего самого себя, свою личность, которая является носительницей силы. Наибольшее раздробленіе силъ человѣка „сильнаго“ происходитъ тогда, когда онъ, движимый разными мягкими чувствами и сердечными склонностями, начинаетъ помогать „слабымъ“, вообще тѣмъ, кто нуждается въ его помощи. Такъ какъ эти слабые люди для жизни вообще существа безполезныя или полезныя лишь въ той степени, въ какой ими можно и должно пользоваться, то помощь, оказанная имъ человѣкомъ сильнымъ, только мѣшаетъ ему цѣлесообразно использовать слабыхъ въ интересахъ общей жизни. Сильный человѣкъ, имѣя въ виду свой собственный интересъ, т.-е. интересъ самой жизни, поскольку онъ является ея создателемъ и направителемъ, долженъ уберечь себя отъ всякихъ нѣжныхъ и любовныхъ чувствъ въ отношеніи къ тѣмъ, кто самъ на своихъ ногахъ стоять не можетъ.

Если предположить, что человѣкъ, сознающій свою силу и вѣрующій въ себя, желаетъ къ тому же добра жизни, т.-е. убѣжденъ, что онъ для жизни можетъ сдѣлать нѣчто полезное, то тѣмъ большее имѣетъ онъ право пользоваться „слабыми“ людьми для своихъ цѣлей. А если тотъ слабый человѣкъ, которымъ сильный желаетъ воспользоваться, не только „слабый“, но вполнѣ ненужный и даже вредный для жизни человѣкъ, то тогда права на него сильнаго человѣка должны быть признаны неоспоримыми.

Вотъ въ самомъ простомъ видѣ та парадоксальная теорія, которая была осуждена Достоевскимъ въ романѣ „Преступленіе и наказаніе“. Достоевскій долженъ былъ осудить эту теорію, такъ какъ она шла въ разрѣзъ со всѣмъ его нравственнымъ міропониманіемъ. Онъ держался совсѣмъ иного взгляда на то отношеніе, въ какое человѣкъ сильный долженъ стать къ слабому: онъ полагалъ, что всякое преимущество, какое имѣетъ одинъ человѣкъ надъ другимъ, дано этому человѣку для блага не только своего, но и ближняго, нуждающагося въ помощи; Достоевскій не допускалъ мысли о томъ, чтобы добро могло быть куплено путемъ насилія и какого-либо страданія, причиняемаго ближнимъ, и наконецъ, по его взглядамъ каждый человѣкъ имѣлъ свое назначеніе и свою стоимость въ жизни. Предоставить кому-нибудь право

распоряжаться другимъ человѣкомъ, а тѣмъ болѣе причинять ему страданіе, хотя бы въ интересахъ общаго блага—значило допустить великую несправедливость и великій соблазнъ для гордыни самолюбія, самомнѣнія и эгоизма человѣческаго.

Въ романѣ „Преступленіе и наказаніе“ казнена эта гордыня и ложная мудрость „сильнаго“ человѣка и прославлена нравственная стоимость человѣка беззащитнаго и слабаго. Романъ выдержанъ въ строго реальныхъ тонахъ, и фабула его чрезвычайно богата вводными эпизодами, такъ что любой изъ этихъ эпизодовъ, какъ, напримѣръ, исторія семьи Мармеладовыхъ, сестры Раскольникова, Свидригайлова, картина судейскаго кружка могутъ быть выдѣлены, какъ совершенно самостоятельные разсказы. За вычетомъ всѣхъ этихъ вводныхъ эпизодовъ все вниманіе читателя сосредоточивается на двухъ главныхъ лицахъ, исторія души которыхъ и должна подтвердить основную нравственную идею романа.

Раскольниковъ мнитъ себя человѣкомъ сильнымъ, имѣющимъ что-то сказать жизни и что-то для нея сдѣлать. Онъ убѣжденъ, что призванъ служить добру, такъ какъ человѣкъ онъ въ основѣ своей—добрый и честный, и помыслы его благородны. И въ этомъ онъ не ошибается. Если онъ вообще преувеличиваетъ стоимость своихъ способностей и своего таланта [а вѣдь ни на одномъ дѣлѣ пока его способности провѣрены не были], то въ оцѣнкѣ своей душевной порядочности, своего благожелательнаго отношенія къ ближнимъ онъ безусловно правъ. Онъ человѣкъ совѣстливый и порядочный, и потому онъ совершенно не въ силахъ использовать то преступленіе, на которое онъ рѣшился. А на преступленіе онъ рѣшился потому, что на ненужнаго, по его мнѣнію, и даже вреднаго человѣка онъ смотрѣлъ какъ на средство, какимъ онъ можетъ воспользоваться не для узкой личной цѣли, а для цѣли широкой — для предоставленія себѣ возможности развернуть всѣ свои силы во благо жизни. Преступленіе было задумано въ строгомъ согласіи съ той теоріей, о которой говорено выше. Все, что служитъ баластомъ для жизни, должно быть принесено въ жертву тому, что можетъ для этой жизни оказаться нужнымъ и полезнымъ.

Находясь подъ властью логическихъ размышленій, Раскольниковъ рѣшился на убійство, и въ жертву того добра, которое онъ надѣялся совершить, была принесена безполезная и вредная жизнь старухи. Но съ самаго момента совершенія убійства, то таинственное, во что облеклась его совѣсть, въ немъ заговорило. Весь романъ посвященъ изложенію борьбы этой затуманенной совѣсти съ доводами холоднаго разсудка. И въ концѣ концовъ разсудку пришлось уступить, но только

послѣ отчаянной борьбы, которая продолжалась даже и тогда, когда Раскольниковъ призналъ передъ людьми свою вину и пошелъ на каторгу, чтобы страданіями искупить свое преступленіе.

Къ истинѣ Раскольниковъ пришелъ не самъ своими силами, а съ помощью существа, которое, если слѣдовать его теоріи, могло быть также сочтено за безполезное, ненужное и даже вредное существо въ жизни.

Художникъ сказнилъ на нашихъ глазахъ сильнаго человѣка или, вѣрнѣе, такого, который мнилъ себя сильнымъ, доказавъ ему, что всякое насиліе, въ какихъ бы то ни было цѣляхъ, не уменьшаетъ зла, а наоборотъ ослабляетъ того, кто со зломъ рѣшается такимъ способомъ бороться. Кромѣ того, вѣрный своему взгляду на роль страдающихъ, униженныхъ и оскорбленныхъ людей, художникъ пытался показать намъ, какъ надъ всѣми доводами желѣзнаго разсудка, повидимому, неуязвимаго въ своей логикѣ, одерживаетъ верхъ наивная святость любви, страданія и терпѣнія, освященная евангельской истиной. Достоевскаго упрекали иногда за то, что, вводя въ романъ Соню Мармеладову, онъ слѣдовалъ извѣстной литературной модѣ, тогда широко распространенной на западѣ, гдѣ преимущественно во французскихъ романахъ типы погибшихъ женщинъ были символами протеста противъ жестокости торжествующей цивилизаціи. Соня, дѣйствительно, похожа на своихъ западныхъ родственницъ, но она появилась въ романѣ Достоевскаго не какъ литературное заимствованіе, а какъ воплощеніе той нравственной мысли, того нравственнаго чувства, передъ силой котораго вся логика Раскольникова должна была склониться. Какъ ни протестовала совѣсть Раскольникова противъ убійства, какъ ни былъ онъ иногда близокъ къ тому, чтобы отказаться отъ своей теоріи о правахъ сильнаго, но вѣдь только Соня довела его до настоящаго гласнаго покаянія; она не убѣдила его, но внушила ему мысль о покаяніи. И затѣмъ уже въ Сибири, когда даже страданія на каторгѣ не сломили логики Раскольникова, когда онъ отъ покаянія перешелъ къ упрекамъ самому себѣ въ томъ, что онъ не оказался на высотѣ своего ученія, что онъ ослабѣлъ и потому проигралъ свою партію, т.-е. когда онъ вновь вернулся къ теоріи оправдывающей „сильнаго“ — одна Соня помогла ему разъ навсегда съ этой теоріей покончить. Въ любви къ ней нашелъ онъ окончательное исцѣленіе и вмѣстѣ съ ней онъ началъ новую жизнь.

Ни большого ума не было въ Сонѣ, ни даже большой силы воли; съ царящимъ въ мірѣ зломъ она могла бороться

только однимъ оружіемъ — чистотой сердца при всемъ невольномъ грѣхѣ плоти, любовью, жертвующей собой ради ближняго, и наконецъ страданьемъ, которое выпало ей на долю — безъ всякой ея вины. Достоевскій поручилъ Сонѣ проповѣдь своего нравственнаго ученія о силѣ „слабаго“ человѣка. Она—несомнѣнно слабая, жизнью и людьми загнанная, отданная на произволъ житейскому страданію, она одна „сильна“ въ этомъ разсказѣ. Пускаться въ логическіе доказательства того, что незащищенный, чистый сердцемъ человѣкъ для жизни болѣе цѣненъ, чѣмъ „сильный“, было безполезно. Убѣдить людей въ томъ, что надо любить другихъ—нельзя. Но сила примѣра любящаго человѣка могла проявить свое благотворное дѣйствіе,—и Соня была такимъ примѣромъ, такимъ символомъ любви, закаленной въ страданіи.

Поручить такую отвѣтственную роль женщинѣ, почти ребенку, реалистъ-художникъ могъ, однако, только въ видѣ условнаго пріема письма, въ видѣ уступки основной нравственной идеѣ, которая была такъ глубока, что форма, въ которую она облекалась, была до извѣстной степени безразлична. Развивая подробнѣе свою нравственную идею, художникъ долженъ былъ измѣнить эту форму.

Онъ это и сдѣлалъ въ романѣ „Идіотъ“. Романъ этотъ, какъ и „Преступленіе и наказаніе“ былъ написанъ въ полномъ согласіи съ пріемами художественнаго реализма. Побочныхъ эпизодовъ, которые могли бы быть выдѣлены въ совершенно самостоятельные разсказы, и въ этомъ романѣ очень много. И такая пестрота и сложность фабулы вовсе не техническій недочетъ, допущенный художникомъ. Опять глубина и широта основной идеи потребовали самыхъ разнообразныхъ житейскихъ комбинацій, потребовали привлеченія огромнаго количества дѣйствующихъ лицъ для своего полнаго выясненія. И всѣ эти лица и всѣ житейскія столкновенія, въ которыхъ они появляются,—противъ реализма жизни не грѣшатъ. Но въ характеристикѣ главнаго дѣйствующаго лица, князя Мышкина, и въ описаніи того, что съ нимъ приключилось, допущено много странностей или по крайней мѣрѣ много необычнаго. Фигура князя стоитъ все-таки на рубежѣ символа, и къ тому же этотъ апостолъ нравственнаго обновленія—человѣкъ несомнѣнно душевно-больной, вышедшій изъ лѣчебницы, чтобы кончить сумасшедшимъ домомъ.

У художника былъ очень опредѣленный замыселъ, когда онъ главнымъ дѣйствующимъ лицомъ избралъ больного эпилептика. Въ романѣ вы найдете неоднократныя попытки обосновать такой выборъ. Художникъ зналъ, что у такихъ людей бываютъ минуты особаго нравственнаго просвѣтлѣнія, при кото-

ромъ человѣкъ дѣйствуетъ не по велѣніямъ того, что мы называемъ на нашемъ обыкновенномъ языкѣ умомъ, а подъ давленіемъ какой-то силы прозрѣнія, открывающей ему тайный смыслъ жизни и подсказывающей ему образъ его поведенія. Князь руководствуется этимъ прозрѣніемъ очень часто; оно всегда оправдываетъ его поступки и къ тому же оно всегда является актомъ его великой любви къ людямъ, состраданія къ нимъ и необычайной скромности и ограниченія его собственной личности. „Я считаю васъ,—говоритъ ему одна изъ героинь романа,—за самаго честнаго и правдиваго человѣка, всѣхъ честнѣе и всѣхъ правдивѣе, и если говорятъ про васъ, что вы больны иногда умомъ, то это несправедливо, потому что хоть вы и въ самомъ дѣлѣ больны умомъ, зато главный умъ у васъ лучше, чѣмъ у нихъ у всѣхъ, такой даже, какой имъ и не снился, потому что есть два ума; главный и неглавный". Этотъ „главный" умъ и есть то внутреннее откровеніе, которымъ силенъ Мышкинъ, и которое отдаетъ во власть ему—слабому и больному существу—всѣхъ людей, съ которыми онъ встрѣчается. А эти люди и хитрые, и разсчетливые, и умные, и властные... Но всѣ они ему покоряются, т.-е. на всѣхъ онъ производитъ такое сильное впечатлѣніе, что они, считая его больнымъ ребенкомъ, тѣмъ не менѣе не могутъ не чувствовать его власти,—совсѣмъ особой власти, которой надѣлена въ мірѣ съ виду беззащитная нравственная правота и справедливость. Князь сумѣлъ обуздать даже самыхъ безстрѣнчивыхъ нигилистовъ. „Какіе мы еще дѣти, — говоритъ онъ,—и какъ это хорошо, что мы дѣти". И, дѣйствительно, что-то наивное и дѣтское есть въ его міросозерцаніи, то незлобивое, доброе, довѣрчивое, что способно обезоружить самаго строгаго логика и самаго закоренѣлаго эгоиста. Женщины должны любить его, и, какъ это ни странно, несмотря на отсутствіе въ немъ всего, что обыкновенно дѣлаетъ мужчину привлекательнымъ и сильнымъ, онъ становится героемъ романа двухъ героинь—Аглаи и Настасьи Филипповны, двухъ женщинъ, въ которыхъ женственность изображена въ своихъ крайнихъ противоположностяхъ. Князь попадаетъ съ этими дамами иногда въ смѣшное положеніе, которое женщины обыкновенно мужчинѣ не прощаютъ, но ему онѣ прощаютъ все, такъ какъ обѣ онѣ чувствуютъ, что то, что является самымъ цѣннымъ для нихъ въ жизни — безкорыстная любовь, не знающая никогда и ни въ чемъ даже малѣйшаго эгоизма—живетъ въ его дѣтскомъ сердцѣ... Это, дѣйствительно, любовь совсѣмъ особая, быть-можетъ, единственная, по полному отсутствію въ ней эгоизма—настолько исключительная, что она сразу вмѣщаетъ въ себѣ двѣ любви къ двумъ женщинамъ

одновременно. „Стало-быть, обѣихъ хотите любить?“—спрашиваютъ его. „О, да, да“,—отвѣчаетъ князь совершенно чистосердечно. Такая любовь возможна только при одномъ условіи, если въ ней гораздо больше состраданія и любви евангельской, чѣмъ настоящей страсти. И въ князѣ нѣтъ страсти, потому что страсть есть всегда утвержденіе своей личности и одно изъ проявленій эгоизма. А князь весь — жалость, состраданіе и отказъ отъ самого себя. Его романъ съ Настасьей Филипповной это—тончайшій психологическій этюдъ на тему о состраданіи и жалости, и сама героиня—какъ бы символъ жертвы разныхъ нравственныхъ и соціальныхъ грѣховъ нашей жизни. Ея блестящая внѣшность, и шумъ, и блескъ той жизни, которую она ведетъ, одна только видимость. Въ глубинѣ ея сердца затаено большое страданіе, и оно видимо только князю. Для всѣхъ другихъ она веселая гетера, для него страдающая Магдалина. Любовь его къ ней—его послѣдняя любовь, даже послѣдній сознательный актъ его жизни. Онъ израсходовалъ всего себя на эту любовь, любовь къ незримому, но глубокому страданію. „Состраданіе есть главнѣйшій и, можетъ-быть, единственный законъ бытія всего человѣка“,—говоритъ онъ, и въ этихъ словахъ разгадка тайны души этого страннаго героя, которому художникъ довѣрилъ свою завѣтную мысль о силѣ „слабаго“ человѣка.

Художникъ иногда довѣрялъ князю и другія свои завѣтныя мысли, которыя князь при своей ненормальной психикѣ излагалъ, правда, „дико“, въ „странныхъ и безпокойныхъ“ словахъ, безпорядочно, восторженно, но согласно со взглядами художника. [„Откройте русскому человѣку,—говоритъ князь въ минуту таинственнаго просвѣтлѣнія,—откройте ему русскій „свѣтъ“, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое отъ него въ землѣ. Покажите ему въ будущемъ обновленіе всего человѣчества и воскресеніе его, можетъ-быть, одною только русскою мыслью, русскимъ Богомъ и Христомъ, и увидите, какой исполинъ, могучій и правдивый, мудрый и кроткій, вырастетъ передъ изумленнымъ міромъ, изумленнымъ и испуганнымъ, потому что они ждутъ отъ насъ одного лишь меча, — меча и насилія, потому что они представить себѣ насъ не могутъ, судя по себѣ, безъ варварства“...]

Можно однако спросить, на что же ушла вся нравственная сила князя, и какое благое дѣло она совершила въ томъ кругѣ, въ какомъ она была замкнута? Вѣдь въ сущности князь не остановилъ развитія той страшной трагедіи, которая вокругъ него разыгралась, но самъ былъ увлеченъ катастрофой, въ которой потерялъ окончательно разсудокъ. Онъ

не способствовалъ нравственному перерожденію ни одного изъ дѣйствующихъ лицъ, всѣ они какъ шли своей дорогой, такъ и продолжали итти—и среди нихъ осталась стоять его страдальческая фигура, какъ будто безсильная помѣшать чему бы то ни было.

Но художникъ не собирался писать поучительнаго романа и проповѣди въ лицахъ. Какъ реалистъ, онъ понималъ, что нравственное вліяніе одного человѣка на другого — процессъ очень длительный и очень интимный, что зло тѣмъ и сильно, что оно не поддается добру сразу, и что всѣ, кто является носителемъ нравственной истины и первымъ вступаетъ въ кругъ людей ей враждебныхъ, почти всегда осужденъ на гибель. При первомъ появленіи такого пророка наибольшее значеніе имѣютъ не столько его слова, которыя не могутъ сразу измѣнить поведенія тѣхъ, кому они сказаны, сколько то общее впечатлѣніе, какое его личность производитъ на окружающихъ. Необходимо, чтобы окружающіе почувствовали, что передъ ними человѣкъ огромной силы, хотя бы этотъ человѣкъ являлся и безоружнымъ, и слабымъ, и больнымъ. Это впечатлѣніе, которое пояснить словами очень трудно — первый и самый рѣшительный залогъ вліянія и успѣха тѣхъ словъ, съ которыми проповѣдникъ выступаетъ. Въ романѣ такое благотворное вліяніе личности князя Мышкина даетъ себя чувствовать съ необычайной силой. Переубѣдить онъ, пожалуй, никого не можетъ — нѣкоторые, слушая его, только пожимаютъ плечами или смѣются; но вѣдь сила личности и сила убѣжденія не всегда совпадаютъ, и часто таинственное вліяніе души человѣка, даже при его крушеніи, его гибели и смерти, дѣйствуетъ несравненно сильнѣе, чѣмъ самая несокрушимая логика. Вѣдь и Соня одной своей личностью и своимъ страданіемъ опровергла всю желѣзную теорію Раскольникова... Такъ и князь, хоть онъ и не наставилъ никого на путь истины,—но онъ заставилъ всѣхъ объ этомъ пути подумать, и всѣ неправедные, глядя на него и даже не стремясь особенно вникнуть въ его слова, должны были признать, что онъ праведникъ и „святой“... Пусть нѣкоторые сказали: онъ „юродивый“, но встрѣча съ нимъ ихъ озадачила.

Художникъ, конечно, не могъ остановиться на созданіи такого образа и счесть его полнымъ выразителемъ своего нравственнаго ученія. Какъ бы велика ни была нравственная сила князя, чтобы превратить его въ настоящаго дѣятеля и участника жизни, надлежало сдѣлать его выразителемъ не только извѣстныхъ чувствъ, но и опредѣленныхъ взглядовъ, проводимыхъ въ жизнь. Онъ долженъ былъ высказаться болѣе ясно по

всѣмъ основнымъ вопросамъ жизни, которые людямъ дороги, и мимо которыхъ не можетъ пройти человѣкъ недовольный земными порядками и желающій, чтобы его примѣру люди послѣдовали. Разсказъ о „братьяхъ Карамазовыхъ“ явился такимъ образомъ естественнымъ продолженіемъ разсказа объ „идіотѣ“.

XXIX.

„Бѣсы“ и „Братья Карамазовы“.

Для проведенія въ жизнь тѣхъ нравственныхъ началъ, на которыхъ Достоевскій строилъ свое міровоззрѣніе, князь Мышкинъ былъ мало пригоденъ. Онъ могъ возвѣщать эти начала, могъ въ минуты экстаза вдохновляться ими и вдохновлять слушателя, но показать, какъ они могутъ быть примѣнимы къ широкимъ вопросамъ текущей жизни, онъ не могъ, такъ какъ для него интересовъ общественной жизни почти не существовало, и вся жизнь свелась къ дѣламъ личнымъ и преимущественно сердечнымъ. Чтобы „святому“ герою явиться во всемъ блескѣ, во всей неотразимой правдѣ мысли, чувствъ и поступковъ, ему нужно было начать дѣйствовать на широкой аренѣ жизни, нужно было вмѣшаться въ толпу, затеряться среди людей и вмѣстѣ съ ними стать у какой-нибудь работы. Этотъ святой, какъ пророкъ, долженъ былъ обходить людей и земли. Достоевскій понималъ необходимость такихъ „выступленій“ со стороны своего героя и многіе годы обдумывалъ планъ романа, гдѣ бы торжество слабаго надъ сильными міра сего было не предвѣщено только, а явлено на дѣлѣ, и притомъ въ условіяхъ непремѣнно русской жизни. Задача была огромная и трудная. Достоевскій ея не выполнилъ и только наканунѣ смерти успѣлъ написать введеніе къ такому роману, въ которомъ онъ разсказалъ, какъ его избранникъ готовился къ своей проповѣди и къ своему великому дѣлу. Избранникъ этотъ былъ Алеша Карамазовъ.

Но прежде чѣмъ дать Алешѣ случай начать свою проповѣдь, художникъ еще разъ свелъ свои счеты съ людьми, которые въ мірѣ являлись носителями враждебныхъ его ученію принциповъ. Онъ окрестилъ этихъ людей „бѣсами“. Фабула романа „Бѣсы“ была взята изъ политическаго процесса Нечаева, и „бѣсы“ были не кто иные, какъ русскіе революціонеры. Достоевскій не любилъ ихъ и былъ ихъ принципіальнымъ врагомъ, и романъ былъ сплошнымъ ихъ обличеніемъ. Художнику въ данномъ случаѣ безспорно измѣнило чутье правды, и если дѣйствующія лица этого романа имѣютъ

нѣкоторое сходство съ тѣми лицами, которыя сидѣли на скамьѣ подсудимыхъ въ 1871 году, то „типичными“ для русскаго подпольнаго движенія они ни въ какомъ случаѣ названы быть не могутъ. Это цѣлое сборище прежде всего больныхъ, ненормальныхъ людей, и затѣмъ людей, намѣренія которыхъ не чисты. Такіе люди могли попадаться среди членовъ революціонной партіи, но типичными для самого движенія они не были. Это были исключенія, и, если художникъ выбралъ именно ихъ дѣйствующими лицами своей злобной эпопеи, то тому были особыя причины. Художникъ выступалъ не столько какъ политическій противникъ революціонеровъ, сколько какъ моралистъ, которому весь нравственный составъ ихъ души былъ глубоко антипатиченъ и противенъ. Но, замѣтьте,—умѣренные люди либеральнаго образа мыслей, а также и представители правительства выставлены въ романѣ въ такомъ неприглядномъ видѣ, такими глупыми и мелкими, что заподозрѣть писателя въ политической симпатіи къ нимъ нельзя. Романъ вовсе не апологія консерватизма, а лишь обличеніе „бѣсовъ“. Эти „бѣсы“ не очень умны, но талантливы и хитры, а ихъ вождь или, вѣрнѣе, самый красивый представитель ихъ, Ставрогинъ,—натура, одаренная таинственной демонической привлекательностью. Въ немъ много тайны, какъ въ романтическомъ образѣ, хотя художникъ и заставляетъ его появляться не иначе, какъ въ самой обыденной обстановкѣ.

Ставрогинъ — символъ бѣсовской гордыни, онъ тотъ „сильный“ человѣкъ, которому всѣ „слабые“ должны повиноваться, и высокимъ цѣлямъ котораго они должны служить. Духъ его настолько довлѣетъ самому себѣ, что даже чувству любви къ женщинѣ,—тому чувству, на которое, если вѣрить поэтамъ, всѣ демоны откликаются, его гордыня не дѣлаетъ никакой уступки, какъ видно изъ всей его любовной исторіи съ Лизой. Гордыня и деспотизмъ—характерныя черты, отличающія „бѣсовъ“, и черты эти какъ бы ловко прикрыты ихъ добрымъ желаніемъ служить ближнему. Революція, какъ ее понимаютъ эти люди, не есть только удовлетвореніе ихъ эгоизма: она направлена на благо страны, на установленіе болѣе справедливыхъ нормъ жизни среди людей. И вотъ, чтобы показать, до какого нравственнаго паденія можетъ дойти человѣкъ, разрѣшающій себѣ насиліе въ цѣляхъ добра—художникъ и написалъ эту злую повѣсть. Онъ былъ задѣтъ какъ моралистъ, оскорбленный неправдой всей теоріи насилія ради блага, онъ былъ возмущенъ той смѣлостью, съ какой брали на себя отвѣтственность люди „сильные“, смотрящіе на слабыхъ какъ на орудіе для достиженія своихъ

цѣлей. Его ученіе о святости, терпѣніи и страдающей любви, которая одна можетъ побороть зло—было въ опасности, если допустить такое хозяйничаніе „бѣсовъ", соблазняющихъ „малыхъ сихъ", и потому надлежало съ этихъ „антихристовъ" снять маску и показать ихъ въ самомъ неприглядномъ свѣтѣ. Онъ это и сдѣлалъ [нарушивъ въ искусствѣ правду жизни, такъ какъ среди революціонеровъ страдающіе, святые и любящіе люди были вѣдь далеко не рѣдкостью], и кромѣ того на смѣну „бѣсовъ" онъ задумалъ послать „ангела".

Этотъ ангелъ во плоти долженъ былъ личнымъ примѣромъ и личнымъ участіемъ во всѣхъ мелочахъ жизни показать и доказать,—какъ не нужна для блага людей всякая „сила", принуждающая ихъ къ чему-нибудь, и какъ плодотворна и побѣдоносна любовь, отвѣчающая кротостью на всѣ удары мірового зла. Алеша Карамазовъ долженъ былъ явить такую всеобъемлющую силу „святого" человѣка. Какъ онъ на самомъ дѣлѣ проявилъ бы эту силу, мы не знаемъ, такъ какъ смерть не дала художнику дописать романа, и Алеша успѣлъ только приготовиться къ ожидающей его проповѣди и дѣятельности. Но того, что было сказано о немъ въ написанныхъ частяхъ романа, вполнѣ достаточно, чтобы узнать въ новомъ облаченіи хорошо намъ знакомую по другимъ разсказамъ основную, излюбленную художникомъ нравственную теорію.

Алеша, — это уже не символъ этой нравственной идеи, не исключительная личность, близкая по своей психикѣ къ пророку и ясновидцу, это самый обыденный, простой человѣкъ, средній, нормальный,—которому выпала большая роль но не въ большихъ дѣлахъ, а въ мелкихъ. Выборъ героя былъ сдѣланъ художникомъ, однако, послѣ очень вѣскихъ соображеній. Онъ взялъ его изъ дворянскаго сословія, но изъ семьи, въ которой не было никакихъ дворянскихъ традицій и предразсудковъ; художнику въ данномъ случаѣ была дорога одна только культурность, которую онъ не нашелъ бы въ другихъ кругахъ, и которая, несмотря на всѣ пороки и нравственныя искривленія,—въ семьѣ Карамазовыхъ очень развитыя,—все-таки этихъ людей отличала. Дворянина художникъ превратилъ въ самаго принципіальнаго демократа, не только по внѣшнему поведенію, но и по духу. Если бы мы не знали, что Алеша дворянинъ по рожденію, мы могли бы думать, что онъ вышелъ прямо изъ народной среды, — такъ все въ немъ непосредственно, просто, наивно. Кромѣ этого духовнаго демократизма, Достоевскій надѣлилъ душу Алеши глубокой религіозностью. Это не та простая религіозность, которая многимъ людямъ бываетъ свойственна. Алеша не только вѣрующій въ Бога человѣкъ, не только исповѣдникъ правосла-

вія—въ его умѣ, очевидно, сложилась цѣлая теорія о значеніи религіознаго начала въ жизни, о связи гражданскаго общества съ церковью, о необходимости именно на религіозномъ сознаніи, глубоко продуманномъ и прочувствованномъ, построить новый порядокъ людскихъ отношеній. Алеша не развиваетъ этихъ взглядовъ подробно, онъ бросаетъ только намеки, но вы чувствуете, какъ много онъ имѣетъ сказать по вопросамъ вѣры и какъ онъ убѣжденъ въ томъ, что безъ Бога ничего на землѣ нельзя построить. Душевная тѣсная связь Алеши съ народными религіозными началами полностью разъяснена художникомъ въ тѣхъ главахъ романа, въ которыхъ говорится объ его монастырской жизни. Эти главы—добавляющія необычайно яркую картину къ тому, что о жизни духовенства сказано въ нашей изящной словесности — введены въ романъ съ цѣлью пояснить, какая большая и своеобразная житейская миссія должна выпасть на долю Алеши. Изъ всѣхъ церквей, воспитывающихъ людей для жизни, взята церковь православная, которая всегда была наименѣе воинственной, фанатичной и разсудочной, и въ которой такъ много мирной любви, улыбки и благословенія. Выразителемъ идеаловъ этой православной церкви признанъ старецъ Зосима,—образецъ всѣхъ христіанскихъ добродѣтелей, рабъ Божій, но въ то же время и служитель міру земному и людямъ; онъ монахъ, живущій не для себя, а для ближняго, онъ не святой праведникъ, какимъ его хотѣли бы видѣть окружающіе — онъ человѣкъ тлѣнный, но, какъ праведники призваны заступаться за людей передъ Богомъ на небѣ, такъ онъ призванъ научить людей сочетать любовь къ Богу съ любовью къ его созданію. Въ любви широкой, обнимающей все земное, заключенъ для Зосимы смыслъ жизни, людское страданіе ему дорого, какъ залогъ людского спасенія и торжества правды на землѣ и какъ единственный вѣрный путь любви къ Богу. Вотъ эту „мірскую“ любовь, сочетающую твореніе Божіе съ его Творцомъ, Зосима и стремится воспитать въ сердцѣ Алеши, почему и обуздываетъ его монастырскіе аскетическіе порывы и требуетъ отъ него, чтобы онъ, пройдя подготовительную школу жизни въ монастырѣ, непремѣнно вступилъ въ жизнь какъ мірянинъ, не чуждаясь ни одной стороны жизни, съ которой придется считаться людямъ, несущимъ бремя обыденнаго существованія. Старецъ возлагалъ даже опредѣленную демократическую миссію на своихъ учениковъ: „Отъ народа,—говорилъ онъ,—спасеніе Руси. Русскій же пастырь искони былъ съ народомъ. Народъ вѣритъ по-нашему, а невѣрующій дѣятель у насъ въ Россіи ничего не сдѣлаетъ, даже будь онъ искрененъ сердцемъ и умомъ геніаленъ. Бе-

регите же народъ и оберегайте сердце его. Въ тишинѣ воспитайте его. Вотъ вашъ иноческій подвигъ, ибо сей народъ богоносецъ. Смиренные и кроткіе постники и молчальники возстанутъ и пойдутъ на великое дѣло. Россію спасетъ Господь, какъ спасалъ уже много разъ. Изъ народа спасеніе выйдетъ, изъ вѣры и смиренія его. Не раболѣпенъ онъ и послѣ рабства двухъ вѣковъ. Свободенъ видомъ и обращеніемъ, но безъ всякой обиды и не мстителенъ и не завистливъ". Старецъ былъ убѣжденъ, что Россія рѣшитъ всѣ соціальные вопросы иначе, чѣмъ они рѣшаются на западѣ и старыми и новыми ученіями, и онъ основывалъ эту свою вѣру не только на нравственномъ чувствѣ народа, но главнымъ образомъ на его чувствѣ религіозномъ. Особой глубины этого чувства требовалъ онъ и отъ своего любимаго ученика, котораго изъ монастыря послалъ на проповѣдь. И Алеша въ монастырѣ не остался, хотя онъ всей душой любилъ эту мирную пристань. Мы не знаемъ, какъ Алеша выполнилъ бы свою миссію на широкой общественной аренѣ, и какъ онъ осуществилъ бы демократическую программу своего учителя. Но мы знаемъ, какимъ Алеша изъ монастыря вышелъ и какимъ онъ хотѣлъ быть, чтобы приступить къ великому дѣлу. „Алеша отлично понималъ, что для смиренной души русскаго простолюдина, измученной трудомъ и горемъ, а главное, всегдашнею несправедливостью и всегдашнимъ грѣхомъ, какъ своимъ, такъ и міровымъ, нѣтъ сильнѣе потребности и утѣшенія, какъ обрѣсти святыню или святого, пасть передъ нимъ и поклониться. Не смущало его нисколько, что такой святой все-таки стоитъ передъ нимъ единицей. Въ сердцѣ святого—тайна обновленія для всѣхъ, та мощь, которая установитъ наконецъ правду на землѣ, и будутъ всѣ святы и будутъ любить другъ друга, и не будетъ ни богатыхъ, ни бѣдныхъ, ни возвышающихся, ни униженныхъ, а будутъ всѣ какъ дѣти Божіи, и наступитъ настоящее Царство Христово". Такой святой былъ идеаломъ грезъ и мыслей Алеши. И вошелъ Алеша въ міръ, какъ будущій праведникъ передъ Богомъ и людьми. Казался онъ человѣкомъ страннымъ, даже чудакомъ для тѣхъ, кто не понималъ всей сложности его психической организаціи. Онъ былъ вовсе не фанатикъ, даже не мистикъ, „онъ былъ просто ранній человѣколюбецъ; душа его рвалась изъ мрака мірской злобы къ свѣту любви. Онъ, казалось, всю жизнь жилъ совершенно вѣря въ людей; что-то было въ немъ, что говорило и внушало, что онъ не хочетъ быть судьей людей, что онъ не захочетъ взять на себя осужденія и ни за что ни осудитъ. Казалось даже, что онъ все допускалъ, не мало не осуждая,

хотя часто очень горько грустя. Никто не могъ ни удивить, ни испугать его, и всѣ этого юношу любили, гдѣ бы онъ ни появился, и это съ самыхъ дѣтскихъ даже лѣтъ его. Онъ былъ юноша, требующій правды, ищущій ее и вѣрующій въ нее, а, увѣровавъ, требующій немедленнаго участія въ ней всею силою души своей, требующій скораго подвига и съ непремѣннымъ желаніемъ хотя бы всѣмъ пожертвовать для этого подвига, даже жизнью".

Съ такою чистой, незлобивой душой, чуткой къ страданію и отвѣчающей на всѣ удары любовью и смиреніемъ,— вошелъ юноша въ міръ грѣха, соблазна и пороковъ, не съ тѣмъ, чтобы отвернуться отъ него, а съ тѣмъ, чтобы служить ему. Печать какой-то ангельской чистоты оставалась на немъ неизмѣнно. Какъ будто и земная плотская любовь тронула его сердце, но какъ воздушно эта любовь обрисована! Въ романѣ вы найдете цѣлый курсъ самой настоящей патологіи плотской любви, и мужской и женской, геніальное описаніе разныхъ болѣзненныхъ сердечныхъ движеній: и среди нихъ эти ростки любви къ женщинѣ въ сердцѣ Алеши — какимъ пахучимъ, романтическимъ цвѣткомъ они кажутся! Реалистъ-писатель какъ будто на время отступаетъ отъ своей манеры и, стремясь сохранить всю видимость реальной обстановки и вполнѣ человѣческихъ чувствъ,—превращаетъ живого человѣка въ какой-то воздушный обликъ, разъ только онъ отдается сердечному нѣжному чувству. „Зачѣмъ ты, херувимъ, не приходилъ прежде?" — говоритъ Алешѣ одна изъ грѣшницъ, на которую мелькомъ упалъ лучъ даже не любви его, а только лишь состраданія. Такимъ же невольнымъ романтизмомъ окрашены и всѣ тѣ страницы романа, на которыхъ Алеша является въ обществѣ дѣтей и подростковъ... Художникъ сдѣлалъ все отъ него зависящее, чтобы эту молодую компанію изобразить какъ можно болѣе правдиво, реально, въ самой будничной обстановкѣ. Но на всѣхъ этихъ страницахъ лежитъ несомнѣнная печать чего-то заранѣе условленнаго, романтическаго, почти символическаго: мы понимаемъ, что эта молодежь есть символъ грядущей жизни, той, которая должна осуществить завѣты Алеши, завѣты любви, состраданія, справедливости, прошедшихъ черезъ школу большихъ лишеній и страданій. Среди этихъ юнцовъ Алеша какъ пророкъ среди учениковъ, которыхъ онъ пошлетъ на проповѣдь.

Но прежде чѣмъ послать ихъ, Алеша выступаетъ самъ— правда, не на площади, не среди народа, а въ довольно тѣсномъ кругу близкихъ ему лицъ. Куда бы онъ ни пришелъ, среди какихъ людей онъ бы ни очутился, будь они самые

развратные и злые, онъ всюду приноситъ съ собой миръ, тишину, любовь, состраданіе, утѣшеніе и благость. Онъ ангелъ-миротворецъ и просвѣтитель среди слабыхъ духомъ, колеблющихся, грѣховныхъ и порочныхъ, которые его обступаютъ...

Всѣ эти люди, которымъ, какъ они сами признаютъ, присутствіе Алеши нужно для умиротворенія ихъ ума и сердца, представляютъ собою цѣлое сборище самыхъ типичныхъ лицъ, вырисованныхъ съ удивительно глубокимъ психологическимъ пониманіемъ души человѣческой. Эта глубина душъ человѣческихъ, мучимыхъ самыми страшными вопросами жизни и духа, будетъ вамъ открываться постепенно, по мѣрѣ того, какъ вы будете перечитывать романъ въ разные періоды вашей жизни.

Но и при первомъ чтеніи вамъ откроется грандіозность всего замысла художника—попытка дать хоть и не новое, но людьми забываемое и почти всегда отвергаемое разрѣшеніе борьбы добра и зла на землѣ—разрѣшеніе, чуждое всякаго насилія и опирающееся исключительно на умиротворяющую любовь, прошедшую черезъ горнило страданія.

Васъ можетъ поразить въ романѣ, однако, одно обстоятельство: приходъ Алеши и его вмѣшательство во всѣ дѣла житейскія не вноситъ въ эти дѣла новаго порядка, поступковъ людей не мѣняетъ, пороковъ не исправляетъ и преступленій, которыя совершаются, не предупреждаетъ.

„Алеша стоялъ, смотрѣлъ и вдругъ, какъ подкошенный, повергся на землю... онъ не зналъ для чего обнималъ ее, онъ не давалъ себѣ отчета, почему ему такъ неудержимо хотѣлось цѣловать ее, цѣловать ее всю, но онъ цѣловалъ ее, плача, рыдая и обливая своими слезами, и изступленно клялся любить ее во вѣки вѣковъ. „Облей землю слезами радости твоя и люби сіи слезы твои“...—прозвенѣло въ душѣ его. Простить хотѣлось ему всѣхъ и за все, и просить прощенія, о! не себѣ, а за всѣхъ, за все и за вся... Палъ онъ на землю слабымъ юношей, а всталъ твердымъ на всю жизнь бойцомъ“...

Что могутъ дать землѣ эти слезы, если онѣ не предупреждаютъ зла?—можно спросить. Но онѣ не предупреждаютъ его только видимо, а невидимо, незримо онѣ работаютъ надъ его искорененіемъ. Чудесъ въ мірѣ не бываетъ, и мгновенное нравственное перерожденіе—явленіе рѣдчайшее. Пусть развернется порокъ и пусть свершится преступленіе,—какъ будто думаетъ втайнѣ художникъ,—тѣмъ выше нравственный подвигъ того, кто созналъ свою вину и свое преступленіе, кто покаялся и прошелъ черезъ страданіе какъ самаго грѣха, такъ и его искупленія. Прочно то, что добыто большой борьбой

съ самимъ собою; и сила Алеши въ томъ, что онъ во всѣхъ людяхъ эту борьбу возбуждаетъ. Съ кѣмъ бы онъ ни встрѣтился, съ самыми порочными и злыми людьми—онъ не обращаетъ ихъ на путь истины, потому что онъ не чудотворецъ, но онъ вселяетъ разладъ въ ихъ душу, и преступная и порочная душа начинаетъ признавать надъ собой власть совѣсти. Всѣ люди становятся какъ бы мягче и чище [всѣ, даже самые грязные], стоитъ только Алешѣ къ нимъ приблизиться. Такая власть надъ сердцами, въ сущности—тоже чудотвореніе.

Въ романѣ очень наглядно явлено это чудо. Любвеобильное сердце Алеши одерживаетъ двѣ побѣды—надъ двумя самыми страшными врагами такого сердца: надъ разнузданной плотской страстью и надъ разсудкомъ, который доходитъ до полнаго отрицанія нравственныхъ устоевъ жизни.

Поклонникамъ плотской страсти отведено въ романѣ большое мѣсто, и очевидно, что художникъ придавалъ имъ особое значеніе; и онъ былъ правъ. Любовная страсть взята въ данномъ случаѣ какъ олицетвореніе страстей вообще, какъ страсть, съ которой всего труднѣе бороться и которая разнуздываетъ эгоизмъ человѣка всего болѣе. Если смыслъ новой проповѣди заключенъ въ обузданіи эгоизма, въ любви, идущей на самопожертвованіе, и въ смиреніи, то философія жизни, полагающая въ основу свою принципъ наслажденія и удовлетворенія страстей—самый опасный врагъ. Съ этими врагами желаннаго нравственнаго міропорядка вы въ романѣ будете встрѣчаться на каждомъ шагу—старикъ Карамазовъ, Митя, Грушенька дадутъ вамъ поводъ подумать о сложности того психическаго процесса, который кажется намъ такимъ простымъ и обыденнымъ, и раскроютъ передъ вами ту опасность, какой страсти плоти грозятъ всему нравственному составу человѣка. Изъ всѣхъ нашихъ художниковъ слова никто не приписывалъ этимъ страстямъ такой страшной деморализирующей роли, какъ Достоевскій, который долженъ былъ защитить отъ нихъ своего Алешу. И онъ защитилъ Алешу. Положимъ, Алеша грѣшниковъ не исправилъ, но всѣ они, какъ евангельская блудница, смутились при встрѣчѣ съ нимъ и завлечь его въ свои сѣти имъ не удалось. А Митя,—тотъ подъ непосредственнымъ вліяніемъ Алеши, подъ частымъ напоромъ его доводовъ—вступилъ на путь обновленія и безвинно, смиренно и даже съ радостью принялъ страданіе, которое должно было искупить не тотъ грѣхъ, въ которомъ онъ былъ неповиненъ, а тѣ грѣхи, въ которыхъ онъ полагалъ и смыслъ и радость своей жизни. Казня всѣхъ служителей и рабовъ страстей и сладострастья, художникъ защи-

щалъ и оправдывалъ не одного только Алешу, но и женщину вообще, о нравственной миссіи которой онъ былъ очень высокаго мнѣнія. Вѣдь ученіе свое онъ впервые довѣрилъ именно женщинѣ и женщинамъ „слабымъ“ и угнетеннымъ далъ власть надъ сильными героями. Величайшимъ оскорбленіемъ для святого идеала былъ въ его глазахъ тотъ безстыдный взглядъ, какимъ всѣ сторонники философіи наслажденія смотрѣли на женщину.

Художникъ имѣлъ, какъ видимъ, много основаній враждовать со страстями, подрывающими его нравственное ученіе въ области чувства. Но былъ и еще опаснѣйшій врагъ этого ученія, который подрывалъ его уже не въ области чувства, а въ области строгой мысли.

Разумъ человѣческій, не признающій надъ собой никакого контроля, кромѣ собственной логики, могъ счесть для себя совершенно не обязательнымъ какое бы то ни было нравственное начало, которое, какъ извѣстно, можетъ быть разумомъ подтверждено, но выведено изъ разума быть не можетъ. Разумъ не можетъ мнѣ доказать, что я долженъ любить ближняго. Онъ не можетъ мнѣ доказать бытія Божьяго, истинности законовъ нравственности, Богомъ освященныхъ, необходимости любви, самопожертвованія, смиренія и страданія. Вооруженный безпощадной логикой разумъ можетъ довести меня до оправданія самаго принципіальнаго, послѣдовательнаго эгоизма, утвердить мою гордыню и мое личное благо, какъ основу всего моего міропониманія. Я могу возмутиться противъ любви къ Богу и къ ближнему, и холодная всесокрушающая мысль можетъ дать мнѣ видимость одержанной побѣды.

Иванъ Карамазовъ—выразитель этой логики полной соблазна, логики, доведенной до виртуозности софизма, какъ Смердяковъ—выразитель ея же, но только въ грубой циничной формѣ. Многія слова этихъ поклонниковъ разсужденія, свободнаго отъ всѣхъ нравственныхъ оговорокъ, напомнятъ вамъ уже знакомыя рѣчи Раскольникова. Мысль одна и та же, но у Ивана она развита во всей ея полнотѣ, а Смердяковымъ понята въ простѣйшемъ ея видѣ. И судъ надъ этими людьми напоминаетъ судъ надъ Раскольниковымъ, и „бѣсъ“ участвуетъ въ этомъ судѣ, бѣсъ, который, развертывая всю мощь своей адской мысли, все-таки не въ силахъ заглушить въ людяхъ голоса совѣсти, доводящей Ивана до бѣлой горячки, а Смердякова до самоубійства. Аморальная логика въ концѣ концовъ побѣждена, но никогда еще ни въ одномъ художественномъ произведеніи не было сосредоточено такъ много нападокъ страшной силы противъ всѣхъ „святынь“

нашей жизни, какъ въ исповѣди Ивана передъ самимъ собой и Алешей. И все-таки этотъ „ученый атеистъ“, утверждающій, „что закона природы—чтобы человѣкъ любилъ человѣчество—не существуетъ“, и что „вся любовь на землѣ зиждется только на вѣрѣ человѣка въ свое безсмертіе, которое отнюдь не доказано“, который наконецъ „не можетъ понять, какъ можно любить своихъ ближнихъ“—и все-таки этотъ великій софистъ и логикъ не въ силахъ даже слегка затемнить ясности религіозно-нравственнаго сознанія Алеши.

Вамъ не легко будетъ слѣдить за развитіемъ мысли Ивана; нужно многое пережить, перечувствовать и передумать, чтобы понять его, и, конечно, жизнь со временемъ поможетъ вамъ измѣрить силу его грѣшной мысли.

Противъ этой мысли художникъ выдвинулъ одно лишь сердечное чувство любви, почти не прикрывая его какимъ-либо разсужденіемъ. По крайней мѣрѣ въ „легендѣ о великомъ инквизиторѣ“ эта сила безмолвно торжествующей любви проявлена во всемъ ея величіи. Эта легенда также не поддастся сразу вашему разумѣнію, и надъ разъясненіемъ ея наша критика потрудилась не мало. И вы со временемъ надъ ней будете долго думать. Оставимъ, однако, тонкости и истолкуемъ эту легенду въ самомъ простомъ смыслѣ. Понятая просто она повторяетъ не однажды уже высказанную художникомъ мысль.

Осуществима ли та теорія любви, которая такъ дорога писателю? Вѣдь осуществлять ее будутъ призваны люди. Люди! а что они сдѣлали съ ученіемъ Христа, который принесъ въ міръ слова любви, прощенія и страданія? Тѣ, кто взяли на себя охрану этого ученія и считали себя продолжателями дѣла Христа на землѣ — до чего низвели они это святое ученіе?! Подъ ихъ руководствомъ люди остались рабами „хлѣба“ и всѣхъ матеріальныхъ благъ, рабами „чуда, тайны и авторитета“, т.-е. люди успокоились на традиціи, забывъ, что религіозная жизнь души требуетъ свободнаго развитія и нравственныхъ усилій для ея совершенствованія. И на какой авторитетъ можетъ теперь опереться ученіе любви? И кому оно дастъ хлѣбъ и какимъ чудомъ можетъ быть доказано и подкрѣплено? Если бы Христосъ теперь пришелъ на землю, признали бы Его люди? Не внесъ ли бы Онъ великую смуту въ сердца, какъ нѣкогда Онъ внесъ ее? И не измѣнили бы люди Ему послѣ этого второго пришествія, такъ же, какъ измѣнили послѣ перваго? Великій инквизиторъ, какъ Иванъ Карамазовъ, напрягаетъ всю силу своего ума, чтобы доказать Христу, что пришествіе Его не дастъ людямъ блага и счастья. Но Христосъ не опровергаетъ его доводовъ.

„Когда инквизиторъ умолкъ, то нѣкоторое время онъ ждетъ, что Христосъ ему отвѣтитъ. Ему тяжело Его молчаніе. Онъ видѣлъ, какъ Христосъ все время слушалъ его, проникновенно и тихо смотря ему въ глаза и видимо не желая ничего возражать. Старику хотѣлось бы, чтобы Онъ сказалъ ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но Христосъ вдругъ молча приближается къ старику и тихо цѣлуетъ его въ его безкровныя девяностолѣтнія уста. Вотъ и весь отвѣтъ. Старикъ вздрагиваетъ. Что-то шевельнулось въ концахъ губъ его: онъ идетъ къ двери, отворяетъ ее и говоритъ Ему: „Ступай, ступай и не приходи болѣе... не приходи вовсе, никогда, никогда". Христосъ уходитъ"...

Въ безмолвномъ поцѣлуѣ любви и страданія заключенъ отвѣтъ сердца взбунтовавшемуся уму человѣка. Пока человѣкъ на такой поцѣлуй способенъ, Христосъ можетъ покинуть насъ на время—Его дѣло на землѣ не погибло.

XXX.

Общій очеркъ міросозерцанія Л. Толстого.

Тѣ же широкіе вопросы жизни и духа, надъ которыми такъ много думалъ и которые такъ своеобразно рѣшалъ Достоевскій, были предметомъ раздумья и душевныхъ тревогъ также и Льва Толстого; только Левъ Толстой въ рѣшеніи этихъ вопросовъ не считался съ тѣмъ ходячимъ національно-русскимъ міросозерцаніемъ, съ которымъ Достоевскій тѣснѣйшимъ образомъ связалъ всѣ свои взгляды религіозные, нравственные и политическіе.

Во взглядѣ на „правду русской народной души" Толстой отчасти соглашался съ Достоевскимъ. Онъ былъ однимъ изъ тѣхъ нашихъ „народниковъ", которые, ненавидя всю торжествующую культуру, предметъ гордости и самомнѣнія всего цивилизованнаго міра, думали, что въ душѣ простого народа, несмотря на его умственную и нравственную тьму, все-таки чувствъ мирныхъ, добрыхъ и справедливыхъ больше, чѣмъ въ душѣ человѣка образованнаго. Но, ставя такъ высоко природныя добродѣтели народа, Толстой уберегся отъ гордой мысли о міровой, культурной его миссіи. Что онъ втайнѣ объ этой миссіи думалъ,—на это нѣтъ прямыхъ и ясныхъ указаній въ его сочиненіяхъ и перепискѣ. Онъ утверждалъ только одно, что мы, люди образованные, можемъ у мужика научиться многому, и что мужикъ поможетъ намъ разобраться въ нашихъ долгахъ передъ людьми и Богомъ. Что именно выиграетъ весь міръ отъ такого нашего „опрощенія", и какъ

оно на ходѣ всей міровой жизни отразится—объ этомъ Толстой опредѣленно не высказывался. Но на наше политическое устройство и государственные порядки, равно какъ и на господствующее у насъ религіозное вѣроисповѣданіе Толстой не возлагалъ никакихъ надеждъ, которыя позволили бы ему думать, что именно эти формы нашей духовной и матеріальной жизни могутъ приблизить культурный міръ къ болѣе совершенному состоянію, чѣмъ то, которое Толстой такъ безпощадно отрицалъ.

Въ постановкѣ общихъ вопросовъ, и религіозныхъ, и политическихъ Толстой шелъ совсѣмъ иной дорогой, чѣмъ Достоевскій. Онъ стремился на основаніи Евангелія утвердить въ людскомъ сознаніи такую вѣру, которая приняла бы въ себя всѣ до нея существовавшія вѣроисповѣданія и христіанскія и нехристіанскія. Въ рѣшеніи политическихъ вопросовъ онъ былъ, какъ принято говорить, „анархистомъ", т.-е. онъ отрицалъ необходимость, разумность и справедливость государства вообще, недовольный ни одной политической формой общежитія,—будь она монархическая или республиканская,—и утверждалъ, что люди должны устроить свою жизнь такъ, чтобы въ государствѣ не нуждаться и обходиться безъ всѣхъ тѣхъ принужденій, къ которымъ государство неизбѣжно должно прибѣгать. Описанія уклада такого новаго общежитія, ни въ общихъ чертахъ, ни въ деталяхъ, Толстой, впрочемъ, не далъ, ограничившись лишь самыми общими указаніями на тѣ нравственныя начала, на которыя такой строй долженъ опираться.

Въ рѣшеніи нравственнаго вопроса о способахъ, какими добро должно бороться со зломъ, Толстой близко подходитъ къ ученію Достоевскаго. И для того и для другого типъ добраго и смиреннаго человѣка, человѣка, не отвѣчающаго насиліемъ на насиліе, а покорно принимающаго страданіе и тѣмъ утверждающаго свою правоту—излюбленный типъ, которому авторъ довѣряетъ свои самые задушевные чувства и помыслы. Какъ у Достоевскаго, такъ и у Толстого его личные взгляды на жизнь и человѣка проведены въ его романахъ и повѣстяхъ, и также не въ формѣ поученія или тенденціознаго разсказа, а въ формѣ художественно изображеннаго дѣйствія, которое должно пояснить читателю на примѣрѣ разумность и справедливость исповѣдуемаго художникомъ міросозерцанія...

Когда говоришь о Толстомъ, какъ о писателѣ, то—какъ и въ сужденіяхъ о Достоевскомъ—необходимо всегда имѣть въ виду его своеобразное міросозерцаніе. Отдѣлить въ Толстомъ художника отъ мыслителя, религіознаго искателя и

моралиста невозможно. Онъ родился проповѣдникомъ опредѣленныхъ нравственныхъ взглядовъ на жизнь и человѣка, и эти взгляды, хотя они и вырабатывались въ немъ медленно, но они давали себя чувствовать и въ самыхъ первыхъ его произведеніяхъ. Подъ старость, въ 80-тыхъ годахъ, Толстой вдругъ совсѣмъ неожиданно объявилъ, что онъ отрекается отъ всѣхъ своихъ художественныхъ произведеній, считаетъ нравственной ошибкой то, что онъ ихъ написалъ, и тогда же онъ сказалъ, что намѣренъ отнынѣ заняться лишь нравственнымъ воспитаніемъ себя самого и ближнихъ, которые пожелаютъ внять его словамъ. Это отреченіе Толстого отъ своего художественнаго творчества [отреченіе, которое, кстати сказать, онъ не выполнилъ, такъ какъ, выступая ежегодно съ массой статей богословско-нравственнаго содержанія, онъ тѣмъ не менѣе до конца дней своихъ творилъ какъ художникъ] произвело немалую смуту въ умахъ его читателей. Многимъ показалось, что въ душѣ писателя совершился переломъ, и Толстой, какъ Гоголь, утративъ способность художественнаго творчества, впалъ въ какое-то піэтистическое моральное настроеніе, которое навсегда въ немъ погубило художника. Къ счастію, ничего этого не случилось. Съ юныхъ лѣтъ мысли и чувства Толстого были направлены на нѣкоторые самые общіе вопросы жизни и духа; этими вопросами онъ неустанно мучился въ годы, когда его художественный талантъ стоялъ въ полномъ цвѣту, и къ концу жизни это раздумье вылилось въ очень опредѣленное ученіе, которое само по себѣ стало его занимать больше, чѣмъ художественныя картины, которыми онъ его пояснялъ раньше. Никакого „перелома“ въ душѣ Толстого не совершилось, перемѣстился только центръ интереса, и писатель, нисколько не утрачивая своей силы какъ художникъ, сталъ лишь чаще, проще и убѣжденнѣе говорить о смыслѣ жизни вообще, вмѣсто того, чтобы изображать людей, такъ или иначе этотъ смыслъ понимающихъ.

Личная жизнь художника даетъ немного для объясненія его твореній, но знакомство хотя бы съ краткой біографіей Толстого будетъ для васъ полезно. Впослѣдствіи эта біографія какъ и письма Толстого должны непремѣнно войти въ списокъ книгъ, чтеніе которыхъ вы признаете обязательнымъ для человѣка, любящаго свою родину. Читая біографію Толстого, остановите ваше вниманіе на нѣкоторыхъ эпизодахъ—на жизни писателя въ деревнѣ, его заботахъ о народномъ образованіи, на его откликъ на народныя нужды, его участіе въ военныхъ дѣлахъ на Кавказѣ и въ Севастополѣ, на его сношенія съ сектантами и его положеніе какъ пророка,

къ которому со всѣхъ концовъ міра люди обращались за совѣтами и руководствомъ. Въ общемъ эта жизнь не отличалась большимъ движеніемъ или смѣною интересныхъ событій: то, чѣмъ великъ Толстой, создано имъ не подъ ударами жизни [его жизнь была мирная и счастливая], а въ тиши кабинета въ Москвѣ и преимущественно въ деревнѣ.

Для оцѣнки творчества Толстого, не только какъ созданія нашего національнаго художественнаго генія, а именно какъ голоса русскаго человѣка, къ которому прислушивался весь культурный міръ — знакомство съ его „ученіемъ" и проповѣдью необходимо. Это — та часть въ исторіи его творчества, которая представляетъ наибольшія трудности для изученія. Самъ Толстой не далъ связнаго и исчерпывающаго очерка своего ученія. Огромное количество лицъ пытались за него это сдѣлать, и такъ называемая „литература о Толстомъ" разрослась до невѣроятныхъ размѣровъ. Въ ученіи Толстого затронуты самые основные, самые сложные и трудные вопросы жизни, и отвлеченные и практическіе. Отъ рѣшенія, какое Толстой далъ этимъ вопросамъ, зависѣли не только образъ его мыслей и складъ его чувствъ, но и вся его работа, какъ художника. Оставаясь художникомъ и притомъ строгимъ художникомъ-реалистомъ, онъ въ то же время всегда во всѣхъ своихъ произведеніяхъ былъ проводникомъ своего ученія, и въ замыслѣ своихъ повѣстей, романовъ и пьесъ, равно какъ и въ подборѣ дѣйствующихъ лицъ всегда имѣлъ въ виду навести насъ на рѣшеніе той или иной нравственной проблемы, надъ которой онъ думалъ.

И мы въ нашемъ краткомъ обзорѣ его творчества должны начать съ очерка его міросозерцанія. Съ этимъ міросозерцаніемъ и этимъ ученіемъ вамъ придется считаться всю вашу жизнь, какъ вы будете считаться съ міросозерцаніемъ Достоевскаго. Всякій разъ, когда вы начнете перечитывать Толстого, въ его мысляхъ, какъ и мысляхъ Достоевскаго, вамъ откроется много новаго, и вы неоднократно перемѣните вашу оцѣнку этихъ краеугольныхъ мыслей, высказанныхъ великимъ художникомъ и моралистомъ. И возбужденіе вашей собственной мысли, какое вы будете испытывать неизмѣнно, открывая въ разные возрасты страницы Толстого, убѣдитъ васъ въ томъ, на какой страшной глубинѣ заложены тѣ нравственныя основы, на которыхъ Толстой задумалъ строить зданіе новой жизни.

Въ самомъ краткомъ очеркѣ ученіе, которое художникъ вырабатывалъ медленно въ продолженіе сорока лѣтъ [отъ начала пятидесятыхъ годовъ до конца восьмидесятыхъ], представляется въ такомъ видѣ:

Толстой рѣшительный противникъ той торжествующей цивилизаціи, той культуры, какой гордится человѣчество. Въ этой культурѣ столько нравственныхъ изъяновъ и столько безсмыслицы, что никакіе успѣхи знаній, никакія внѣшнія усовершенствованія жизни, никакой блескъ искусства не могутъ уравновѣсить того нравственнаго зла, какое при этой хваленой цивилизаціи процвѣтаетъ. Исправлять и улучшать какія-либо отдѣльныя стороны этой лживой жизни, накладывать какіе-нибудь пластыри на наши духовныя и соціальныя раны—нѣтъ смысла: надо всю жизнь и отдѣльныхъ лицъ, и общества, и государствъ построить на совсѣмъ новыхъ началахъ; надо начать жить совсѣмъ заново, отречься отъ всѣхъ прикрасъ и приманокъ цивилизаціи и установить новыя цѣнности.

Итти навстрѣчу новой жизни, которая удовлетворяла бы нашему нравственному сознанію и нашему разуму, нужно совсѣмъ инымъ путемъ, непохожимъ на тотъ, какимъ до сихъ поръ шло человѣчество, думая, что оно идетъ отъ тьмы къ свѣту, отъ несовершеннаго къ болѣе совершенному. Принимать участіе въ борьбѣ какихъ-нибудь общественныхъ партій, въ политическихъ движеніяхъ, революціяхъ, это—безплодное дѣло, такъ какъ пока не измѣнится самъ человѣкъ въ своемъ нравственномъ составѣ и пока ие измѣнятся радикально его взгляды на жизнь, никакая новая форма общественнаго и политическаго порядка, какъ бы она по внѣшнему своему укладу ни была совершенна, никогда не защититъ насъ отъ возможности всякаго насилія другъ надъ другомъ и разныхъ несправедливостей. Кромѣ того всякая борьба, которая направлена хотя бы противъ завѣдомо ложнаго и злого, не дастъ добраго плода, если она, эта борьба, будетъ сама прибѣгать къ насилію; а насилія мы никогда не избѣжимъ, если борьбу со зломъ начнемъ съ противодѣйствія ближнимъ, а не съ борьбы съ самимъ собою. Нѣтъ надежды на то, что зло можетъ быть уничтожено какимъ-нибудь ударомъ, потому что всякій ударъ вызываетъ противоударъ, и борьба можетъ затянуться до безконечности. Если же злу противопоставить терпѣливую и смиренную любовь, которая не будетъ отѣчать зломъ на зло, а отвѣтитъ на него покорнымъ страданіемъ, сознающимъ свою правоту, то есть надежда, что зло, пресытившись собою, уступитъ. Но чтобы усвоить себѣ такой способъ борьбы, надо начать работать прежде всего надъ самимъ собою, надо себя перевоспитать, отречься отъ всѣхъ тѣхъ благъ цивилизаціи, къ которымъ привыкъ человѣкъ, и которыя онъ такъ высоко цѣнитъ, надо отречься отъ фальшивой науки и мудрости этой цивилизаціи,

отъ той науки, которая не смогла нравственно воспитать человѣка, а только развила въ немъ гордыню и самомнѣніе. Надо понять, что весь смыслъ жизни въ любви къ ближнему, что такая любовь есть высшая форма любви къ себѣ, что только одна она можетъ осуществить царствіе Божіе на землѣ. Такую простую любовь безкорыстную, идущую на всѣ лишенія, надо воспитать въ себѣ, пожертвовавъ для нея богатствомъ и удобствами жизни, и всякой гордыней и аристократизмомъ духа. Когда всѣ люди поймутъ, что разгадка жизни именно въ этой любви, что въ сравненіи съ нею весь блескъ нашей эгоистической и самовлюбленной культуры— одна мишура и тлѣнъ, тогда осуществится та новая жизнь, къ которой долженъ стремиться разумный и справедливый человѣкъ, жизнь совсѣмъ не похожая на нашу теперешнюю, жизнь единственно достойная человѣка и единственно угодная Богу.

Въ этой новой жизни не будетъ тѣхъ несовершенствъ, тѣхъ нравственныхъ и общественныхъ изъяновъ, отъ которыхъ мы такъ страдаемъ.

У всѣхъ людей будетъ единый Богъ, Богъ, который есть любовь, Богъ не разъединяющій людей какъ теперь, а соединяющій ихъ въ единомъ чувствѣ взаимной любви. Новое пониманіе Бога и почитаніе Его не будетъ связано съ какими-нибудь вѣроисповѣданіями, спорящими между собой; не будетъ разныхъ религій, враждующихъ другъ съ другомъ. Все то истинное и ясное, что когда-либо во всѣ времена и во всѣхъ странахъ люди думали о Богѣ, сложится въ единое простое ученіе, безъ всякихъ мало понятныхъ догмъ, а лишь при одной очевидной, всѣмъ доступной истинѣ, истинѣ любви къ Богу, т.-е. любви къ людямъ.

Въ той новой жизни, которая наступитъ, если мы сумѣемъ воспитать себя для нея, измѣнится и весь земной порядокъ отношеній между людьми. Политическій строй, который теперь существуетъ и который является родникомъ столькихъ страданій и несправедливостей, онъ исчезнетъ. Этотъ строй покоится теперь на конкуренціи между отдѣльными государствами и на борьбѣ отдѣльныхъ классовъ въ нѣдрахъ одного государства. Это соперничество и связанныя съ нимъ внѣшнія войны и внутренніе раздоры прекратятся. Исчезнетъ то принужденіе, то насиліе, которое неразрывно связано съ самымъ понятіемъ о государствѣ; то, что мы теперь называемъ государствомъ, замѣнится союзомъ мелкихъ общинъ, которыя опять-таки будутъ крѣпки не какими-нибудь принудительными законами, а единымъ закономъ любви, тожественной съ понятіемъ справедливости и добра. Любовь

и справедливость внесутъ новый порядокъ не только въ наши общественно-политическія отношенія, но и въ отношенія соціально-экономическія. Та страшная соціальная борьба, которая вызывается теперь положеніемъ вопроса аграрнаго, промышленной конкуренціей, вообще сосѣдствомъ имущаго съ неимущимъ или малообезпеченнымъ, эта борьба также должна исчезнуть. Она замѣнится дружной взаимопомощью людей, согласованностью ихъ интересовъ во имя общаго блага и выгоды и неэгоистическимъ соперничествомъ.

Новой, на любви и справедливости основанной жизни должны будутъ служить и искусство и наука. Въ настоящее время эти два великихъ помощника въ дѣлѣ воспитанія и образованія человѣка находятся на невѣрномъ пути. И наука и искусство стали страшно эгоистичны; они служатъ самимъ себѣ, а не людямъ, для которыхъ они существуютъ. Наука ударилась въ мелочи, въ рѣшеніе отвлеченнѣйшихъ вопросовъ, въ изслѣдованія, отъ которыхъ человѣку въ его насущной, повседневной жизни очень мало пользы. Расходуются огромныя силы, но отъ траты ихъ жизнь человѣческая легче, справедливѣе и добрѣе не становится. Надо науку подчинить жизни и надо ей напомнить, что она существуетъ не для того, чтобы удовлетворять лишь нашему любопытству. Искусство наше идетъ по той же невѣрной дорогѣ, что и наука. Искусство также стало служить себѣ самому, а не жизни. Оно погналось за разными утонченностями мечты, задалось цѣлью дразнить наши нервы, оно стало потакать всякимъ нашимъ слабостямъ, дурнымъ инстинктамъ и порокамъ; оно мало думаетъ о нравственномъ воспитаніи людей, о томъ, чтобы ихъ сдѣлать лучше, добрѣе, внѣдрить въ нихъ понятіе справедливости; въ большинствѣ случаевъ искусство стало не духовной потребностью возвышающей человѣка, а роскошью, его развращающей. Художникъ, если онъ хочетъ служить жизни, долженъ отречься отъ тѣхъ боговъ, которымъ онъ служилъ раньше, отречься отъ всего, что онъ до сихъ поръ дѣлалъ, и искать иного пути, который привелъ бы его къ истинной красотѣ,—красотѣ, совпадающей съ добромъ.

Новая жизнь, какъ видимъ, обѣщаетъ намъ много добра, справедливости и правды; путь къ ней длиненъ, далекъ, и достиженіе ея потребуетъ отъ человѣка огромныхъ трудовъ и большихъ отказовъ и жертвъ... Эта трудная работа должна начаться прежде всего съ работы надъ самимъ собою. Тотъ, кто провидѣлъ новую жизнь, самъ идетъ къ ней и рѣшился вести за собой другихъ, долженъ оградить себя отъ двухъ искушеній: 1) отъ искушенія гордыни, которая, если она овла-

дѣваетъ человѣкомъ, то заставляетъ его мнить себя героемъ, вершителемъ судебъ ближнихъ, а потому неизбѣжно толкаетъ его на насиліе надъ душой или тѣломъ этого ближняго; и 2) отъ искушенія страстей, которыя являются главной помѣхой для желанной новой жизни, такъ какъ горячатъ и повышаютъ въ людяхъ эгоистическія чувства и принципіально враждуютъ съ терпѣливой и на жертву идущей любовью.

Такія мысли и мечты роились въ головѣ Толстого. Онъ пытался проводить ихъ въ жизнь только при помощи слова и разныхъ дѣлъ помощи и благотворенія ближнимъ. Ни въ какую борьбу политическую онъ не вмѣшивался, такъ какъ былъ убѣжденъ въ ея безполезности. У него было нѣсколько близкихъ ему лицъ, его убѣжденныхъ послѣдователей. Но въ сущности онъ со своимъ міросозерцаніемъ и ученіемъ стоялъ одиноко. Одинъ у него, впрочемъ, былъ союзникъ,—такъ художникъ по крайней мѣрѣ думалъ,—это былъ русскій простой народъ. Толстой зналъ хорошо его душу, не преувеличивалъ ея добродѣтелей и не скрывалъ ея пороковъ, и ему казалось, что именно въ народной средѣ еще живы тѣ чувства и тѣ мысли, которыя должны лечь въ основу новой жизни. Простые и ясные религіозные взгляды народа, его трезвый безхитростный умъ, врожденное ему чувство соціальной справедливости, всѣ эти дары духа, которые Толстой признавалъ за простымъ народомъ, казались художнику вѣрнымъ залогомъ того, что путь къ новой жизни открытъ, что тому, кто сумѣетъ слиться съ народной массой, подчинить ей свою культурную душу, понять ту святую истину жизни, которая заключена въ полутемномъ народномъ сознаніи,—что тому легче вступить на путь, долженствующій привести насъ къ торжеству царствія Божія на землѣ. Но ни та внѣшняя форма политическаго строя, при которой народъ привыкъ жить [самодержавіе], ни вѣками освященная форма религіознаго вѣроисповѣданія [православіе] Толстымъ въ его планы строительства новой жизни включены не были.

Свое ученіе Толстой изложилъ въ цѣломъ рядѣ богословскихъ, нравственныхъ и публицистическихъ трактатовъ, съ которыми вы должны будете ознакомиться, но уже за порогомъ школы.

Съ очень ясными отблесками этого ученія вы встрѣтитесь, однако, и въ его чисто-художественныхъ произведеніяхъ.

XXXI.

Основные вопросы жизни, затронутые въ романѣ „Война и миръ".

Сказать, что Л. Толстой писалъ свои художественныя произведенія въ доказательство или въ оправданіе своего ученія, конечно, нельзя. Онъ творилъ, какъ свободный художникъ, отдающійся вдохновенію, и свобода его творчества подтверждена той высокой степенью совершенства въ изображеніи внѣшняго облика жизни и душевныхъ движеній человѣка, какая была имъ достигнута. Никогда художникъ несвободный, отдающій свое творчество въ услуженіе какому-нибудь ученію, тенденціи или цѣли, какъ бы она высока ни была, никогда онъ не можетъ придать своимъ произведеніямъ тотъ обликъ правды, который составляетъ характерную черту всего, что Толстой писалъ, какъ художникъ. Даже въ тотъ періодъ своей жизни, когда онъ отрекся отъ своихъ художественныхъ произведеній, когда онъ хотѣлъ быть только проповѣдникомъ своего ученія, онъ и тогда, если брался писать повѣсть или пьесу, противъ своей воли оставался художникомъ. Но несомнѣнно также, что во всѣхъ его повѣстяхъ и въ особенности въ его большихъ романахъ, основныя положенія его ученія вплетены въ самый ходъ дѣйствія, о которомъ онъ повѣствуетъ, и очень часто вложены въ уста отдѣльныхъ лицъ, которыхъ онъ выводитъ.

На художественномъ творчествѣ Толстого его ученіе отражается такимъ образомъ двояко; либо самый замыселъ произведенія строится на основаніи тѣхъ или другихъ общихъ взглядовъ художника на коренные вопросы жизни, либо проведеніе этихъ взглядовъ довѣряется въ разсказахъ опредѣленнымъ лицамъ, которыя иногда, когда берутся за такую проповѣдь, выступаютъ изъ художественной рамы и начинаютъ говорить отъ лица автора. Но разъ мысль писателя такимъ способомъ высказана и подчеркнута, онъ этимъ довольствуется и во всемъ остальномъ — въ обрисовкѣ жизни и въ передачѣ душевныхъ движеній остается геніальнымъ художникомъ.

Когда вы знакомились съ „Юностью", съ „Казаками", „Севастопольскими разсказами", „Утромъ помѣщика" и другими повѣстями Толстого, вы и тогда могли замѣтить, какъ въ эти несложныя по своей темѣ повѣсти вплеталось очень глубокое раздумье о нравственномъ призваніи человѣка, о героѣ и толпѣ, о душѣ народной массы, объ отношеніи культурнаго человѣка къ этой массѣ, о религіозныхъ взгля-

дахъ, о связи человѣка съ природой,—однимъ словомъ, цѣлый рядъ мыслей, которыя потомъ вошли основными положеніями въ ученіе Толстого. Съ юныхъ лѣтъ до старости Толстой надъ своимъ ученіемъ работалъ, и по всѣмъ его художественнымъ произведеніямъ можно отчетливо прослѣдить, какъ отдѣльныя части этого ученія имъ разрабатывались.

И въ романѣ „Война и миръ“ мы можемъ легко прослѣдить эту работу. Съ этой точки зрѣнія мы и будемъ разсматривать этотъ знаменитый романъ. По богатству заключенныхъ въ немъ эпизодовъ, по разнообразію положеній, въ какія въ немъ становятся люди другъ къ другу, по неисчерпаемымъ разновидностямъ всевозможныхъ душевныхъ движеній мужской и женской души, вообще по широтѣ захвата жизни это одинъ изъ рѣдчайшихъ памятниковъ во всей міровой литературѣ. Не даромъ его часто принято сравнивать со старыми національными эпопеями. Во всемъ богатствѣ этого романа вы разберетесь легко сами безъ руководителя. Все, что въ немъ разсказано, такъ просто, ясно и понятно. Но, конечно, не думайте, что вы послѣ перваго прочтенія романа,—его поняли и оцѣнили. Вы поняли и оцѣнили его по-своему, какъ именно въ вашемъ возрастѣ его понять можно; пройдутъ года, вы въ продолженіе вашей жизни нѣсколько разъ его перечтете, и всегда онъ будетъ казаться вамъ яснымъ и простымъ, но только всякій разъ при повторномъ чтеніи эта простота и ясность будутъ имѣть для васъ прелесть новизны, такъ какъ все разностороннѣе и глубже станетъ съ годами ваше пониманіе его. Останавливать ваше вниманіе на какихъ-нибудь отдѣльныхъ эпизодахъ этой эпопеи, указывая на мастерство, съ какимъ они написаны, нѣтъ нужды: вы сами ихъ замѣтите. Давать характеристику главныхъ типовъ тоже нѣтъ надобности—эту характеристику вы должны дать сами, и именно въ этомъ будетъ заключаться ваша первая работа надъ этимъ памятникомъ нашей жизни. Нужно только, чтобы при этой работѣ вы имѣли въ виду основные общіе взгляды самого художника на жизнь и на призваніе человѣка — тогда характеристика главнѣйшихъ дѣйствующихъ лицъ романа вамъ будетъ значительно облегчена.

Толстой остановилъ свой выборъ на темѣ исторической, на нашей войнѣ съ Наполеономъ 1805—1812 годовъ. Но эта связь сюжета съ опредѣленной исторической эпохой, какъ бы она тѣсна и выдержана ни была, не превращаетъ романъ въ строгую историческую хронику. Это романъ на общечеловѣческія вѣчныя темы жизни, и художникъ пользуется историческими фигурами для выясненія нѣкоторыхъ отдѣльныхъ

положеній своего міровоззрѣнія... Основной темы въ романѣ нѣтъ—онъ состоитъ изъ огромнаго числа отдѣльныхъ эпизодовъ, правда, связанныхъ общей нитью разсказа, но, въ сущности, независимыхъ другъ отъ друга. Вы найдете въ этомъ романѣ матеріалъ, который дополнитъ ваши знанія по исторіи жизни и быта всѣхъ классовъ русскаго общества. Дворянинъ, военный и чиновникъ, свѣтскій человѣкъ и помѣщикъ, дворянинъ въ дѣловитомъ Петербургѣ, въ Москвѣ на покоѣ и въ усадьбѣ; крестьянинъ въ своихъ взаимныхъ отношеніяхъ къ помѣщику въ деревнѣ и въ городѣ; купечество и воинство—всѣ эти полосы нашей прошлой жизни, хоть и далекой отъ насъ, но многими своими чертами напоминающей жизнь намъ болѣе близкую—обрисованы художникомъ съ удивительной реальностью и полнотой. „Война и миръ“ въ этомъ смыслѣ несомнѣнный историческій памятникъ старины 1805—1812 годовъ. Но художникъ имѣлъ въ виду, конечно, не это воспроизведеніе старины, когда задумывалъ свой романъ въ такихъ широкихъ размѣрахъ. Широкая рама была ему нужна, чтобы развить подробно нѣсколько основныхъ мыслей, особенно ему дорогихъ, которымъ онъ придавалъ не какое-нибудь историческое значеніе, а значеніе вѣчное. Остановимся на этихъ мысляхъ.

Одна изъ самыхъ яркихъ мыслей это—взглядъ на историческій процессъ, какъ на обнаруженіе массовой мысли, массоваго чувства и воли. Мы привыкли—разсуждаетъ Толстой—приписывать отдѣльной личности человѣка огромное вліяніе на ходъ жизни; мы привыкли цѣнить эту личную индивидуальную инициативу человѣка очень высоко. На этомъ основанъ нашъ культъ героевъ или великихъ людей. На самомъ дѣлѣ ходъ жизни человѣческой опредѣляется міросозерцаніемъ, настроеніемъ и волей массъ. Если даже эти мысли, чувства и воля не находятъ себѣ точнаго и гласнаго выраженія, они все-таки въ тиши незримо двигаютъ событіями, и только тѣ люди становятся во главѣ этого движенія, только тѣ герои могутъ разсчитывать на успѣхъ и бываютъ истинными героями эпохи, образъ мыслей и чувствъ которыхъ согласованъ съ психикой массъ. Пусть человѣкъ не подпадаетъ искушенію гордыни и не мнитъ себя творцомъ событій, не мнитъ навязать другимъ людямъ то, чего они не хотятъ принимать отъ него, пусть онъ не подтасовываетъ народной массовой воли и не истолковываетъ ее въ свою пользу. Онъ можетъ быть геніемъ, необычайно сильнымъ человѣкомъ, онъ все-таки осужденъ на гибель, если за нимъ не стоитъ, его не оправдываетъ общее массовое народное сознаніе и воля. Эти мысли Толстой развиваетъ очень подробно въ томъ исто-

ріософскомъ разсужденіи, которое онъ помѣстилъ въ концѣ своего романа, и которое вамъ надо прочесть внимательно и лучше всего передъ чтеніемъ самого романа.

То, что въ этомъ послѣсловіи выражено въ формѣ трактата, то въ лицахъ подтверждено въ самомъ романѣ. Въ этомъ смыслѣ романъ можетъ быть понятъ какъ попытка опроверженія общераспространенныхъ взглядовъ на „героизмъ личности“ и на ея цѣнность въ исторіи.

Наполеону какъ личности отведена въ „Войнѣ и мирѣ“ ничтожная роль. Въ военной эпопеѣ этотъ военный геній сведенъ почти на нѣтъ. Не онъ руководитъ событіями, какъ мы привыкли это думать, а событія складываются такъ, что для его личной воли въ ихъ ходѣ почти не остается мѣста. Всей военной операціей руководитъ, конечно, не случай, а строгое закономѣрное сцѣпленіе причинъ и слѣдствій, но въ этомъ историческомъ процессѣ герой совершенно тонетъ или въ лучшемъ смыслѣ является очередной фигурой, которая, стоя, правда, на видномъ мѣстѣ, исполняетъ то, что обстоятельства ему диктуютъ. Съ героическаго пьедестала вмѣстѣ съ Наполеономъ сведенъ и Кутузовъ. И у него совсѣмъ отнята личная иниціатива. Въ противоположность Наполеону, который мнитъ себя вершителемъ событій и погибаетъ, Кутузову воздано художникомъ должное за то, что онъ себя такимъ вершителемъ не считаетъ и всегда выжидаетъ минуту, когда сами обстоятельства подскажутъ ему, какъ надлежитъ дѣйствовать. Кутузовъ сердитъ насъ въ романѣ Толстого, какъ онъ въ свое время сердилъ современниковъ тѣмъ, что онъ такой нерѣшительный, что онъ какъ будто идетъ лишь слѣдомъ за событіями, а не во главѣ ихъ. Но этотъ русскій герой, въ отличіе отъ героя иноземнаго, какимъ-то внутреннимъ чутьемъ понялъ, насколько отдѣльная личность ничтожна въ сравненіи съ тѣмъ историческимъ процессомъ, который творится мыслью, настроеніемъ и волею массы. Она, эта масса, откуда-то куда-то движется и несетъ на своемъ хребтѣ отдѣльныя личности, которыя только потому, что онѣ находятся на гребнѣ, думаютъ, что теченіе волнъ ими направляется.

Можно соглашаться съ этимъ взглядомъ Толстого на роль личности въ исторіи или не соглашаться, но въ его міросозерцаніи онъ одинъ изъ самыхъ основныхъ, опредѣляющій общій демократическій характеръ его міропониманія. Подчиненіе личности массѣ и опредѣленіе всего хода исторіи какъ обнаруженія массоваго начала проведено въ романѣ Толстого очень послѣдовательно. Чѣмъ тѣснѣе связь отдѣльнаго лица съ массой, тѣмъ доля участія его въ событіяхъ

значительнѣе. Императоръ Александръ, Наполеонъ, Кутузовъ и всѣ генералы—въ ходѣ войны, которая съ ихъ именами связана—величины менѣе значительныя, чѣмъ офицеры, и въ особенности солдаты.

Но пусть человѣкъ пришелъ къ сознанію, что имъ движетъ какая-то огромная сила, которая ему не подчиняется, а требуетъ подчиненія съ его стороны, неужели ему должно превратиться въ фаталиста и самому не проявлять никакой иниціативы? На этотъ вопросъ романъ Толстого даетъ также отвѣтъ, не такъ подробно мотивированный, какъ отвѣтъ на вопросъ о роли личности въ исторіи,—но все-таки достаточно опредѣленный.

Пусть человѣкъ смирится и не мнитъ себя героемъ, пусть онъ не ждетъ отъ жизни какихъ-нибудь особенныхъ героическихъ подвиговъ, которые выпали бы ему на долю—пусть онъ принесетъ въ жертву жизни свое слишкомъ повышенное самолюбіе и свою гордыню—здѣсь на землѣ за каждымъ человѣкомъ остается свое поле дѣятельности, и если въ этомъ кругу, хотя бы самомъ узкомъ, онъ свершитъ то, что долженъ свершить человѣкъ разумный, справедливый и добрый, то этимъ самымъ онъ выполнитъ свое гуманное назначеніе на землѣ. Если бы каждый человѣкъ, не гоняясь за особыми подвигами, въ тѣсномъ кругу, на который простирается его вліяніе, исполнялъ свой долгъ гуманнаго человѣка, исполнялъ этотъ долгъ въ отношеніи самого себя, своей жены и дѣтей, своихъ близкихъ, всѣхъ тѣхъ, кто живетъ съ нимъ бокъ о бокъ—то сколько страданій, несчастій и несправедливостей не существовало бы на землѣ! А если бы ихъ не существовало, то не было бы и нужды въ тѣхъ особенныхъ подвигахъ, которые почти всегда являются результатомъ борьбы человѣка противъ того, что мѣшаетъ общему благополучію—борьбы, при которой ему самому приходится прибѣгать нерѣдко къ насилію. Если бы всѣ люди установили должное отношеніе къ жизни въ томъ кругѣ, на который простирается ихъ вліяніе—какое благоденствіе и благополучіе настало бы для всѣхъ людей, которые теперь борются, причиняютъ другъ другу страданія и никакъ не могутъ устроить своей жизни на началахъ добра, справедливости и правды. Значеніе „мелкихъ“, „обыденныхъ“ дѣлъ въ жизни огромно. Изъ нихъ собственно вся жизнь слагается, и если всѣ они у всѣхъ людей будутъ въ порядкѣ, т.-е. на той высотѣ нравственности и справедливости, какая желательна, то и въ разныхъ подвигахъ, сопряженныхъ съ печалями и страданіями, нужды не будетъ. Во всѣхъ своихъ произведеніяхъ Толстой говорилъ о такихъ простыхъ личныхъ, семей-

ныхъ, обыденныхъ дѣлахъ, стремясь намъ дать понять и почувствовать всю ихъ цѣнность, и даже тогда, когда онъ касался истинно героическихъ и знаменательныхъ событій, онъ и тогда стремился свести разсказъ о нихъ къ цѣлому ряду разсказовъ о жизни самой простой, обыденной и несложной.

Но для того, чтобы всѣ мелкія дѣла, а за ними и большія шли въ томъ порядкѣ, который привелъ бы людей къ доброй и справедливой жизни, нужно, чтобы каждый изъ насъ отвѣтилъ на одинъ важнѣйшій вопросъ—въ чемъ смыслъ жизни? Надъ рѣшеніемъ этого вопроса вѣками трудятся люди. Рѣшить его стремятся религія, философія, нравственныя ученія, наука, и до сихъ поръ люди мучатся имъ, рѣшенія получаются разныя, и эти рѣшенія ссорятъ людей между собой. Думать, что на вопросъ о смыслѣ жизни можно найти разъ навсегда исчерпывающій и всесторонне полный отвѣтъ—нельзя. Но прямой путь къ рѣшенію этого вопроса, онъ—для Толстого ясенъ. Путь указанъ въ Христовомъ ученіи о любви къ ближнему, въ ученіи о смиреніи духомъ, обузданіи страстей, и о простомъ наивно ясномъ взглядѣ на міръ и человѣка.

Двумя путями можетъ прійти человѣкъ къ признанію этой истины любви. Онъ можетъ отыскивать ее своимъ умомъ, который *убѣдитъ* человѣка въ ея истинности, и тогда этотъ умъ долженъ будетъ пройти черезъ много испытаній, сомнѣній, колебаній и искушеній прежде, чѣмъ истина ему откроется. Если къ тому же ищущій—человѣкъ гордый, со многими предразсудками и въ достаточной степени самоувѣренный, то эту простую истину любви онъ будетъ искать долго, быть-можетъ, даже не найдетъ ее, или найдетъ ее тогда, когда ему останется уже слишкомъ мало времени для того, чтобы насладиться въ жизни тѣмъ, что называется счастьемъ, которое возможно для человѣка лишь тогда, когда законъ любви имъ выполненъ.

Въ лицѣ князя Андрея Болконскаго Толстой далъ образецъ такого идейнаго искателя смысла жизни. Князь—красивая, благородная, но холодная личность. Поставленный судьбой въ исключительно благопріятныя и счастливыя условія жизни, онъ всегда сосредоточенно-серьезенъ, и всегда раздумье его не изъ веселыхъ; никакой успѣхъ въ жизни его не удовлетворяетъ; рѣдко когда къ впечатлѣніямъ жизни онъ относится непосредственно спокойно и наслаждается ими; всегда что-то мѣшаетъ такому наслажденію; умъ князя вооруженъ большой силой анализа; это умъ скептическій и безпокойный. Природа, надѣлившая князя столь щедрыми дарами,

какъ будто позабыла надѣлить его однимъ, можетъ-быть самымъ цѣннымъ даромъ—даромъ простой глубокой любви къ людямъ. Въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ, въ сущности, ни одной души, которую бы онъ согрѣлъ и которая бы его согрѣла. Но жить безъ душевной теплоты онъ не можетъ; онъ ищетъ ее въ жизни, но въ этихъ поискахъ имъ руководитъ больше умъ, чѣмъ непосредственное чувство. Только послѣ многихъ испытаній и страданій, въ часъ, когда онъ уже обреченъ на гибель, ему открывается любовь къ ближнему и притомъ ближнему—врагу, т.-е. истинно-христіанская любовь. Только въ послѣдніе дни жизни переживаетъ онъ и то чувство мирной чистой любви, свободной отъ всякаго раздумья и всякаго эгоизма,—любви къ женщинѣ; онъ этой любви не зналъ раньше, такъ какъ всегда связывалъ съ ней чувства свѣтской условности и самолюбія. Теперь она, эта свѣтлая и тихая любовь, проводила его въ могилу.

Но есть и иной путь къ отысканію правды жизни. Смыслъ жизни можетъ открыться не только пытливому уму, но и наивному, доброму, чуткому сердцу. Случается, что непосредственно, безъ всякой жизненной подготовки, сердце подсказываетъ человѣку, что должно дѣлать и какъ надо жить... Само собою разумѣется, что и этотъ процессъ просвѣтлѣнія души не обходится безъ колебаній, приступовъ скептитизма, минутъ растерянности. Но всегда такія минуты приводятъ къ неожиданно наступающей твердой рѣшимости поступить такъ или иначе, и всегда такое рѣшеніе подсказано не расчетомъ, а движеніемъ сердца. Люди этого типа бываютъ обыкновенно религіозны или съ большой потребностью религіознаго пониманія жизни. Они могутъ исповѣдывать опредѣленное вѣроисповѣданіе, могутъ искать новыхъ формъ общенія съ Богомъ, но для нихъ такое общеніе всегда дѣло души, дѣло мягкаго любящаго сердца, а не разума, хоть онъ иногда и нускается въ разныя мистическія разсужденія. Люди эти ищутъ въ жизни прежде всего утоленія жажды любви—они сами хотятъ любить другихъ и хотятъ, чтобы другіе ихъ любили. Обычныя приманки жизни на нихъ не дѣйствуютъ. Ни общественное положеніе, ни почести, ни богатство, ни свѣтскіе успѣхи ихъ не соблазняютъ, они могутъ обладать всѣми привилегіями и преимуществами общественнаго положенія, они никогда не будутъ удовлетворены этимъ внѣшнимъ счастьемъ, имъ нужно счастье внутреннее, душевный покой, а главное, имъ нужна дѣятельная любовь. Эта любовь не гордая и не тщеславная, она не ищетъ непремѣнно широкаго поля дѣятельности и легко довольствуется узкимъ кругомъ семейной тихой жизни, кругомъ дружбы и совмѣстнаго добраго сожи-

тельства съ тѣми, которые такъ или иначе являются слабыми, зависимыми и подчиненными.

Въ Пьерѣ Безухомъ художникъ далъ намъ типъ такого искателя смысла жизни, который привыкъ руководиться велѣніями сердца, и для котораго дѣятельная любовь, хотя бы и ограниченная кругомъ мелкихъ дѣлъ, есть высшее настоящее счастье.

Таковы два пути, какими человѣкъ можетъ итти къ новой жизни—путь исканій ума и путь откровеній сердца. Въ обоихъ случаяхъ онъ придетъ къ признанію истины любви, если гордость, соблазны жизни и страсти не помѣшаютъ ему въ дѣлѣ самосовершенствованія и воспитанія ближнихъ.

Трудно, конечно, человѣку въ условіяхъ современной цивилизаціи начать эту работу надъ самимъ собой и окружающими. Слишкомъ ужъ много соблазновъ, зла и всякихъ нравственныхъ искривленій покрываетъ собой эта хваленая цивилизація, которой мы привыкли такъ гордиться. Людей идущихъ къ новой жизни пока еще очень мало, ихъ окружаетъ огромная толпа людей имъ враждебныхъ, ихъ не понимающихъ, людей, которые ухитряются какъ-то жить, не думая о смыслѣ жизни. Но какъ бы одиноки ни были люди, признающіе необходимость переустройства жизни, у нихъ есть помощникъ.

Этотъ союзникъ—простой народъ. Союзникомъ является онъ въ томъ смыслѣ, что своимъ міросозерцаніемъ и въ особенности своими душевными качествами онъ подтверждаетъ правоту ищущихъ правды и добра на землѣ. Народный умъ простъ и безхитростенъ, сердце народа смиренно и любвеобильно, и Богъ живетъ въ этомъ сердцѣ. У народа надо учиться, какъ жить, чтобы быть счастливымъ и сознавать себя исполняющимъ свой долгъ.

Въ романѣ „Война и миръ“ эти нѣсколько расплывчатыя и слишкомъ общія мысли Толстого о народѣ попадаются часто. Художникъ сдѣлалъ даже попытку воплотить ихъ въ образѣ Платона Каратаева. Въ виду обилія мыслей, которыя онъ хотѣлъ втѣснить въ этотъ образъ, образъ вышелъ нѣсколько дѣланнымъ, надуманнымъ, и многое, что говоритъ авторъ отъ лица Каратаева, надо отнести насчетъ самого Толстого. Но фигура Каратаева была художнику нужна для полнаго оттѣненія основной мысли романа: нельзя такъ жить, какъ мы жили и живемъ, нужно умомъ и сердцемъ признать истину любви и не мнить себя сильными, когда сильна лишь сама жизнь, творимая общей работой. Надо учиться у простыхъ людей, не развращенныхъ нашей культурой, какъ думать о жизни и какъ относиться къ ней, чтобы мирно наслаждаться возможнымъ на землѣ счастьемъ.

XXXII.

Роль страстей въ жизни. „Анна Каренина".

При построеніи новаго уклада личной и гражданской жизни, какъ она въ желаемомъ грядущемъ рисовалась Л. Толстому, онъ исходилъ изъ одной мысли, которая легла въ основаніе всѣхъ его разсужденій и надеждъ. Онъ считалъ возможнымъ, что отдѣльная личность, роль которой въ міровомъ движеніи такъ ничтожна, можетъ тѣмъ не менѣе совершить величайшій переворотъ въ жизни — положить начало жизни новой на незыблемыхъ устояхъ любви, правды и справедливости. Свершить этотъ величайшій подвигъ въ мірѣ, личность — какъ вѣрилъ Толстой — можетъ лишь при одномъ условіи, если она начнетъ реформаторскую работу не съ ближнихъ, а съ себя. Ближняго надо любить и только, любить беззавѣтной, готовой на всѣ лишенія любовью; никакого насилія, даже въ благихъ цѣляхъ, не должно разрѣшать себѣ въ отношеніи къ ближнему; не надо какими бы то ни было средствами навязывать ему своихъ взглядовъ, надо любить, терпѣть, не противляться злу зломъ, т.-е. даже самыми мягкими формами насилія и принужденія. Любовь страдающая, терпящая и подающая примѣръ смиренной борьбы со зломъ—свое дѣло сдѣлаетъ. Но если въ отношеніи къ ближнему надо вести себя такъ смиренно-терпѣливо, то въ отношеніи самого себя должно быть суровымъ. Въ себѣ надо сказнить ветхаго человѣка и выработать новаго. Только тогда, когда этотъ новый Адамъ будетъ созданъ, когда онъ размножится на землѣ, возможно наступленіе новой жизни. Вотъ почему Толстой такъ отрицательно относился ко всякой политической борьбѣ, ко всякимъ революціямъ, которыя никогда не могутъ обойтись безъ насилія; вотъ почему онъ отрицалъ соціалистическій строй жизни, который также во многихъ областяхъ общежитія не сможетъ держаться безъ принужденія. Толстой былъ собственно мирный анархистъ, который вѣрилъ, что анархія—какъ извѣстная форма общественнаго порядка—должна и можетъ быть осуществлена мирнымъ путемъ. Но для того, чтобы такая радикальная перемѣна въ жизни человѣческой наступила, необходимо, чтобы люди стали иными, и чтобы начать ихъ дѣлать „иными" надо прежде всего себя сдѣлать „инымъ". И вся вторая половина жизни Толстого ушла на проповѣдь такой работы человѣка надъ собственнымъ самовоспитаніемъ и самоусовершенствованіемъ, и на попытки художника „опроститься" и порвать съ тради-

ціями, культурой и сословной жизнью, среди которой онъ выросъ. Протестъ Толстого противъ торжествующей цивилизаціи и его нападки на всякія ея тонкости вплоть до науки и искусства объясняются именно этой увѣренностью его въ томъ, что воспитаніе человѣчества надо начинать съ воспитанія отдѣльной личности и начинать именно сызнова, освободивъ личность отъ всякихъ традицій прошлаго и отъ всякихъ соблазновъ современности. Надо все строить заново, и начало новаго должно быть положено свободной личностью, рѣшившей разъ навсегда покончить съ прошлымъ, которое довело насъ до такого безотраднаго положенія въ настоящемъ.

Личность, выступающая съ такими грандіозными планами, будетъ имѣть, конечно, противъ себя огромное число враговъ. Но внѣшніе враги не страшны. Врагъ можетъ пріобрѣсти власть только надъ той силой, которая ему противится, а если человѣкъ вооруженъ любовью, терпѣніемъ и смиреніемъ, если онъ силѣ противопоставляетъ только лишь мирное свое дѣяніе—что же можетъ враждебная сила съ нимъ сдѣлать? Онъ покоритъ всякаго врага своей настойчивостью, если онъ неизмѣнно будетъ вѣренъ принятому имъ способу ненасильственной борьбы и самъ не позволитъ себѣ никакого давленія и нажима. Но кромѣ врага внѣшняго бываетъ еще врагъ внутренній, и онъ самый страшный. Борьба съ нимъ для человѣка всего труднѣе. Этотъ внутренній врагъ—наши страсти или иначе нашъ эгоизмъ, который очень часто, почти всегда облекается въ форму страстей.

Толстой былъ большимъ врагомъ страстей, и—это очень характерно для него какъ писателя—онъ въ своемъ творчествѣ отвелъ страстямъ очень незначительное и невидное мѣсто. Всякій писатель—и романистъ, и драматургъ, и лирикъ—всегда дорожитъ страстями, и ищетъ ихъ, и надѣляетъ ими дѣйствующихъ лицъ своего вымысла, такъ какъ всякая мысль, всякое чувство и всякое настроеніе обнаруживаютъ себя всего рельефнѣе и яснѣе, когда они возведены до степени страстнаго отношенія къ жизни. Человѣкъ, охваченный страстями, позволяетъ намъ легче и глубже заглянуть ему въ душу, чѣмъ человѣкъ при болѣе или менѣе ровномъ отношеніи къ себѣ самому и къ другимъ. Положимъ, страсть ставитъ насъ всегда въ исключительное положеніе, но при этомъ необычномъ положеніи мы легче и непосредственнѣе проявляемъ тѣ стороны нашего ума и характера, которыя составляютъ отличительныя черты нашей психики. И, конечно, художникъ всегда дорожитъ такими проявленіями нашей психики, при которыхъ она отчетливо говоритъ о томъ, чѣмъ она отличается отъ душевнаго склада другихъ людей. Толстой всегда

избѣгалъ рисовать людей въ такомъ повышенномъ, страстномъ отношеніи къ жизни. Сказать, что Толстой не умѣлъ рисовать страсти, что онѣ ему какъ художнику не давались,—нельзя: въ тѣхъ рѣдкихъ случаяхъ, когда онъ брался за ихъ изображеніе, онъ всегда оставался на обычной ему высотѣ художественнаго исполненія. Но если вы переберете въ памяти всѣ его произведенія, то врядъ ли сможете понять и почувствовать, чѣмъ для человѣка можетъ стать страсть въ жизни. Гдѣ они, страстные темпераменты, мысли, раскаляющія человѣка, и страстныя рѣчи въ „Юности", „Севастопольскихъ воспоминаніяхъ", „Войнѣ и мирѣ" и въ цѣломъ рядѣ разсказовъ и повѣстей? Даже тогда, когда художникъ кому-нибудь изъ вымышленныхъ имъ лицъ довѣряетъ проповѣдь или защиту самыхъ дорогихъ ему мыслей и плановъ жизни, онъ и тогда заставляетъ этихъ лицъ говорить просто и спокойно, убѣжденно, настойчиво, но не страстно, и никогда не выводитъ ихъ изъ болѣе или менѣе уравновѣшеннаго состоянія духа. Наконецъ, та страсть, которой люди подпадаютъ всего чаще и всего естественнѣе — страсть любовная—и она въ творчествѣ Толстого изображена всегда въ формахъ наименѣе страстныхъ и сильныхъ. Очень много повѣстей, въ которыхъ любовной завязки совсѣмъ нѣтъ, во многихъ она лишь эпизодъ и притомъ не характерный, въ другихъ она налицо—со всей ея житейской глубиной и правдой, но всегда ровная, тихая, не поднимающая никакихъ волнъ страсти. Когда же Толстой рѣшается изобразить любовную страсть въ ея разгарѣ, онъ всегда пользуется этимъ случаемъ, чтобы предостеречь отъ нея читателя и ясно даетъ ему понять, какими страшными и недобрыми послѣдствіями богата она для жизни. Очевидно, художникъ имѣлъ свои основанія остерегаться ея и съ ней вмѣстѣ всѣхъ страстей [любовная страсть была въ данномъ случаѣ лишь самымъ яркимъ символомъ страстей вообще] — и эти основанія были самаго общаго философски-нравственнаго характера. Легко догадаться, на какомъ разсужденіи они были основаны.

Если та грандіозная реформа жизни, которую Толстой задумалъ, была выполнима лишь при условіи строгаго самовоспитанія и самообузданія, если человѣкъ даже въ борьбѣ со зломъ—т.-е. тогда, когда страстное отношеніе къ жизни можетъ быть вполнѣ оправдано—обязанъ проявить высшую степень смиренія, терпѣнія и незлобивости, то понятно, что страсть, всегда толкающая человѣка на рѣзкіе поступки и всегда повышающая въ немъ сознаніе силы и значенія своей личности, понятно, что она самый опасный врагъ для мирнаго развитія человѣчества, для осуществленія того разум-

наго и добраго идеала жизни, который былъ такъ святъ и дорогъ художнику. Проявленіе страсти есть несомнѣнно утвержденіе своего эгоизма въ томъ или иномъ видѣ, и источникъ страданія какъ для самого носителя страсти, такъ и для его ближнихъ. Страсть могла и должна была внести большой безпорядокъ въ планъ реформы жизни, который Толстымъ былъ намѣченъ.

Какъ большой художникъ, Толстой не могъ, однако, начать писать дидактическое сочиненіе на тему о вредѣ страстей.

Первымъ изъ его романовъ, въ которомъ эта тема поставлена совершенно опредѣленно и ясно, была „Анна Каренина", за нимъ послѣдовали и другіе разсказы въ художественной и полупублицистической формѣ. [Обратите вниманіе особенно на „Крейцерову сонату"]. Не думайте, однако, что „Анна Каренина" — романъ „на тему". Это—великимъ мастеромъ исполненная широкая картина жизни русскаго помѣстнаго дворянства, перекочевавшаго въ столицу. Вы встрѣтитесь на этихъ страницахъ съ бытомъ, который вамъ хорошо знакомъ по многимъ памятникамъ. Только раньше вы наблюдали этихъ людей въ деревнѣ, теперь они передъ вами въ столицахъ, какъ люди свѣтскаго, военнаго и высокаго чиновнаго круга. Вы знали ихъ раньше въ эпоху господства или ликвидаціи крѣпостного строя, теперь времена перемѣнились, прошло около десяти лѣтъ со времени упраздненія старыхъ порядковъ—и передъ вами, повидимому, новые люди. Вы можете дать себѣ трудъ прослѣдить, чѣмъ они отъ старыхъ людей отличаются и въ чемъ они схожи. Левинъ напомнитъ вамъ также цѣлый рядъ хорошо вамъ знакомыхъ лицъ, тѣхъ, которые думали такъ много и съ такой душевной тревогой надъ вопросомъ о сближеніи интеллигента съ народомъ. Вопросъ старый, а форма рѣшенія его, данная Левинымъ—новая: вы лишній разъ убѣдитесь, какъ этотъ вопросъ труденъ, какъ высоко было мнѣніе художника о правдѣ народной жизни и какъ остро было въ немъ сознаніе всевозможныхъ неправдъ, допущенныхъ нашей цивилизаціей и тѣми культурными людьми, которые ею гордятся. Левинъ—типичный интеллигентъ 70-хъ годовъ, если не „кающійся дворянинъ", то во всякомъ случаѣ дворянинъ, думающій объ обязанностяхъ и долгахъ интеллигента передъ народомъ. Онъ идетъ даже дальше въ своемъ стремленіи къ сближенію съ массой—онъ убѣжденъ, что эта народная масса можетъ помочь ему самому въ выработкѣ правильнаго взгляда на смыслъ жизни и въ угадываніи того, что есть добрая и истинная жизнь. Много туманнаго въ этихъ исканіяхъ Ле-

вина; мысли его не свободны отъ противорѣчій, но вѣдь и самый вопросъ, которымъ онъ мучится,—изъ трудно рѣшимыхъ. Въ данномъ случаѣ имѣетъ значеніе не то рѣшеніе, къ которому пришелъ Левинъ, а характерная для того времени острота самого вопроса. Кромѣ этихъ мыслей Левина, на которыхъ Толстой останавливается съ особеннымъ вниманіемъ, вы найдете въ его рѣчахъ и много другихъ общихъ мыслей, волновавшихъ тогдашнюю интеллигенцію, т.-е. ту ея часть, которая понимала, что она должна быть идейной силой, направленной на общее благо, а не силой замкнутой въ кружкѣ, отъ народа оторванномъ, живущемъ по инерціи, не задаваясь вопросомъ,—кому и для чего такая жизнь нужна. А вѣдь именно такое косное, хотя временами и веселое существованіе влачатъ на страницахъ романа многія дѣйствующія лица, взятыя авторомъ изъ дворянскаго круга, порвавшаго свою связь съ деревней. Левинъ среди нихъ единственный идейный человѣкъ, не исключая и главнаго героя Вронскаго, который только въ самомъ концѣ романа, подъ давленіемъ совершенно исключительныхъ обстоятельствъ, приписывается къ идейному дѣлу, не дающему, однако, ему никакого душевнаго удовлетворенія. Одинъ Левинъ движется, остальные всѣ стоятъ на мѣстѣ и ждутъ, когда жизнь упразднитъ ихъ. Бесѣдуя съ Левинымъ, а также и съ его братомъ, вы можете коснуться цѣлаго ряда самыхъ существенныхъ для жизни вопросовъ, и всегда эта бесѣда будетъ для васъ поучительна. Къ числу такихъ вѣчно на очередь становящихся вопросовъ относятся, напримѣръ, и мысли человѣка о религіозномъ смыслѣ жизни. Левинъ надъ ними думаетъ упорно, и его мысль—мысль живая, стремящаяся укрѣпить и расширить связь людей между собой во имя Божіе,—въ отличіе отъ мыслей старѣющаго Каренина и тѣхъ дамъ, охваченныхъ мистическимъ вѣяніемъ, для которыхъ религія есть дѣло чисто-личное, а общеніе съ Богомъ лишь форма самодовлѣющаго душевнаго успокоенія. Не менѣе, чѣмъ вопросъ религіозный и связанныя съ нимъ мысли о смерти, мучатъ Левина и проблемы нравственныя и въ особенности вопросъ семейный. Въ любви къ женщинѣ Левинъ большой идеалистъ, хотя безъ примѣси старой романтики и разсудочной философской идеологіи; онъ—исповѣдникъ простой, вполнѣ реальной здоровой любви, любви, для которой семья есть вѣнецъ и награда истиннаго глубокаго чувства. Поэзіи въ тѣсномъ смыслѣ этого слова въ его любви мало, настоящей страсти въ ней также нѣтъ, но въ ней есть та крѣпость, та устойчивость, которая позволяетъ на чисто-личномъ чувствѣ построить такую жизнь, которая обѣщаетъ тепло и радость

и строителямъ ея, и всѣмъ окружающимъ. Левинъ очень занятъ собой и своимъ „гнѣздомъ"—но это не мѣшаетъ ему откликаться на многіе запросы окружающей его жизни. Онъ думаетъ и надъ экономическимъ положеніемъ Россіи, приводя эти мысли въ связь съ планами собственнаго хозяйства; всякія соціальныя несправедливости также становятся предметомъ его думъ; интересуется онъ мировыми судами, рабочимъ вопросомъ, университетскими дѣлами, философскими теченіями вѣка—и въ концѣ концовъ, послѣ очень тревожнаго раздумья надъ самыми разнообразными задачами повседневной жизни, онъ опять возвращается къ темѣ о религіозномъ и нравственномъ смыслѣ жизни и о народной массѣ, которая какъ будто таитъ въ себѣ разрѣшеніе этого труднѣйшаго вопроса. Вообще, если вы хотите знать, какія мысли, и общаго и частнаго характера, за исключеніемъ политическихъ, причиняли русскому интеллигенту 70-хъ годовъ наибольшую тревогу умственную и душевную, то бесѣды съ Левинымъ вамъ это выяснятъ.

Но, конечно, ваше вниманіе при первомъ чтеніи романа будетъ приковано не къ Левину, а къ Аннѣ Карениной и Вронскому. Когда романъ появился впервые въ печати, автору многіе ставили въ вину „ничтожность" выбраннаго имъ сюжета. Послѣ исторической эпопеи „Войны и мира"—разсказъ объ интимной жизни двухъ свѣтскихъ людей казался по содержанію своему мелкимъ. Въ самомъ дѣлѣ, если имѣть въ виду только эту любовную интригу и пройти мимо всѣхъ другихъ эпизодовъ романа съ очень богатымъ идейнымъ содержаніемъ, то, несмотря на все совершенство выполненія, можно, дѣйствительно, задать себѣ вопросъ,—почему такое обычное драматическое положеніе, какъ любовь замужней женщины и ея смерть послѣ крушенія этой любви, могло такъ заинтересовать художника, занятаго самыми широкими реформаторскими планами? Выполненіе темы было поистинѣ геніальное, такъ глубокъ и вѣренъ былъ анализъ душевныхъ движеній и такъ художественно проста ихъ передача. Надо было придавать самой темѣ особое значеніе, чтобы такъ пространно и такъ тщательно ее обработать. И Толстой имѣлъ свое основаніе дорожить ею.

Съ тѣмъ, какъ развернулся романъ Вронскаго и Анны, т.-е. съ психологической правдой ихъ любви вы, конечно, согласитесь, но ту нравственную оцѣнку, которую художникъ далъ этой любви, его судъ надъ нею, вы врядъ ли единодушно признаете правильнымъ. Нѣкоторые Каренину обвинятъ, другіе оправдаютъ; одни — причину ея смерти будутъ искать въ ней самой, другіе въ ея товарищѣ по

счастью или по несчастью. Но Толстой не могъ не казнить Анны, такъ какъ она нарушила тотъ законъ, на которомъ онъ хотѣлъ воздвигнуть зданіе новой разумной и доброй жизни. Изъ всѣхъ лицъ когда-либо Толстымъ изображенныхъ, Анна была первой и единственной жертвой большой страсти. Вся жизнь ея, т.-е. та часть ея жизни, которой она больше всего дорожила, была согрѣта, украшена и осмыслена только страстью; ради нея она пожертвовала всѣмъ: мужемъ, сыномъ, общественнымъ положеніемъ, и когда эта страсть радости уже не могла дать — Анна съ собой покончила. Но Анна была не только жертвой страсти, она была сама страсть и источникъ несчастья для ближнихъ. Безъ злобы, безъ коварства, безъ хитрости, но она разбила жизнь мужа, осиротила сына и помѣшала Вронскому найти хоть какой-нибудь смыслъ жизни. Она жестоко поплатилась за это пагубное вліяніе своей красоты и страсти, но она была виновницей крушенія цѣлаго ряда лицъ, которыя безъ нея могли бы такъ или иначе поддерживать другъ друга въ спокойной работѣ надъ мирнымъ строительствомъ жизни. Если вы вспомните, какъ Толстой рисовалъ себѣ это строительство, какъ онъ требовалъ смиренія, отреченія отъ своего „я“, и любви дарующей миръ, добро и согласіе, какъ онъ не любилъ „героевъ“, которые хотятъ жизни навязать свою личность, какъ всякая страсть была въ его глазахъ посягательствомъ эгоизма на стройный порядокъ жизни, то трагедія любви въ „Аннѣ Карениной“ получитъ въ вашихъ глазахъ надлежащее символическое освѣщеніе.

И все творчество Толстого, при всемъ его реализмѣ, покажется вамъ художественнымъ символомъ, предвѣщающимъ новую жизнь. Пусть въ этомъ творчествѣ реальная жизнь нашла себѣ самое точное отраженіе, но художникъ всегда даетъ намъ понять, что не таковой должна быть та жизнь, которую онъ провидитъ въ будущемъ и на осуществленіе которой онъ насъ призываетъ. Онъ несомнѣнный пророкъ, но не изъ тѣхъ, слова которыхъ — видѣніе грядущаго. Его слова—сама дѣйствительность во всей ея наготѣ, безъ прикрасъ, въ совокупности мрачныхъ и свѣтлыхъ ея сторонъ, но все въ этомъ изображеніи дѣйствительности намекаетъ намъ на будущее, которое должно быть построено на отрицаніи того, чѣмъ люди дорожатъ въ настоящемъ всего болѣе, и за что они цѣпляются въ ожиданіи счастія. Въ условіяхъ современной намъ цивилизаціи это счастье немыслимо. Для обрѣтенія его мы должны создать новую жизнь, новаго человѣка, начавъ съ себя самихъ такое созиданіе.

XXXIII.

Творцы художественной риѳмованной рѣчи.

Образцы творческой силы, данные нашими художниками-реалистами, у васъ теперь передъ глазами. Всѣ они — художественной *прозой* написанные пьесы, разсказы, повѣсти и романы. До сихъ поръ мы опирались исключительно на нихъ, когда говорили о связи нашей литературы съ жизнью.

Но есть среди художниковъ слова люди, одаренные особымъ даромъ—даромъ *стихотворной* рѣчи, и этихъ художниковъ, за исключеніемъ Некрасова, мы обошли въ нашихъ бесѣдахъ.

А между тѣмъ, когда заходитъ рѣчь о силѣ генія какого-нибудь народа, то въ свидѣтели этой силы „поэты"—какъ обыкновенно называютъ художниковъ, придающихъ своимъ созданіямъ стихотворную форму — призываются наравнѣ съ прозаиками, если даже не чаще. Геніальный поэтъ-стихотворецъ считался всегда какимъ-то особымъ украшеніемъ любой національной культуры, и мы, когда наша культура была еще въ младенческомъ возрастѣ, заговорили съ увѣренностью объ ея великомъ будущемъ, какъ только среди насъ появились Жуковскій, Пушкинъ и Лермонтовъ.

Область художественнаго стихотворнаго творчества имѣетъ свои техническіе законы. Имъ подчинена форма, въ которую вдохновеніе художника выливается. Способность писать риѳмованной и размѣренной рѣчью — особый даръ, особое искусство, особое сочетаніе словеснаго творчества съ музыкой, сочетаніе болѣе тѣсное, чѣмъ то, которое дано въ прозаической рѣчи. Этотъ особый даръ является, вѣроятно, выраженіемъ и совсѣмъ особаго психическаго состоянія, обрисовать которое совсѣмъ безсильны тѣ люди, которые этимъ даромъ не обладаютъ, да и сами „поэты"—въ данномъ случаѣ наиболѣе освѣдомленные люди — до сихъ поръ мало что сообщили объ этой тайнѣ своего духа, предоставляя философамъ и эстетикамъ въ ней разобраться.

Разъясненіе сущности этого дара, его психологія и философія — какъ и вообще психологія и философія художественнаго словеснаго творчества—съ нашей задачей въ связи не стоятъ. Мы разсматривали художественное творчество исключительно какъ отраженіе національной жизни въ искусствѣ.

Если подъ этимъ угломъ зрѣнія мы будемъ разсматривать русскую поэзію, т.-е. въ данномъ случаѣ — памятники

русской стихотворной рѣчи за вторую половину XIX вѣка, то первое, что поразитъ насъ — это несомнѣнная убыль въ истинныхъ большихъ талантахъ. Въ первую половину вѣка этихъ „поэтическихъ“ талантовъ было больше. Ими собственно держалась тогда наша словесность. Жуковскій, Батюшковъ, Пушкинъ, Грибоѣдовъ, Крыловъ, Баратынскій, Языковъ, Тютчевъ, Полежаевъ, Лермонтовъ, Кольцовъ,—всѣ они были преимущественно „поэты“, хотя нѣкоторые изъ нихъ были одновременно и создателями нашей художественной прозы. Сила таланта, обнаруженная ими,—поэтами 20-хъ, 30-хъ, и 40-хъ годовъ,—была въ общемъ ея объемѣ значительнѣе силы тѣхъ, кто въ 50-хъ, 60-хъ и 70-хъ годахъ оставался вѣренъ стихотворной формѣ. Вторая половина вѣка создала только двухъ оригинальныхъ поэтовъ, которые не продолжали ничьихъ традицій, а сами явились творцами таковыхъ. Это были Некрасовъ и Фетъ, два художника, весьма отличные другъ отъ друга по пріемамъ мастерства, но въ творчествѣ своемъ безспорные новаторы. Остальные — Полонскій, Майковъ, А. Толстой, А. Жемчужниковъ, Никитинъ, Плещеевъ—какова бы ни была степень ихъ талантливости, во всякомъ случаѣ истинными творцами названы быть не могутъ. Они во многомъ были учениками художниковъ, имъ предшествовавшихъ. Но пусть размѣры таланта учениковъ были болѣе скромны,—это, конечно, лишь простая случайность.

Въ своемъ отношеніи къ явленіямъ окружающей ихъ жизни поэты второй половины вѣка обнаружили ту же тенденцію къ правдивому воспроизведенію дѣйствительности въ искусствѣ, какая вообще была отличительной чертой этого періода нашей литературы. „Поэтъ“ ставитъ себѣ первой задачей быть правдивымъ какъ въ передачѣ своихъ наблюденій надъ окружающей жизнью, такъ и въ передачѣ личныхъ ощущеній. Какъ вѣрно и согласно съ правдой могла быть отражена будничная жизнь въ стихотворной рѣчи, это вы могли провѣрить по произведеніямъ Некрасова. Поэзія Никитина, Плещеева, Жемчужникова и другихъ поэтовъ, писавшихъ на такъ называемыя „гражданскія темы“, продолжала дѣло Некрасова, и хотя талантъ каждаго изъ поименованныхъ поэтовъ обладалъ своими отличительными чертами, все-таки гражданская пѣсня Некрасова всѣхъ ихъ покрывала. Въ ихъ стихахъ, какъ и въ юмористическихъ стихотвореніяхъ Минаева и Курочкина, интереснаго и характернаго для жизни матеріала вы найдете очень мало. Вы можете отложить чтеніе этихъ стихотвореній до болѣе свободнаго часа.

Совсѣмъ особую группу поэтовъ второй половины вѣка составляютъ тѣ лирики, которые предметомъ художественной

обработки избрали не окружающій ихъ внѣшній міръ, а мысли, чувства, и ощущенія, какія они сами выносили изъ наблюденій надъ этимъ міромъ и въ особенности изъ анализа переживаній своей собственной души. Литературная дѣятельность этихъ лириковъ въ годы ея расцвѣта подверглась очень ожесточеннымъ нападкамъ со стороны многихъ современныхъ имъ критиковъ. Эти критики—въ большинствѣ случаевъ люди передового лагеря—не могли помириться съ художникомъ, которому до окружающей жизни, повидимому, совсѣмъ дѣла не было, который умышленно отстранялъ отъ себя всякіе современные вопросы, всѣ волненія дня и былъ занятъ только собой, своими отвлеченными философскими или религіозными мыслями, своими очень интимными переживаніями, настроеніями и ощущеніями, которыя большинству читателей могли быть и недоступны и непонятны. Читатель второй половины вѣка, привыкшій къ практическому направленію своей эпохи и требующій отъ писателя, чтобы онъ обсуждалъ съ нимъ всѣ близкіе ему общественные вопросы дня, заподозрѣлъ такого свободнаго, но „субъективнаго" поэта въ страшномъ эгоизмѣ и въ презрѣніи къ тому, что составляетъ предметъ заботъ и страданій ближняго. Поэтъ, занятый исключительно своимъ внутреннимъ міромъ, долгое время казался многимъ совсѣмъ безполезнымъ членомъ общества и его „чистое" искусство никому не нужной поэтической прихотью. Споръ о „чистомъ" искусствѣ и о такомъ, которое связано съ запросами дня, длился въ нашей критикѣ и въ обществѣ очень долго, вызывалъ очень страстное къ себѣ отношеніе и, конечно, ничего для словесности не далъ: ни одному истинному поэту-лирику не привилъ онъ насильно любви къ современнымъ вопросамъ и нисколько не уменьшилъ культурной цѣнности его творчества, хотя, конечно, доставилъ служителямъ „чистой" красоты много непріятныхъ минутъ въ виду рѣзкости и несправедливости нападокъ, какимъ они подверглись.

Культурное значеніе этихъ субъективныхъ лириковъ второй половины вѣка измѣряется не тѣмъ откликомъ, какой они дали на временную жизнь, ихъ окружавшую, а тонкостью и сложностью ихъ личной умственной и психической организаціи. Они сами, какъ мыслители и какъ тонко чувствующія души, независимо отъ ихъ времени, остаются образцами высокой культурности, исключительными, своеобразными проявленіями русскаго генія. Они цѣнны сами по себѣ, какъ необычайно одаренные русскіе люди, независимо отъ того, какъ они относились къ переживаемому ими историческому моменту, и какъ онъ къ нимъ относился.

Такихъ лириковъ, самобытныхъ въ своемъ пониманіи жизни, въ годы, о которыхъ мы говоримъ, было два — Тютчевъ и Фетъ. [Первыя стихотворенія Тютчева, въ которыхъ сразу заблестѣлъ его огромный талантъ, появились еще въ Пушкинскую эпоху, но и во второй половинѣ вѣка дарованіе Тютчева находилось въ полномъ цвѣту].

Ознакомленіе съ творчествомъ этихъ двухъ поэтовъ потребуетъ съ вашей стороны особыхъ пріемовъ, да и вообще читать лирическія стихотворенія надо по иному плану, чѣмъ романы и повѣсти.

При чтеніи романовъ ваше личное настроеніе играетъ второстепенную роль, при чтеніи лирическихъ стихотвореній— оно главное. Великолѣпное лирическое стихотвореніе можетъ вамъ совсѣмъ не понравиться, если вы и поэтъ въ настроеніи не совпадете, и слабое стихотвореніе можетъ вамъ показаться перломъ. Вамъ надо пріучить себя проникаться настроеніями, которыя вамъ чужды, которыя при первой встрѣчѣ вашей съ ними, можетъ-быть, даже оттолкнутъ васъ; вамъ надо пріучить себя переживать ихъ... Для всего этого простого чтенія совсѣмъ недостаточно.

Вы можете прочитать біографію Тютчева и Фета, можете по указанію учителя прочитать нѣсколько очень хорошихъ статей объ ихъ творчествѣ, но такое чтеніе васъ все-таки съ этими поэтами не сблизитъ. Они станутъ вамъ близки и будутъ вполнѣ поняты вами значительно позже, когда, уже многое передумавъ и перечувствовавъ, вы начнете въ нихъ вчитываться. Совсѣмъ отложить это чтеніе до вполнѣ зрѣлаго возраста это значило бы, однако, лишить вашу юность возможности ознакомиться съ дѣйствительно образцовыми художественными стихотвореніями, лишить ее случая столкнуться съ необычайно тонкими и глубокими переживаніями души человѣческой.

Надо, чтобы вы сами разыскали поэтическіе отзвуки этихъ переживаній, сами разъяснили себѣ ихъ и постарались сами пережить ихъ какъ умѣете. Только при этомъ условіи ваше чтеніе будетъ плодотворно, т.-е. душа ваша начнетъ обогащаться новыми настроеніями.

Вотъ почему читать этихъ лириковъ надо медленно, не болѣе одного или двухъ стихотвореній на пріемъ. Эти стихотворенія надо перечитывать по нѣскольку разъ. И тогда вы почувствуете, какъ совсѣмъ новое, словами не передаваемое настроеніе охватитъ васъ, и вы начнете улавливать и прелесть, и мелодичность стиха, и въ памяти вашей останется цѣлый рядъ поразительно художественныхъ образовъ.

Только на большихъ культурныхъ вершинахъ можно встрѣтить такіе цвѣты поэзіи, какъ стихотворенія Тютчева и Фета,—вотъ почему они и не могутъ отсутствовать въ собраніи тѣхъ художественныхъ памятниковъ, въ которыхъ отражена исторія нашего образованнаго общества.

Къ стихотвореніямъ Тютчева и Фета вы можете добавить нѣсколько стихотвореній Полонскаго, писателя въ 60-хъ и 70-хъ годахъ пользовавшагося большимъ успѣхомъ у тѣхъ любителей поэзіи, которые не жаловали гражданскихъ мотивовъ и любили интимную лирику простыхъ несложныхъ настроеній.

Кромѣ пѣвцовъ гражданскихъ мотивовъ вообще и гражданской скорби въ частности, пѣвцовъ, которые въ Некрасовѣ имѣли наиболѣе талантливаго представителя и учителя; кромѣ лириковъ—пѣвцовъ интимныхъ чувствъ, чувствъ несложныхъ или очень сложныхъ, ясныхъ или глубокомысленно туманныхъ, мыслителей — поэтовъ, такъ блестяще представленныхъ Тютчевымъ и Фетомъ — наша „поэзія“ второй половины XIX вѣка была украшена именами еще двухъ очень даровитыхъ художниковъ.

Стихи Майкова и Алексѣя Толстого были всегда литературнымъ событіемъ.

XXXIV.

Стихотворенія Аполлона Майкова.

Творчество Майкова и Толстого обладаетъ одной характерной чертой, которая не согласуется съ общимъ „реалистическимъ“ направленіемъ нашей изящной словесности второй половины вѣка.

Оба поэта умышленно отошли отъ современности и родникомъ ихъ вдохновенія сталъ міръ легенды, сказки и историческихъ воспоминаній. Среди художниковъ-реалистовъ ихъ времени они напоминали старыхъ „романтиковъ“. Въ этомъ была ихъ оригинальность, не сразу признанная современниками.

Сила поэтическаго вдохновенія измѣряется иногда этой способностью художника жить воображеніемъ въ вѣкахъ минувшихъ. И то обстоятельство, что во вторую половину вѣка среди нашихъ художниковъ были писатели, которые такъ умѣли возсоздавать это прошлое въ поэтическихъ образахъ—показываетъ намъ, что нашъ національный геній, обогащаясь новыми пріемами творчества и новымъ матеріаломъ, сохранилъ и ту способность, которая была такъ сильна въ немъ, когда представителями этого національнаго генія были Жуковскій,

Пушкинъ и Лермонтовъ—поэты, которымъ историческое и легендарное прошлое подсказало столько поэтическихъ мотивовъ.

Въ первую половину XIX вѣка наши „поэты", дѣйствительно, пріучили насъ къ такимъ полетамъ въ міръ прошлаго и въ міръ грезъ. Когда родникъ личныхъ чувствъ переставалъ питать ихъ вдохновеніе, не объ окружающемъ говорили они, а о далекомъ или призрачномъ. Такое отдаленіе отъ текущей жизни въ тѣ годы, когда въ ней было такъ мало движенія и волненія—представляло для поэта много удобствъ: онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи весь міръ фантазіи и всю всемірную исторію, съ ея неисчерпаемымъ богатствомъ душевныхъ движеній, типовъ, характеровъ и драматическихъ положеній.

Во вторую половину вѣка, въ годы царствованія строгаго реализма въ искусствѣ, такіе поэтическіе полеты въ даль ставили художника въ положеніе скорѣе невыгодное, чѣмъ благопріятное.

Майковъ выросъ въ семьѣ, въ которои красота во всѣхъ видахъ искусства была въ большомъ почетѣ. Онъ имѣлъ возможность съ дѣтскихъ лѣтъ развить свой эстетическій вкусъ—очень строгій. Поэтъ былъ большимъ пуристомъ въ вопросахъ формы и съ полнымъ правомъ гордился тѣмъ, что онъ хранитель традицій стараго времени, стиха, доведеннаго Пушкинымъ до высшаго совершенства. Можетъ-быть, это умышленное желаніе сохранить старую грань формы придавало иногда стихамъ Майкова нѣкоторую холодность.

Но заслуги Майкова не въ строгости формы—въ этой области онъ имѣлъ болѣе искусныхъ учителей и достойныхъ соперниковъ. Его оригинальность въ томъ, что въ ряду нашихъ истинныхъ поэтовъ онъ чаще и охотнѣе другихъ бралъ темы изъ иноземной жизни и, не подпадая подъ вліяніе ни одного иноземнаго художника, свободно и оригинально разработалъ много поэтическихъ темъ, которыя ему не могла подсказать русская жизнь. По обилію этихъ темъ съ нимъ можетъ поспорить развѣ только Жуковскій, съ которымъ у Майкова много общаго и въ міросозерцаніи. Но Жуковскій былъ преимущественно переводчикъ, а Майковъ поэтъ оригинальный.

Обиліе темъ, въ стихахъ Майкова, дѣйствительно, на рѣдкость: античный міръ, греческій и римскій, христіанство первыхъ вѣковъ, міръ еврейскій, Римъ и Италія новаго времени, славянскіе мотивы, новогреческія пѣсни, отдѣльные эпизоды всемірной исторіи среднихъ вѣковъ и эпохи Возрожденія, сѣверныя легенды и наконецъ русская старина, легендарная и историческая. Всѣ эти темы разработаны Май-

ковымъ не въ формѣ мелкихъ стихотвореній или этюдовъ и набросковъ; они для поэта не просто предлогъ для красивой картинки или лирическаго настроенія: художникъ стремится, забывая о себѣ, приблизить насъ къ міропониманію чужихъ намъ людей и заставить насъ понять психологію временъ минувшихъ. Ему это удается, и потому его стихотворенія могутъ съ успѣхомъ служить иллюстраціей къ нѣкоторымъ главамъ въ курсѣ всеобщей исторіи. Въ этомъ смыслѣ [помимо, конечно, ихъ художественной стоимости] ознакомленіе съ ними въ школѣ весьма желательно. На этихъ страницахъ изъ исторіи и легендъ минувшихъ вѣковъ много красокъ и пластичности, но главное ихъ достоинство—это археологическая вѣрность въ возсозданіи бытовой стороны минувшей жизни и основанное на большомъ историческомъ знаніи воскрешеніе отжившихъ міросозерцаній и нѣкогда сильныхъ чувствъ.

Два міропониманія въ особенности привлекали къ себѣ вниманіе Майкова—міросозерцанія языческое и христіанское и ихъ столкновеніе въ первые годы христіанской эры. Съ первыхъ же шаговъ своей литературной дѣятельности, Майковъ сталъ работать надъ этой темой и только на склонѣ лѣтъ онъ нашелъ для нея ту художественную форму, которой остался доволенъ. Поэмы „Три смерти“ и „Два міра“—это лучшее, что художникомъ создано, и въ нихъ онъ сказался весь—съ его глубокой религіозной вѣрой, христіанскимъ настроеніемъ сердца и языческимъ культомъ красоты. Въ Майковѣ всегда спорилъ язычникъ съ христіаниномъ. Поэтъ, какъ человѣкъ, былъ искренно вѣрующій, убѣжденный исповѣдникъ православія; какъ художникъ, онъ былъ поклонникомъ красоты, язычникомъ по аристократизму и эстетизму своего духа. Ему несомнѣнно хотѣлось убѣдить насъ въ истинности христіанства какъ религіи и въ его нравственномъ преимуществѣ надъ язычествомъ. Задачу свою поэтъ выполнилъ, и нравственную высоту христіанства онъ въ своихъ поэмахъ прославилъ, но когда вы будете читать эти поэмы, вы сами почувствуете, какъ художникъ-язычникъ осиливаетъ христіанина. Міръ языческій обрисованъ красочнѣе и рельефнѣе, чѣмъ міръ христіанскій, хотя надъ язычествомъ и произнесенъ суровый приговоръ. Это несоотвѣтствіе между силой убѣжденія художника и силой его творческаго дара можетъ быть, впрочемъ, отчасти объяснено тѣмъ, что красота первобытнаго христіанскаго міра совсѣмъ особенная, внутренняя, духовная и гораздо труднѣе поддается образному выраженію, чѣмъ красота міра античнаго, сверкающая такой ослѣпительной внѣшностью.

Во всякомъ случаѣ—какіе бы эстетическіе недочеты ни встрѣчались въ творчествѣ Майкова—онъ и А. Толстой во вторую половину вѣка были единственными истинными художниками, которые, не замыкаясь въ кругѣ чисто личныхъ чувствъ и не сближая своего творчества съ окружающей ихъ реальной жизнью — брали свой поэтическій матеріалъ изъ сокровищницы общечеловѣческихъ чувствъ и мыслей. Въ этомъ смыслѣ эти два художника составляли исключеніе, такъ какъ строгій бытовой реализмъ въ тѣ годы царилъ и въ стихахъ, и въ прозѣ. Такимъ образомъ, и Майковъ и Толстой выполняли особую культурную роль, роль, которая въ тѣ годы практическаго направленія въ жизни и реализма въ искусствѣ была въ нашемъ словесномъ творчествѣ слабо представлена. Они были пѣвцами широкаго и самаго общаго гуманизма — религіознаго, нравственнаго и эстетическаго.

Культурнаго значенія такого гуманизма никто, конечно, отрицать не станетъ. Онъ составлялъ, если пользоваться старымъ словомъ, „паѳосъ" поэзіи Майкова и Толстого—что̀ не мѣшало, впрочемъ, и тому и другому при случаѣ откликаться на общественные запросы современности; Майковъ, насколько это было возможно поэту, всегда высказывался за программу консервативную; Алексѣй Толстой—тотъ весьма оригинально и съ большимъ художественнымъ тактомъ сочеталъ съ историческими и легендарными образами основную либеральную идею своего времени.

XXXV.

Стихотворенія гр. Алексѣя Толстого.

Со стороны внѣшней отдѣлки стихъ А. Толстого, пожалуй, самый нарядный, самый красивый по убранству стихъ. Удивительное богатство размѣровъ, красота образовъ и ихъ обиліе, богатый словарь съ привлеченіемъ многихъ старинныхъ русскихъ словъ и оборотовъ старой русской рѣчи, наконецъ очень звонкая риѳма придаютъ стиху Толстого особый блескъ. Нѣкоторые критики утверждали, что этотъ внѣшній блескъ идетъ въ ущербъ внутреннему содержанію, но это невѣрно, такъ какъ творчество Толстого очень богато мыслями и настроеніями и притомъ оно такого свойства, что требуетъ блестящей внѣшней оправы. Въ Толстомъ лирикъ и эпикъ были тѣсно слиты. Поэтъ любилъ эпическія темы, историческія и легендарныя, но, разрабатывая ихъ, не ограничивался ролью разсказчика, а влагалъ въ эти эпи-

ческія картины очень опредѣленное личное, субъективное настроеніе.

„Съ шестилѣтняго возраста началъ я марать бумагу и писать стихи,—разсказывалъ онъ про себя,—такъ поражено было мое воображеніе нѣкоторыми изъ произведеній нашихъ лучшихъ поэтовъ... Независимо отъ поэзіи, я всегда испытывалъ неодолимое влеченіе къ искусству вообще во всѣхъ его проявленіяхъ. Та или другая картина или статуя или хорошая музыка производили на меня такое впечатлѣніе, что у меня волосы буквально поднимались на головѣ. Мнѣ было 13 лѣтъ, когда я съ родными сдѣлалъ первое путешествіе въ Италію. Изобразить всю силу моихъ впечатлѣній и весь переворотъ, совершившійся во мнѣ, когда открылись сокровища искусствъ душѣ моей, предчувствовавшей ихъ еще до той минуты, когда довелось мнѣ ихъ видѣть—было бы невозможно. Когда однажды принесли въ отель, гдѣ мы жили, бюстъ молодого фавна, приписываемый Микель-Анджело, я не отходилъ отъ него. Ночью я вставалъ посмотрѣть на него, и нелѣпѣйшій страхъ мучилъ мое воображеніе. Я задавалъ себѣ вопросъ, что мнѣ сдѣлать для спасенія бюста, если вспыхнетъ пожаръ въ отелѣ, и пробовалъ, могу ли я, въ такомъ случаѣ, унести статую на своихъ рукахъ... По возвращеніи въ Россію, я впалъ по Италіи въ настоящую „тоску по родинѣ“, въ какое-то отчаяніе, вслѣдствіе котораго я днемъ ничего не хотѣлъ ѣсть, а по ночамъ рыдалъ, когда сны уносили меня въ мой потерянный рай“. Изъ этихъ строкъ личнаго признанія вы можете видѣть, до какой почти болѣзненной страсти Толстой любилъ красоту и ея воплощеніе въ искусствѣ. Онъ былъ среди нашихъ поэтовъ, пожалуй, самый краснорѣчивый ея защитникъ. Онъ считалъ свободное служеніе красотѣ великой культурной работой, трудомъ, который имѣетъ свое независимое опредѣленное значеніе въ дѣлѣ возвышенія и облагораживанія души человѣческой.

Среди его поэмъ есть одна удивительной красоты, образности и съ большимъ лирическимъ подъемомъ. Это—„Іоаннъ Дамаскинъ“. Поэма посвящена восхваленію свободы творческаго вдохновенія художника, который готовъ отказаться отъ всѣхъ благъ міра, но никогда не разстанется съ сознаніемъ своего права—пѣть, когда ему вздумается и о чемъ онъ хочетъ. Свобода пѣсни и безкорыстное служеніе красотѣ въ звукахъ—вотъ истинное призваніе пѣвца и высшая его награда. Пусть даже никто не слушаетъ его пѣсни, она для пѣвца вся сущность, весь смыслъ его земного существованія. Но если надо, чтобы пѣснь была услышана, пусть художникъ въ сознаніи своей свободы не боится встрѣчныхъ враждеб-

ныхъ ему теченій и, выступая на защиту своей святыни, смѣло плыветъ противъ враждебной ему волны.

Великій даръ пѣвца долженъ служить прославленію всѣхъ самыхъ возвышенныхъ нашихъ помысловъ и чувствъ, и Толстой съ большой восторженностью и пафосомъ воспѣвалъ такія чувства.

Онъ часто въ своихъ стихахъ говорилъ о чувствѣ религіозномъ. Иногда это была философская мысль, съ религіознымъ оттѣнкомъ, а иногда простое ощущеніе Бога, порывъ души, несущейся Ему навстрѣчу. Въ поэмѣ „Іоаннъ Дамаскинъ" много такихъ мыслей и порывовъ, но всего картиннѣе склоненіе души передъ Богомъ выражено въ поэмѣ „Грѣшница". Въ образахъ необычайно яркихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣжныхъ передано въ этой поэмѣ то сложное и глубокое переживаніе, которое испытываетъ человѣкъ въ рѣдчайшія минуты своей жизни,—въ тѣ минуты, когда онъ отрекается отъ всей прошлой своей жизни и начинаетъ новую жизнь при сознаніи озарившей его истины.

Глубокимъ религіознымъ чувствомъ насквозь проникнута и мистерія Толстого „Донъ-Жуанъ"—русская варіація извѣстной и на западѣ очень распространенной литературной темы. Въ поэмѣ двѣ главныхъ мысли—религіозная мысль о торжествѣ свѣтлаго начала жизни надъ темнымъ, прославленіе побѣды Бога надъ духомъ зла, и мысль о томъ, что чистая искренняя земная любовь залогъ просвѣтлѣнія души, ея обращенія къ добру и Богу. Великій грѣшникъ и развратникъ былъ Донъ-Жуанъ, но онъ искренно и свято полюбилъ Донну-Анну и потому былъ спасенъ отъ гибели вѣчной и примиренъ съ Богомъ. Толстой былъ вообще о земной любви самаго возвышеннаго мнѣнія. Для него это было чувство мистическое, почти что религіозное чувство, которое насъ не только связываетъ съ любимой женщиной, но черезъ нее роднитъ насъ съ небесами, обѣщаетъ намъ радость не только здѣсь, но и за гробомъ.

Всѣ земныя чувства передавались поэтомъ въ такомъ просвѣтленномъ, одухотворенномъ видѣ.—Онъ былъ большой патріотъ, и чувство патріотизма подъ его перомъ вылилось также въ восторженную лирическую пѣсню и въ эпическій разсказъ красочный, эффектный и драматическій. Свидѣтель знаменательной эпохи нашей жизни, эпохи реформъ Александра II-го, личный другъ царя, Толстой былъ сторонникомъ новой общественной программы. Какъ поэтъ, онъ оберегалъ свое творчество отъ темъ текущаго дня, темъ публицистическихъ; онъ не хотѣлъ выступать борцомъ въ какомъ-либо „станѣ", но общій гуманный смыслъ переживаемаго имъ вре-

мени онъ воплотилъ въ поэтическихъ образахъ, взятыхъ не изъ дѣйствительной жизни, а изъ легенды и исторіи... Въ цѣломъ рядѣ балладъ, пѣсенъ, поэмъ, въ трехъ трагедіяхъ, а также и въ извѣстномъ вамъ изъ вашего юношескаго чтенія романѣ „Князь Серебряный“ Толстой далъ намъ картину Московскаго періода русской исторіи, періода, который онъ очень не любилъ именно за то, что царская власть въ эту эпоху была либо не гуманна и деспотична, либо слаба и безъ всякой общественной и политической иниціативы. Свое осужденіе деспотической власти Толстой высказалъ въ цѣломъ рядѣ историческихъ картинъ, взятыхъ изъ эпохи царствованія Іоанна IV, и въ особенности въ трагедіи „Смерть Іоанна Грознаго“.

Образы царя Бориса, силой захватившаго власть, и царя Ѳеодора, слабаго и безвольнаго владыки—должны были, какъ контрастъ, оттѣнить мысли художника о томъ, какой надлежитъ быть царской власти, если она желаетъ исполнить свое предназначеніе въ жизни и служить своему народу. Поэту рисовался идеалъ гуманнаго царя, живущаго въ полномъ единеніи со своимъ народомъ. Говорить объ этомъ идеалѣ примѣнительно къ переживаемой минутѣ художникъ не хотѣлъ и опять сталъ намекать на него иносказательно, воспѣвая старую Русь кіевскаго періода, которую А. Толстой почему-то очень любилъ, конечно, скорѣе какъ художникъ, чѣмъ какъ безпристрастный историкъ.

Поэтъ вообще любилъ старину, былъ хорошій археологъ и въ своихъ стихахъ умѣлъ ее искусно реставрировать. Старина очень нарядна въ его пѣсняхъ. Воспѣваетъ ли онъ далекія легендарныя времена, какъ, напримѣръ, въ балладахъ „Ругевитъ“, „Боривой“, „Гаконъ“, „Канутъ“, „Пѣснь о Гаральдѣ“, „Три побоища“, или просто пересказываетъ сказки, какъ, напримѣръ, „Садко“, „Алеша“, „Сватовство“, „Ростиславъ“,—въ этихъ стихахъ много граціи, красокъ и движенія. Но артистической любовью къ русской старинѣ не исчерпывается пристрастіе поэта къ такимъ темамъ. Онъ все-таки имѣлъ въ виду современность, когда перекладывалъ въ стихи старыя легенды [какъ, напр., „Змѣй Тугаринъ“, „Илья Муромецъ“, „Пѣснь о походѣ Владиміра на Корсунь“]. Поэтъ противопоставлялъ эту подкрашенную кіевскую старину старинѣ московской, которая была такъ неприглядна, и косвенно высказывалъ и свои пожеланія будущаго. Зная, какими спорами, и очень страстными, были разъединены люди, которые всѣ называли себя русскими и искренно любили свою родину, поэтъ мечталъ о тѣхъ мирныхъ временахъ, когда и власть и подчиненные жили въ полномъ согласіи, патріархально, не рѣшая никакихъ „острыхъ“, какъ говорится, вопросовъ. Конечно, это были мечты, и въ

нихъ не надо искать какой-нибудь опредѣленной политической программы.

По одному политическому вопросу Толстой, однако, высказался достаточно ясно: онъ желалъ самаго близкаго единенія Россіи и славянства. Ему хотѣлось, чтобы подъ сѣнью русской державы славянскіе народы осуществили свое великое призваніе въ мірѣ, и онъ въ красивыхъ мечтахъ предвосхищалъ эту счастливую минуту единенія. [Стихотворенія „Колокольчики мои“ и „Ой стоги, стоги“].

Стихи А. Толстого прекрасная иллюстрація къ старымъ русскимъ сказкамъ, былинамъ и ко многимъ страницамъ старой русской исторіи... Поэтъ обладалъ необычайно живымъ воображеніемъ, и образы имъ созданные всегда такъ рельефны и ярки, что почти безъ труда сохраняются въ памяти читателя. Большое воспитательное значеніе имѣютъ и тѣ гуманные идеалы, какими эти стихотворенія согрѣты. А. Толстой, хоть онъ и былъ художникъ по преимуществу, хоть онъ и утверждалъ, что красота сама себѣ довлѣетъ—онъ всегда поручалъ ей великую роль защитницы благородныхъ помысловъ и чувствъ въ человѣкѣ. Гуманизмъ и благородный строй души поэта былъ самаго общаго типа, не прикрѣпленный къ какому-нибудь опредѣленному времени или опредѣленному вопросу. Онъ отражалъ собой тотъ общій фонъ души человѣческой, который обязателенъ для человѣка гуманнаго, понимающаго, что его духовное преимущество надъ другими, его аристократизмъ духа данъ ему для того, чтобы людямъ, связаннымъ съ нимъ жизнью, жилось теплѣе, легче и свободнѣе...

А. Толстой, какъ интимный лирикъ, не менѣе красивъ. Многія его лирическія стихотворенія, въ особенности любовныя, удивительно нѣжны и граціозны, и на всѣхъ этихъ стихахъ лежитъ особой прелести мечтательная дымка. Мечтательность и пафосъ были вообще отличительными чертами творчества Толстого: пояснить словами сущность этихъ качествъ нельзя,—съ ними надо сжиться и ихъ надо почувствовать, перелистывая и перечитывая сами стихотворенія—занятіе, которое всегда окупается.

XXXVI.

Литература и жизнь за послѣднія 30 лѣтъ.

Къ началу девяностыхъ годовъ замолчали всѣ наши большіе писатели, всѣ тѣ художники-реалисты, которыми былъ написанъ первый обзоръ нашего культурнаго развитія вообще,

данъ первый сводъ матеріаловъ по исторіи жизни разныхъ сословій и слоевъ нашего общества и сдѣлана первая попытка обозрѣнія послѣдовательной смѣны разныхъ идейныхъ теченій и настроеній въ нашихъ интеллигентныхъ кругахъ. Всѣ эти большіе художники, психологи и историки къ началу 90-хъ годовъ сошли въ могилу, и остался только одинъ изъ нихъ—Левъ Толстой, который къ этому времени рѣшилъ во что бы то ни стало перестать быть художникомъ, что, впрочемъ, ему не удалось.

Закончился цѣлый литературный періодъ, и на смѣну старикамъ стали приходить новыя силы. Съ того времени, какъ эти новые писатели вполнѣ опредѣлились и съ тѣхъ поръ какъ талантъ ихъ вполнѣ окрѣпъ, прошло уже не мало времени — около 30 лѣтъ [съ конца 80-хъ годовъ до нашихъ дней], и литературная работа этихъ новѣйшихъ писателей можетъ быть выдѣлена въ исторіи нашей словесности въ особый отдѣлъ.

Переходя къ общей характеристикѣ литературныхъ теченій „новѣйшаго времени", мы остановимся только лишь на вопросѣ о связи творчества писателя съ событіями послѣднихъ десятилѣтій нашей жизни. Читая произведенія художниковъ-реалистовъ 40-хъ—80-хъ годовъ вы привыкли къ тому, что всѣ наиболѣе характерные моменты въ исторіи нашей родины ихъ времени, равно какъ и наиболѣе типичные умы и характеры тѣхъ годовъ находили себѣ въ ихъ творчествѣ наглядное отраженіе. Такая связь между писателемъ-художникомъ и современной ему жизнью была значительно ослаблена въ послѣднія тридцать лѣтъ. Конечно, литература продолжала отражать общее настроеніе исторической эпохи: она улавливала ея общій смыслъ, она разыскивала типичныхъ людей въ самой жизни или создавала таковыхъ въ мечтахъ, желая ихъ навязать жизни,—но зеркаломъ своего времени, какимъ была предшествующая ей литература, она стать не смогла. Жизнь сначала была очень скупа на новизну, а затѣмъ пошла такимъ быстрымъ темпомъ, что литература не могла за ней угнаться.

Тѣ тридцать лѣтъ, которыя протекли съ тѣхъ поръ, какъ замолчали наши большіе писатели-реалисты, могутъ быть раздѣлены на два періода. Одинъ обнимаетъ собой эпоху такъ называемыхъ восьмидесятыхъ годовъ и половину девяностыхъ, другой — двадцатилѣтіе со средины девяностыхъ годовъ до нашихъ дней.

Періоды эти [точная хронологическая грань между ними, конечно, не можетъ быть положена] рѣзко отличаются другъ отъ друга по характеру того общественнаго *настроенія*, которое въ нихъ господствуетъ. Въ первый періодъ, царство-

ваніе императора Александра III общественное настроеніе было очень вялымъ, во второмъ періодѣ съ наступленія новаго царствованія оно стало повышаться съ невѣроятной быстротой. Что касается общественной *мысли*, то она за оба періода почти не получила никакихъ приращеній и осталась приблизительно въ одной и той же степени напряженія. Это обстоятельство надо отмѣтить, такъ какъ оно оказало свое вліяніе на развитіе изящной словесности этихъ двухъ эпохъ ближайшаго къ намъ времени. Въ самомъ дѣлѣ послѣднія тридцать лѣтъ не внесли почти ничего новаго въ область тѣхъ общественныхъ и политическихъ мыслей, какими жила наша интеллигенція за періодъ отъ конца сороковыхъ годовъ до восьмидесятыхъ. Консервативная и правительственная программа осталась та же—такой же несложной, косной и недальновидной, какой она была раньше. Либерализмъ умѣренный и послѣдовательный, какъ бы ни былъ великъ притокъ новыхъ событій, по поводу которыхъ ему приходилось высказываться—оставался тѣмъ же либерализмомъ западнаго типа, какимъ онъ былъ при первомъ появленіи „западниковъ". О чемъ мечтали либералы сороковыхъ годовъ, о чемъ говорили болѣе или менѣе открыто либералы годовъ шестидесятыхъ и семидесятыхъ, о томъ же и почти такъ же продолжали говорить и либералы послѣднихъ годовъ, только по инымъ поводамъ и болѣе обстоятельно. Наконецъ, что касается нашихъ интеллигентовъ лѣваго лагеря, то всѣ ихъ взгляды и убѣжденія также новизной не блистали. Народники, мирные и немирные, доживали свой вѣкъ, исповѣдуя тѣ ученія, которыя были въ большомъ ходу въ шестидесятыхъ годахъ и въ особенности въ 70-хъ; революціонеры разныхъ толковъ жили всѣ насчетъ того идейнаго запаса, который былъ сдѣланъ ими въ семидесятыхъ годахъ, почти не мѣняя самой тактики борьбы. Террористы придерживались тоже старой идеологіи; анархисты, осязаемые и зримые, въ предѣлахъ Россіи не появлялись, и развѣ только соціализмъ и ученіе Маркса, воспитавшіеся на рабочемъ движеніи и въ свою очередь его воспитывавшіе, могутъ показаться новымъ идейнымъ теченіемъ. Но и эти идейныя теченія были, въ сущности, не новы, такъ какъ въ шестидесятыхъ и семидесятыхъ годахъ они уже имѣли своихъ представителей въ нашей публицистикѣ и наукѣ.

Такимъ образомъ художникъ-реалистъ, если онъ пускался на поиски новыхъ *идейныхъ движеній*, съ цѣлью воплотить ихъ въ художественныхъ образахъ, и желалъ отмѣтить появленіе „новыхъ" людей въ интеллигентномъ обществѣ, попадалъ въ положеніе трудное. Окружавшая его жизнь давала ему много новыхъ явленій и очень характерныхъ,

сталкивала его съ людьми, охваченными, правда, не новыми, но очень опредѣленными настроеніями; однако людей съ новымъ міросозерцаніемъ онъ не встрѣчалъ и, говоря о новыхъ людяхъ, долженъ былъ вспоминать стариковъ. Художникъ-реалистъ, писавшій въ періодъ отъ середины 40-хъ годовъ до 80-хъ, былъ поставленъ въ данномъ случаѣ въ условія несравненно болѣе выгодныя. „Люди сороковыхъ годовъ", „практики" разныхъ толковъ и первые наши соціалисты и революціонеры были въ жизни того времени дѣйствительно людьми „новыми"—не какъ характеры только, но какъ представители извѣстныхъ идейныхъ теченій, которые до нихъ въ русскомъ обществѣ не появлялись и потому давали писателю обильный матеріалъ для созданія новыхъ типовъ. Съ 80-хъ годовъ до нашего времени этотъ обильный родникъ новыхъ идей и міропониманій изсякъ, и наше интеллигентное общество, дробясь на многія общественныя и политическія партіи, продолжало думать и дѣйствовать въ направленіяхъ уже ранѣе опредѣлившихся и извѣстныхъ.

Рѣзкимъ колебаніямъ подверглось только *настроеніе* этихъ людей, идущихъ во главѣ общества, и перемѣна этого настроенія наложила очень ясную печать на современную намъ литературу.

Если имѣть въ виду именно общественное настроеніе, то въ ближайшей къ намъ исторической эпохѣ можно отмѣтить двѣ рѣзко другъ отъ друга отличныхъ полосы настроенія, черезъ которыя проходило наше образованное общество и вмѣстѣ съ нимъ и писатель.

Съ начала 80-хъ годовъ приблизительно до середины 90-хъ это настроеніе отличалось необычайной вялостью. Послѣ революціоннаго движенія конца 70-хъ годовъ, послѣ столь разочаровавшей насъ турецкой кампаніи, послѣ катастрофы 1-го марта, при установившейся на долгіе годы сильной и послѣдовательно проводимой реакціи—наше общество впало въ особое психическое состояніе, при которомъ усталость нервная и душевная, разочарованіе, всевозможные виды печальнаго взгляда на міръ и на текущую жизнь, мечта о прошломъ и будущемъ и ослабленіе воли стали характерными признаками интеллигентной души. Общество устало отъ всего пережитого и, не отдыхая,—такъ какъ ни на чемъ радостномъ душа отдохнуть не могла,—пребывало въ состояніи томительнаго ожиданія.

Изящная словесность отразила это настроеніе двояко: одни художники, смѣшивая разные стили письма, дѣлились съ читателемъ своими личными взглядами на жизнь, своей личной оцѣнкой общественнаго положенія, не гоняясь за детальной обрисовкой реальной дѣйствительности и предпочитая поэтиче-

скія обобщенія бытовымъ картинамъ. Міросозерцаніе этихъ художниковъ—[изъ нихъ наибольшей популярностью пользовались Гаршинъ и Надсонъ]—было очень не радостное, богатое самыми разнообразными оттѣнками пессимистическаго чувства и скорбной мысли. Это скорбное настроеніе согрѣвалось, впрочемъ, мечтой о лучшей будущности, и, несмотря на свое уныніе, оно въ читателѣ поддерживало извѣстную тревогу духа. Иногда эта мечта о лучшей будущности, при очень печальной оцѣнкѣ жизни, была проникнута глубокой гуманностью, глубокой вѣрой въ начала любви и правды, заложенныя въ темной и даже преступной душѣ человѣка, и тогда такой гуманизмъ—какъ въ разсказахъ Короленко—пріобрѣталъ особую общественную стоимость: онъ повышалъ въ людяхъ волю къ жизни, такъ приниженную окружающей дѣйствительностью.

Помимо этихъ писателей, въ сочиненіяхъ которыхъ было много субъективнаго лиризма, были и другіе—прямые наслѣдники писателей-реалистовъ 60-хъ и 70-хъ годовъ, стремившіеся въ окружающей ихъ дѣйствительности подмѣтить характерные для переживаемаго момента типы. Попытки художниковъ набросать такіе современные портреты восьмидесятниковъ дали въ общемъ небогатую жатву. Одному лишь Чехову—писателю съ несомнѣнно большимъ дарованіемъ—удалось въ цѣломъ рядѣ мелкихъ разсказовъ и повѣстей уловить господствующія черты ума и характера интеллигента его времени. Если въ сочиненіяхъ Чехова цѣнны и его субъективная лирика, и его юморъ [послѣ Гоголя ни въ комъ изъ нашихъ писателей эта черта не была такъ сильна, какъ въ Чеховѣ], то все-таки наибольшее историческое значеніе его творчеству придаетъ несомнѣнно та детально разработанная психологія русскаго интеллигента 80-хъ годовъ, съ которой такъ сжился самъ писатель.

Съ середины 90-хъ годовъ общественное настроеніе начинаетъ быстро и рѣзко мѣняться. Мы вступаемъ въ длинный періодъ того общественнаго и политическаго броженія, которое привело страну къ первой революціи 1905 года и къ революціи нашего дня. Двадцать лѣтъ ушли на то, чтобы вялую и косную жизнь слоевъ низшихъ и среднихъ и не менѣе вялую жизнь слоевъ интеллигентныхъ преобразить въ жизнь съ очень повышенной работой мысли и напряженной къ дѣйствію рвущейся волей. Протестъ противъ внѣшняго и внутренняго склада текущей жизни, протестъ во всѣхъ его видахъ, отъ словеснаго негодованія и обличенія до рѣзкихъ революціонныхъ выступленій—сталъ лозунгомъ эпохи. Новыя идейныя теченія не возникали, но всѣ уже раньше проникшія въ наше общество идеи лѣвой окраски и преимуще-

ственно идея соціализма охватывали все большее и большее количество интеллигентныхъ умовъ, и мысль о революціи зрѣла. Рабочее и аграрное движеніе, неудачная и совсѣмъ ненужная война съ Японіей, революція 1905 года, неумѣніе и нежеланіе правительства считаться съ новымъ строемъ государственнаго порядка послѣ этой первой революціи, наконецъ міровая война, которая вскрыла весь ужасъ нашихъ внутреннихъ порядковъ—все вело къ катастрофѣ, которая и разразилась.

Общественное настроеніе такъ быстро повышалось, событія слѣдовали другъ за другомъ съ такой быстротой, что литературѣ, и въ особенности художественной, невозможно было поспѣть за жизнью. А между тѣмъ характеры достаточно яркіе, могущіе дать психологу богатый матеріалъ для изученія и художественнаго возсозданія, появлялись въ большомъ изобиліи, росли и мѣнялись на нашихъ глазахъ чуть не каждый годъ. Сколько ихъ было въ средѣ учащейся молодежи, мужской и женской, среди профессоровъ и публицистовъ и самихъ писателей, среди чиновниковъ стараго покроя до 1905 года и новаго послѣ этого года, среди общественныхъ дѣятелей, созданныхъ новымъ конституціоннымъ порядкомъ, среди военныхъ, участниковъ новыхъ войнъ, среди политическихъ агитаторовъ, и революціонеровъ, и недавнихъ террористовъ, среди крестьянъ, прошедшихъ черезъ революцію 1905 года, и въ особенности среди рабочихъ, сплотившихся въ совершенно новую для русской жизни общественную силу. Всѣ эти типы, созданные послѣдними годами, представлены въ новѣйшей литературѣ очень неполно и отрывочно: увлекаемый жизнью, очень нервной и тревожной, художникъ не имѣлъ возможности и терпѣнія разработать этотъ матеріалъ съ тѣмъ спокойствіемъ и вдумчивостью, какіе необходимы для созданія истинно художественнаго произведенія. Но общее настроеніе эпохи, этотъ все возрастающій протестъ противъ сложившагося порядка жизни художникъ уловилъ и придалъ ему своеобразное выраженіе.

Отступая отъ установившихся пріемовъ стараго реализма и возвращаясь къ техникѣ прежняго романтическаго письма, художникъ попытался слить эти два литературныхъ стиля и въ рядѣ мелкихъ повѣстей, стихотвореній въ прозѣ, символическихъ драмъ и поэмъ и наконецъ въ огромномъ количествѣ чисто-лирическихъ стихотвореній онъ сумѣлъ передать то невѣроятно тревожное настроеніе, въ какомъ находился онъ самъ и всѣ его окружающіе. Разсказы Горькаго, такъ прославлявшіе вызывающую гордыню личности, не связанной съ людьми никакими общественными или культурными узами, личности, протестующей противъ всего и всѣхъ, были, при

видимомъ реализмѣ темъ, романтическимъ призывомъ къ возмущенію, къ возстанію противъ установившагося строя жизни безъ ясной программы какого-нибудь иного порядка. Символизмъ протеста героевъ Горькаго каждый читатель истолковывалъ по-своему, примѣнительно къ разнымъ сторонамъ и вопросамъ жизни.

Такое же настроеніе будила въ читателѣ и та преимущественно лирическая поэзія, которая подъ разными наименованіями „декадентства", „символизма", „модернизма", „эстетизма" и иныхъ весьма многочисленныхъ названій пользовалась съ 90-хъ годовъ такимъ успѣхомъ среди молодежи.

Въ этой поэзіи проявился опять тотъ же протестъ противъ всего уклада нашей жизни и тотъ же бунтъ личности противъ установившихся ея формъ и ея направленія. Хоть эта поэзія и стремилась, гдѣ могла, обнаружить невниманіе, даже презрѣніе къ вопросамъ общественнымъ и политическимъ, тѣмъ не менѣе отрицать за этимъ литературнымъ явленіемъ общественнаго значенія нельзя—это несомнѣнный бунтъ въ области идей, чувствъ и настроеній, а потому и въ области всей психики человѣка... Религіозныя понятія и настроенія, оцѣнка роли міра сверхчувственнаго въ жизни, „переоцѣнка цѣнностей" нравственности личной и общественной, попытки подчинить жизнь эстетическому началу, женскій вопросъ въ освѣщеніи религіозномъ, нравственномъ и эстетическомъ—во всѣхъ областяхъ духа наши „декаденты" и „модернисты" желали стать новаторами и искали новыхъ путей для вдохновенія. Какъ бы строго мы ни отнеслись къ крайнимъ и уродливымъ и смѣшнымъ сторонамъ ихъ творчества—мы не можемъ отрицать связи между ихъ психикой и тѣмъ повышенно нервнымъ, протестующимъ настроеніемъ, какимъ охвачено наше общество вотъ уже второе десятилѣтіе.

И въ этомъ смыслѣ современная намъ литература—какъ бы она ни отставала отъ переживаемой нами дѣйствительности—остается отраженіемъ нашей эпохи.

Эпоха эта для художественнаго творчества неблагопріятна, такъ какъ темпъ жизни невѣроятно ускоренъ. Но пройдетъ время, тревога умовъ и волненіе душъ улягутся; новая жизнь, болѣе удовлетворяющая требованіямъ любви, правды и справедливости, смѣнитъ старую жизнь, и тогда весь тотъ подъемъ духа, который теперь такъ повысилъ наши силы и лишилъ писателя возможности спокойной, сосредоточенной и уединенной работы, пойдетъ на углубленіе его взгляда на жизнь, на чуткость его отношенія къ ней и на его дарованіе возсоздавать ее въ живыхъ художественныхъ образахъ...

XXXVII.

. . . . . .

Наступаютъ новыя времена, свидѣтелями и сотрудниками которыхъ вы станете. Не ждите отъ этихъ временъ быстрой большой радости, скораго большого счастья. И благо, и счастье, и радость придутъ, но, конечно, не завтра.

Прежде чѣмъ укрѣпится новый строй жизни, придется пройти черезъ многія испытанія, и одно изъ самыхъ страшныхъ испытаній будутъ тѣ сомнѣнія въ силѣ народнаго ума, въ крѣпости его нравственнаго чувства и въ добрыхъ, гуманныхъ сторонахъ его характера, однимъ словомъ, сомнѣнія въ духовной мощи народной массы, участіе которой въ установленіи новаго строя гражданской жизни будетъ огромно и рѣшительно. Такъ какъ эта народная масса стоитъ на низкой ступени развитія умственнаго,—такъ какъ долгіе годы она жила въ условіяхъ совсѣмъ враждебныхъ всякому нравственному развитію, такъ какъ наконецъ она вѣками испытывала лишенія, оскорбленія и всяческія несправедливости, то ожидать, что въ дѣлѣ строительства новой жизни она не обнаружитъ дурныхъ инстинктовъ, склонностей и страстей, не обнаружитъ во многомъ умственной незрѣлости и непониманія—невозможно. Всѣхъ насъ ожидаютъ большія тревоги и опасенія.

Но сама жизнь со временемъ исцѣлитъ васъ отъ многихъ сомнѣній по мѣрѣ того, какъ, любя, терпя, страдая и трудясь, вы войдете въ ея новую колею. Но чтобы грядущая работа ваша стала плодотворнѣе и была ограждена до извѣстной степени отъ мыслей и чувствъ, понижающихъ энергію, вамъ надлежитъ начать собирать какъ можно больше свѣдѣній о тѣхъ людяхъ, встрѣча и сотрудничество съ которыми васъ ожидаетъ. И для этого — кромѣ, конечно, вашего личнаго опыта [но онъ пока, естественно, можетъ быть лишь случайнымъ и незначительнымъ]—у васъ есть одно вѣрное средство. Въ художественныхъ памятникахъ недавняго прошлаго вы найдете достаточно матеріала для того, чтобы составить себѣ понятіе объ умственномъ и душевномъ складѣ тѣхъ народныхъ массъ, которыя теперь явятся однимъ изъ главныхъ факторовъ нашей гражданской и политической жизни. Не смущайтесь тѣмъ, что эти памятники относятся ко времени уже прошедшему. Тотъ бытовой матеріалъ, который они даютъ, конечно, во многомъ отличенъ отъ того внѣшняго облика жизни, которую вы теперь вокругъ себя видите, но психика людей, жившихъ полстолѣтія тому назадъ—она не такъ уже измѣнилась, и многое темное въ психикѣ современ-

ной найдетъ себѣ объясненіе, если не оправданіе. Чтобы разобраться въ душевныхъ и умственныхъ движеніяхъ тѣхъ отдѣльныхъ слоевъ общества, интересы которыхъ теперь начнутъ сталкиваться съ небывалой силой, прежде чѣмъ придутъ къ извѣстному соглашенію—вамъ нужны будутъ историческія справки, и изящная словесность можетъ ихъ дать вамъ въ изобиліи и притомъ въ формѣ самой наглядной и для васъ наиболѣе понятной. Передъ вами станутъ художественные образы людей вымышленныхъ, и эти призраки помогутъ вамъ понять людей живыхъ.

Такую же помощь окажетъ вамъ изящная словесность и при вашемъ вступленіи въ среду вождей или сторонниковъ новыхъ идейныхъ и общественныхъ движеній. Конечно, развитіе идей, чувствъ и настроеній въ интеллигентныхъ кругахъ шло гораздо болѣе быстрымъ ходомъ, чѣмъ въ другихъ слояхъ общества. Но все-таки съ людьми, душевная жизнь которыхъ изложена въ художественныхъ произведеніяхъ нашихъ писателей-реалистовъ 40-хъ—80-хъ годовъ, современный образованный человѣкъ, въ особенности передового лагеря, сохранилъ самую тѣсную духовную связь. Онъ прямой продолжатель ихъ дѣла. Онъ пошелъ дальше ихъ въ проведеніи демократическаго принципа въ жизнь, онъ развилъ ихъ теоріи и усовершенствовалъ ихъ тактику борьбы, но во многихъ основныхъ вопросахъ—философскихъ, религіозныхъ, соціологическихъ, общественныхъ и политическихъ онъ остался ихъ ученикомъ и сотрудникомъ. Да и вообще помимо всякихъ партійныхъ взглядовъ есть вѣдь вопросы общіе, которые стоятъ передъ нашей интеллигенціей и ждутъ отъ нея отвѣта, какъ они стояли и ждали отвѣта полстолѣтіе тому назадъ. Хотя бы вопросъ объ отношеніи интеллигента къ народной массѣ, объ отношеніи нашемъ къ западу, о самобытныхъ началахъ нашей русской жизни, о томъ, какъ помирить ихъ съ требованіемъ исторической минуты, о нашемъ міровомъ призваніи, поскольку оно должно быть опредѣлено нашими религіозными, нравственными и политическими идеалами. Всѣ эти вопросы такъ же живы сейчасъ, какъ они были живы раньше, и вы, вступивъ въ жизнь, встрѣтитесь съ ними, и нужно, чтобы вы себя къ нимъ подготовили.

И лучшимъ руководителемъ вашимъ можетъ стать на первое время опять-таки нашъ художникъ-реалистъ, который такъ много и долго бесѣдовалъ съ людьми изъ разныхъ интеллигентныхъ круговъ на всѣ эти темы еще тогда, когда русскій человѣкъ надъ ними сталъ впервые серьезно задумываться.

ОТЪ АВТОРА.

Бесѣды, предлагаемыя мною вниманію преподавателей русской словесности, могутъ имѣть нѣкоторое педагогическое значеніе лишь при условіи—если ученикъ самъ успѣетъ ознакомиться съ художественными памятниками путемъ внимательнаго ихъ прочтенія. Сможетъ ли, однако, ученикъ осилить то количество страницъ, которыя по моему плану должны быть обязательно прочитаны, и притомъ прочитаны не торопясь, съ сосредоточеннымъ вниманіемъ?

Количество страницъ, подлежащихъ прочтенію, опредѣляется приблизительно въ 15.000. На первый взглядъ это число страницъ можетъ показаться очень внушительнымъ, даже страшнымъ.

Отвести на это чтеніе одинъ лишь учебный годъ послѣдній классъ средней школы] совершенно невозможно. Спѣшное чтеніе не можетъ дать желательныхъ результатовъ, и потому является необходимость раскинуть это чтеніе на два года, на послѣдній классъ и предпослѣдній, въ которомъ проходится исторія русской литературы первой половины XIX вѣка, курсъ, не обремененный большимъ количествомъ обязательныхъ для прочтенія памятниковъ. Кромѣ этого учебнаго времени для той же цѣли можно использовать и каникулярное время между предпослѣднимъ годомъ и послѣднимъ.

Если считать въ учебномъ году 180 дней [на самомъ дѣлѣ ихъ больше], то изъ общей суммы 15.000 страницъ можно на предпослѣдній классъ отчислить около 4.000 страницъ, на каникулярное время столько же, и тогда на послѣдній годъ останется 7.000 страницъ обязательнаго чтенія. Въ сущности, это не такъ много, если вспомнить, что ученику придется читать исключительно повѣсти, романы и драматическія произведенія, и притомъ образцовыя, писанныя лучшими мастерами слова. Даже при внимательномъ чтеніи

такихъ памятниковъ можно вѣдь итти со скоростью 50 или даже 100 страницъ въ день [конечно, не безъ передышки]—тогда какъ при разверсткѣ 7.000 страницъ на 180 дней получается всего лишь по 40 страницъ на день.

Итакъ, хоть сумма въ 15.000 страницъ и представляется очень внушительной, но она не такъ страшна, если распредѣлить ее по днямъ въ продолженіе 15 мѣсяцевъ, считая два учебныхъ года по шести мѣсяцевъ и каникулярное время между ними въ три мѣсяца. На самомъ дѣлѣ количество мѣсяцевъ, которые могутъ быть отданы на чтеніе за два учебныхъ года, больше 15-ти. Ихъ всѣхъ 20. Но требовать отъ ученика пунктуальной аккуратности нельзя, и можно думать, что четверть изъ числа этихъ мѣсяцевъ—изъ 20—5—пропадетъ для чтенія даромъ. Аккуратный читатель осилитъ 15.000 страницъ, читая по 25 страницъ въ день [порція очень малая, на которую уйдетъ какой-нибудь часъ въ день], а неаккуратный прочтетъ это количество, читая по 35 страницъ въ день, что въ день возьметъ часа полтора. Можно думать, что ради ознакомленія съ лучшими памятниками отечественной словесности, молодые люди, въ продолженіе полутора года, пойдутъ на такую жертву, которая къ тому же грозитъ имъ дать одно лишь наслажденіе.

Распредѣляя матеріалъ сообразно съ тѣмъ временемъ, какимъ ученикъ располагаетъ, ему можно предложить такую программу чтенія:

Въ предпослѣднемъ классѣ, когда ученикъ будетъ знакомиться съ исторіей русской литературы первой половины вѣка, и когда отъ него потребуется чтеніе не очень большого числа памятниковъ, относящихся къ этой эпохѣ, онъ можетъ, въ видѣ подготовки къ занятіямъ въ послѣднемъ классѣ, прочитать нижеслѣдующіе памятники, несложные и особыхъ поясненій не требующіе [порядокъ чтенія въ данномъ случаѣ безразличенъ]: 1) *Л. Толстой.* „Севастополь“, „Власть тьмы“, „Утро помѣщика“, „Дѣтство, отрочество и юность“, „Поликушка“. 2) *Тургеневъ.* „Муму“, „Записки охотника“. 3) *С. Аксаковъ.* „Семейная хроника“. 4) *Гончаровъ.* „Обломовъ“, „Обыкновенная исторія“. 5) *Григоровичъ.* „Антонъ Горемыка“. 6) *Островскій.* Пьесы изъ купеческаго быта. 7) *Писемскій.* „Горькая судьбина“. 8) *Помяловскій.* „Очерки бурсы“. 9) *Никитинъ.* „Записки семинариста“. Всѣ эти памятники даютъ въ общемъ около 4.000 страницъ.

Въ каникулярное время, отдѣляющее предпослѣдній классъ отъ послѣдняго, ученикъ можетъ безъ особаго труда прочитать нижеслѣдующіе памятники: 1) *Л. Толстой.* „Казаки“. 2) *Тургеневъ.* „Рудинъ“, „Наканунѣ“, „Дворянское

гнѣздо", „Отцы и дѣти", „Новь", „Записки лишняго человѣка". 3) *Гончаровъ.* „Обрывъ". 4) *Герценъ.* „Былое и думы". 5) *Салтыковъ.* „Губернскіе очерки". 6) *Достоевскій.* „Записки изъ Мертваго дома". 7) *Лѣсковъ.* „Соборяне".

Всѣ эти памятники укладываются также въ 4.000 страницъ. Памятники эти по содержанію болѣе сложные и болѣе трудные, чѣмъ тѣ, которые поименованы выше, но одновременно съ ними ученикъ можетъ ознакомиться съ предлагаемыми бесѣдами, и тогда всѣ необходимыя на первыхъ порахъ поясненія будутъ даны.

Наконецъ, въ послѣднемъ классѣ, проходя подъ руководствомъ учителя исторію русской литературы второй половины вѣка, ученикъ въ дополненіе ко всему прочитанному долженъ будетъ внимательно ознакомиться со слѣдующими памятниками: 1) *Л. Толстой.* „Война и миръ", „Анна Каренина". 2) *Достоевскій.* „Преступленіе и наказаніе", „Идіотъ", „Бѣсы", „Братья Карамазовы". 3) *Салтыковъ.* „Пошехонская старина" и „Головлевы".

Чтеніе это дастъ въ итогѣ около 6.000 страницъ. Оно, несомнѣнно, потребуетъ разъясненій, въ виду сложности вопросовъ, которые въ большинствѣ изъ этихъ памятниковъ подняты, но зато эти книги будутъ прочтены уже подъ непосредственнымъ руководствомъ учителя.

Общій итогъ всего, что надлежитъ прочитать за полтора года, выразится въ количествѣ 14.000 страницъ; къ нимъ надо прикинуть еще около 1.000 страницъ, если имѣть въ виду „поэтовъ", съ лирическими стихотвореніями и поэмами которыхъ ученику надо будетъ ознакомиться.

Оглавленіе.

Стр.

I. Мѣсто, какое въ школьномъ преподаваніи занимаетъ исторія литературы. — Значеніе художественныхъ памятниковъ прошлаго въ дѣлѣ ознакомленія съ современностью.—Какъ надо читать художественныя произведенія. 5

II. Наша изящная словесность, какъ національная святыня.—Ея художественное совершенство.—Ея гуманность.—Общечеловѣческое въ ней и національно-самобытное 10

III. Вторая половина XIX вѣка, какъ особая эпоха въ развитіи нашей изящной словесности.—Краткій обзоръ литературныхъ эпохъ, предшествовавшихъ эпохѣ „реализма“ 15

IV. Эпоха „реализма“ съ конца 40-хъ годовъ до конца 80-хъ.—Языкъ.—Сближеніе искусства съ жизнью.—Ростъ литературнаго матеріала. — Личность писателя и окружающая его жизнь. — Художникъ—историкъ и судья своего времени. — Гражданскій мотивъ въ искусствѣ 20

V. Историческій моментъ, съ которымъ совпалъ расцвѣтъ реализма въ литературѣ.—Двѣ основныхъ мысли, руководившія творчествомъ художника-реалиста.—Мысль объ оздоровленіи общественной жизни и мысль объ участіи интеллигента въ этой работѣ. 26

VI. Планъ нашихъ бесѣдъ 32

VII. Помѣщичья жизнь въ усадьбѣ.—„Война и миръ“, „Дѣтство“, „Отрочество“ и „Юность“ Л. Толстого.—„Семейная хроника“ и „Дѣтскіе годы Багрова внука“ С. Аксакова.—„Господа Головлевы“ Щедрина-Салтыкова. 37

VIII. Помѣщичья жизнь въ усадьбѣ. — „Пошехонская старина“ Щедрина. 43

IX. Писатель и крестьянскій вопросъ. 48

X. Крестьянскій бытъ въ изображеніи художника. — „Записки охотника“ и „Муму“ Тургенева.—„Антонъ Горемыка“ Григоровича. — „Поликушка“ Л. Толстого. — „Горькая судьбина“ А. Писемскаго.—„Власть тьмы“ Л. Толстого. 53

XI. Народъ и интеллигентные люди въ ихъ взаимныхъ отношеніяхъ.—„Утро помѣщика“ и „Казаки“ Толстого 59

XII. Литература народничества 66

XIII. Бытъ солдатскій. Севастопольскіе разсказы Л. Толстого и „Война и миръ“ 72

XIV. Бытъ чиновничій. „Губернскіе очерки“ Щедрина-Салтыкова. 78

XV. Бытъ купеческій въ пьесахъ Островскаго 84

		Стр.
XVI.	Бытъ духовенства. — „Записки семинариста" Никитина. — „Очерки бурсы" Помяловскаго и „Соборяне" Лѣскова. . .	91
XVII.	Обездоленные и отверженные.—„Записки изъ Мертваго Дома" Достоевскаго	97
XVIII.	Поэзія Некрасова	105
XIX.	Художникъ-реалистъ и интеллигентные круги общества . .	112
XX.	Люди сороковыхъ годовъ	119
XXI.	Люди сороковыхъ годовъ. Ихъ расцвѣтъ и увяданіе. „Былое и Думы" Герцена.—Романы и повѣсти Тургенева „Рудинъ", „Дворянское гнѣздо", „Дневникъ лишняго человѣка" и „Гамлетъ Щигровскаго уѣзда"	126
XXII.	Первые практики жизни и ихъ побѣда надъ людьми сороковыхъ годовъ. „Обыкновенная исторія" Гончарова	133
XXIII.	Романы Гончарова „Обломовъ" и „Обрывъ"	139
XXIV.	Расширеніе практической программы. Практики новой формаціи. Романы Тургенева „Наканунѣ", „Отцы и дѣти" и „Новь"	146
XXV.	Борьба общественныхъ направленій и ея отраженіе въ тенденціозныхъ романахъ	153
XXVI.	Художникъ-реалистъ, какъ истолкователь религіознаго и нравственнаго смысла жизни.	159
XXVII.	Основныя религіозно-нравственныя положенія въ міросозерцаніи Достоевскаго. Взгляды Достоевскаго на міровое призваніе русскаго народа.	167
XXVIII.	„Слабый" человѣкъ въ его побѣдоносной борьбѣ съ „сильнымъ". „Преступленіе и наказаніе" и „Идіотъ"	174
XXIX.	„Братья Карамазовы"	182
XXX.	Общій очеркъ міросозерцанія Л. Толстого	192
XXXI.	Основные вопросы жизни, затронутые въ романѣ „Война и миръ"	200
XXXII.	Роль страстей въ жизни. „Анна Каренина"	208
XXXIII.	Творцы художественной риѳмованной рѣчи	215
XXXIV.	Стихотворенія Аполлона Майкова	219
XXXV.	Стихотворенія гр. Алексѣя Толстого	222
XXXVI.	Литература и жизнь за послѣднія 30 лѣтъ	226
XXXVII.	. . . . .	233
	Отъ автора	235

RETURN TO ⟶ MAIN CIRCULATION

ALL BOOKS ARE SUBJECT TO RECALL
RENEW BOOKS BY CALLING **642-3405**

DUE AS STAMPED BELOW

JUL 01 1996

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

FORM NO. DD6

YC119
U. C. BERKELEY LIBRARIES
C056113636